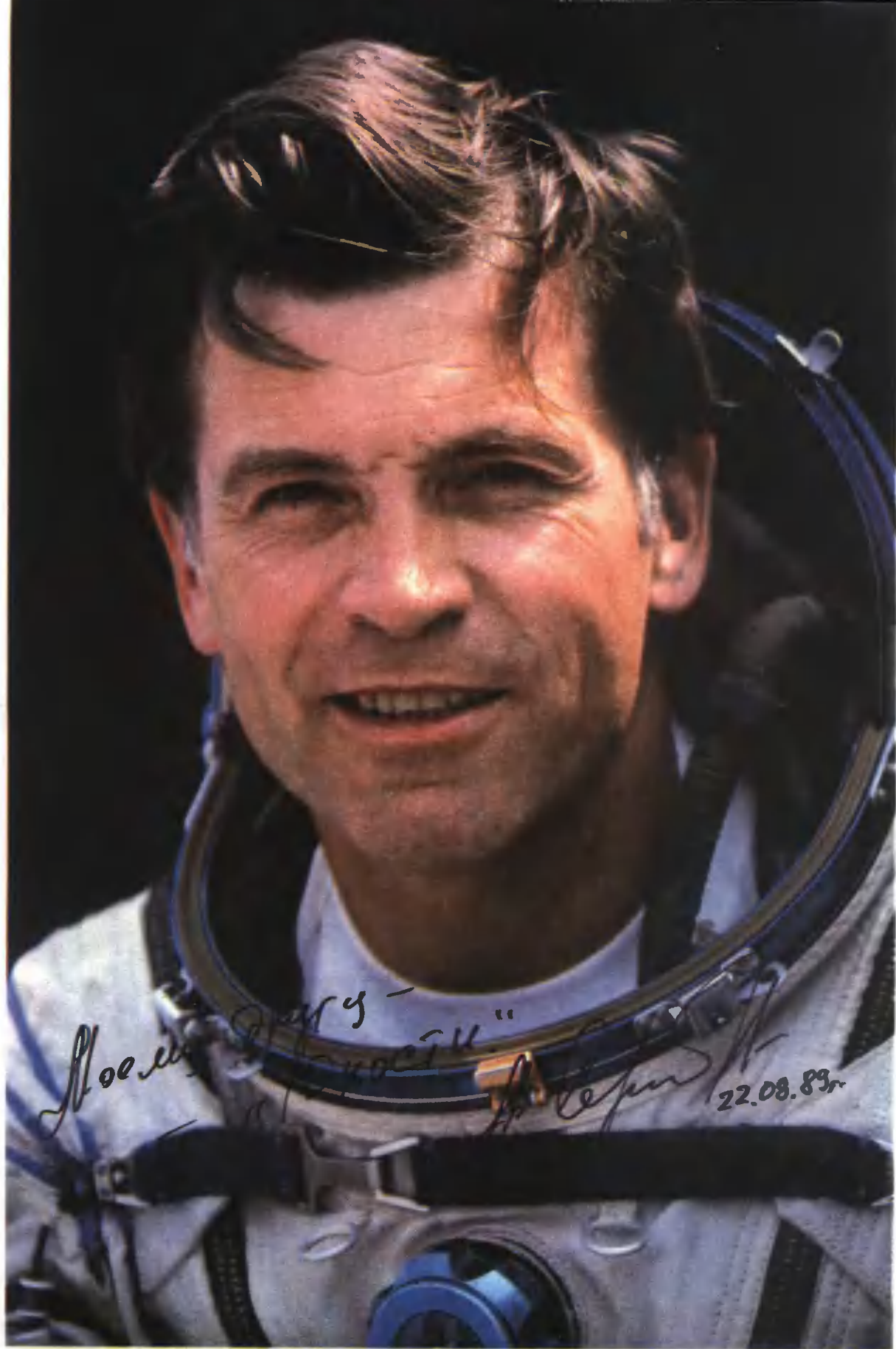


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

11 '89





*В очередной раз на работу в Космос
отправился член редколлегии нашего журнала
космонавт Александр Сребров.
Читатели и друзья журнала
желают экипажу космического орбитального комплекса «Мир» —
космонавтам Александру Викторенко
и Александру Среброву успешного полета!*

ЮНОСТЬ

11 (414)

'89



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Татьяна БОБРЫНИНА
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОКИН
Александр ЛАВРИН
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора,
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий ПОЛЯКОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва



Леонид БОРОДИН

ТРИ РАССКАЗА

Бородин пишет медленно, не торопясь, как заключенный, у которого впереди долгие годы сиденья в тюрьме. Списать некуда. Зато главы целю складываются в голове, и он их уже не переписывает.

Он ценит в людях последовательность и рассуждает так: если не можешь поднять 100 кг — не поднимай. Сломался — не плачь. Соблюдай правила игры. Однажды ирризал эти правила — держись. При этом он не настолько категоричен, чтобы не ирризнать смягчающие обстоятельства, которые делают людей, переступивших черту, неподсудными.

Понимая себя, мы не всегда уважаем убеждения других. В нас живет избыток агрессии, готовый выплеснуться, чтобы смять иротивника или, во всяком случае, побудить нас к долгой позиционной войне. И нам не приходит в голову, что если мы разуились убеждать, то убеждены ли мы в чем-либо сами?

Бородин когда-то жаждал сражения не потому, что был героем, иросто был убежден в своей иривоте. «Я прожил легкую жизнь», — сказал он, — у меня никогда не было проблемы выбора». Как всякий целеустремленный человек, он таит в себе жизненный парадокс; ирисуствие этого парадокса чрезвычайно впечатляюще отражается в иррозе Бородина: она одновременно и жесткая, и сентиментальна. В ней есть обнаженный реализм сегодняшнего видения и романтизм, до ирелов обостренный обстоятельствами его жизни.

Герои его рассказов и новелл — крепкие люди, они слеплены из хорошего временного теста, характеры их круты, а ностуки неожиданно-исследовательны. Герои ввинчены в замысловатую спираль сюжета и ладят между собой даже тогда, когда готовы иривести в исполнение приговор своей совести, не терпящей жизни другого человека. Они действуют на фоне стихии — ириродной, человеческой, проблемной. Бородин не выдумывает своих героев, он их вспоминает как сон, возможно, увиденный еще его ирредками, или как предсказание гадалки, нид которым он втайне иносменывается. Как всякий сильный писатель (а ирроза Бородина ири ближайшем рассмотрении ощутимо ироигрывает закаленными мускулами), он становится иривофланговым в шеренгу своих героев и равняет их на себя. Хотя возможно иредположить и другое: парушая все правила строя, он, один-единственный, равняется на своих героев. Начиная ирисать, он заведомо звет свое отношение к герою, ирой люто ненавидит его, но сама проза, образуясь, воспитывает своего создателя — к концу ироизведения злость выдыхается, как старое вино, видоизменяясь ирой в иодобие симпатии.

Леонид Бородин — писатель с прошлым и будущим. Настоящее он еще мнет в руках, как скульптор глину, не зная, что из нее получится. Жизнь сделала Бородина работником экстраширокого профиля. Когда-то его, студента, в КГБ благословили так: «Познавай идеологию рабочего класса». И он иризавал. Был бурлищиком, составителем ироздов, делал мебель, утюги; шил рукавицы, кочегарил, служил заехом и дворником, иреродал в школе, сторожил церковь. Взлет его «карьер» — работа в управлении культуры.

Бородин давно не в ладах с Советской властью. Вирочем, это не совсем верно сформулировано. Он не в ладах с теми ее институтами, которые видели в нем врага.

Сам писатель объясняет так: когда уголовники глотают таблетки и ирочую дрянь, они достигают ирога боленеоощутимости и могут спокойно зашить себе рот или пришить игоны на голые илечи. А существуют люди с повышенным ирогом социальной чувствительности. Они знают: раз уступив, меняешь внутреннюю структуру. И потому никогда не смиряются с тем, что считают ирсправедливым. И это не достоинство, а факт из жизни. Даровано как характер.

«Легкая» жизнь Бородина включает в себя два заключения, ироследнее из которых, имея началом 1982 год, иреродолжало десять лет тюрьмы и иять лет ссылки. За что? По ирорядку: за участие в студенческой группе витикультового ивиравления и написание басни о Хрущеве, за участие в более взрослой организации, также рассматривавшей пути развития нашей государственности и, иривонец, за хранение эмигрантской литературы и сочинение рассказов и новелл, которые публиковало зарубежное издательство «Посев».

К сочинениям его в какой-то мере побудила тюрьма — ему нидо было занять себя, отключиться от действительности, одновременно объяснив эту действительность. В начальные годы заключения все тому благоприятствовало: на работу не водили, а цензор был либерал. И бородинские тетрадки, убористо ирисанные квриадашом, спокойно отиравались на волю.

Бородин иишет и печатается (ири Занаде) давно. Повести и рассказы его разнообразны и ио стилю, и ио тематике. То его именуют деревенщиком, то ирричисляют к мастерам городского романа. Его ироизведениям свойственна остросоужетность, та упругая детективность, которая скрыта в каждом, самом незначительном событии. Суть ииных своих сочинений он рассматривает как некую реальную фантазию: «Что могло бы быть, если бы...» В одном из рассказов, которые вы ирочтете, герой летает. Тема такой необычной естественной жизни не нова и достаточно традиционна в литературе. Но дело в том, что и сам писатель летает. Он летает во снах, от чего-то освобождаясь, что-то отыскивая. Ощущение иолета не как ощущение новой жизни, но как достаточно резкая ирероценка стврого, как ирой ракурс бытия, которое всегда богаче, чем мы его себе представляем во снах или иривау.

За рубежом Бородин ирризан — ему ирисвоены две литературные ирремии, два Пен-клуба (Англии и Франции) открыли ему свои двери. Самооценка писателя такова: «Я надеюсь, что не преувеличиваю своих сносностей и догадываюсь о ирделах своих возможностей».

В. ЛИПАТОВ

Встреча

Когда-то давно Козлов занимался боксом, несколько раз получал нокаут, оттого и было знакомо ему состояние, когда возвращаешься из небытия, когда сначала не чувствуешь своего тела и будто впервые открываешь, что ты — есть; затем сознание выходит вон и обнаруживает мир. Оно само еще как тысяча осколков. Но вот осколки медленно, потом все быстрее стягиваются к центру, воссоздавая целое. И тогда происходит узнавание себя и мира и начинаешь чувствовать свое тело.

Первое, что Козлов почувствовал, была боль в ноге. Он приподнялся, взглянул на небо, надеясь по солнцу определить, как долго был отключен. Но небо, как назло, еще с самого утра было плотно задраено грязными портянками и нигде не просвечивалось. Автомат лежал у ног. Козлов оглянулся. Негромко крикнул: «Эй!», но тишина была такая, как бывает, когда человек один. Начало саднить подбородок. Он притронулся к нему и увидел на руке кровь. Заломило скулы и какой-то зуб на правой стороне, а может быть, несколько зубов. Нокаут отменный. Только почему еще и ногу больно? Засунул руку в сапог, потрогал. Неужели еще и пнул? Ну и задачка с одним неизвестным! Неизвестный смотался. Автомат оставил — и на том спасибо.

Но сидеть и раздумывать некогда. Надо уходить. Он ведь еще не ушел. В этих редких, насквозь просвечивающихся березниках ему делать нечего. Надо найти настоящий лес. А места незнакомые. Некоторое время Козлов осматривался, пытаясь сориентироваться, потрогал разбитый подбородок, покачал головой, закинул на шею ремень автомата и зашагал на восток...

...Сначала ему не повезло — он попал в группу незнакомых людей. Большая часть их была измучена отчаянием, голодом, ранами... Твердо решив бежать при первой возможности, он сразу стал высматривать себе товарища. Понаблюдав, подстроился к сержанту с хмурым злым лицом, с большими ухватистыми ладонями работяги. На первый же его намек сержант, не поднимая глаз, длинно выматерился, сплюнул:

— Хорош! Отвоевался!

Козлов еле сдержался, чтоб не двинуть ему в ухо. Вот тогда он впервые и заметил этого, длинноногого. Хотя он был без очков, но по прищуре, по красноватой полоске на переносице в нем угадывался очкарик. Мгновенно оценив его, Козлов решил, что «с этим каше не сваришь». И тут же забыл о нем. Но очкарик стал попросту вертеться перед глазами. Это насторожило Козлова. Стоило ему оглянуться, и он тотчас же накаливался на ускользающий взгляд длинноногого. «Сволочь, чего ему надо?» — пытался угадать Козлов. Решил произвести «разведку боем». Подошел к нему и спросил запросто: «Закурить не найдется, приятель?» Тот растерялся, заморгал длинными белесыми ресницами, хрипло выдал: «Нет», и откачнулся за чью-то спины.

Их пригнали на ремонт железнодорожного полотна. Человечек тридцать. Охрана — шесть солдат и две собаки. Для тридцати человек немного. Но для одного — больше чем достаточно. И все же у Козлова было предчувствие, что он уйдет именно сегодня.

Как и все, впрягся в работу. Люди таскали шпалы, подкладывали их под рельсы, забивали костыли, деревянными лопатами утрамбовывали грунт. Работали тяжело. Война шла уже третий месяц. Люди хлебнули ее сполна.

Козлов был на финском. Считая себя кадровым, он не мог себе простить, что попался. Это была короткая, но тяжелая история. Козлов решил выбросить ее из своей памяти и биографии. Ему нужно делать дело. Нужно уйти, и он уйдет...

К полудню Козлов почувствовал, что обстановка изменилась к лучшему. И он сделал стойку. Во-первых, люди растянулись вдоль дороги метров на сто. Во-вторых, солда-

ты-охранники, ранее державшиеся на значительном расстоянии и, значит, державшие всех под обстрелом, подошли вплотную, покрикивая на уставших людей, и почти затерялись среди них. И, наконец, самое главное, солдаты с собаками ушли в хвост растянувшейся колонны, которая постепенно приближалась к лесу, подходившему недалеко впереди к полотну железной дороги. Козлов видел, что лес невелик, за ним снова просматривалось поле, но для рывка достаточно.

Шалили нервы. Руки вспотели, на лбу выступила испарина. И снова ему на глаза попался очкарик. Злоба захлестнула Козлова. «Что вынохиваешь, сволочь? Или у меня рожа такая, что на ней все написано! — думал Козлов, до боли сжимая скулы. — Пусть только под руку подвернется, гад!»

Близко за спиной залаял немец. Козлов добросовестно колотил кувалдой по корявым шляпкам костылей. Слева сбоку появились остроносые сапоги, на мгновение они замерли и зашагали дальше. И там снова послышались резкие, рычащие окрики...

В самом центре России, среди распластавшихся хлебов, тихих тенистых перелесков, в самом центре русской тишины, необычной для людей, оглушенных бедой, люди эти казались себе настоящими, будто участвовали в каком-то странном спектакле. Казалось, сейчас затейник, выдумавший все это, появится и скажет, сопровождая слова магическим жестом: «Проснись!» Скажет, и все они распрямятся, бросят лопы и лопаты, хлопнут друг друга по плечам, расхохотутся, сорвут с себя дурацкие лохмотья и пойдут каждый воясая. Разве может быть иначе? Это же Россия, это же их земля! Разве не противостоительны среди плавной, мягкой русской многоголосицы эти резкие, грубые звуки, лишённые смысла? «Арбайтен!» — дикая абракадабра. Разве она имеет отношение к жаворонку, что повис и трепыхается над головой? А небо? Небо... Да... небо... Пожалуй, небо имеет отношение ко всему, что происходит на русской земле. Не чистое оно, больное, а не хмурое просто или в тучах. Да, только вот небо, только оно подтверждает, что впрямь беда, а не сон, беда пришла, и не все знают, как ей противостоять. Как же иначе объяснить, что тридцать русских мужиков согнули спины по приказу восьмерых чужих, точнее, шестерых, и двух псов. Но это одно и то же. Еще в руках у шестерых автоматы. А у тридцати их нет. Автомат! Хитро устроенный кусок железа, и только. Но как он меняет человека! Сталью наливаются мышцы, когда ладони срastaются с его холодными точеными литыми рукоятками, когда палец ложится на спусковой крючок, услужливый, податливый. Когда в руках автомат, жизнь твоя оценивается в тридцать жизней врага. Цена достойная! Когда же в руках лом, а сам ослаб от ранения и многодневного голода, во что тогда оценивается жизнь человеческая? Немцы — народ ученый. Они подсчитали. Если шесть поделить на тридцать, получится одна пятая. Выходит, он, Козлов, оценен в одну пятую вот этого хлюста с автоматом, что снова приближается к нему!

Козлов не поднимает головы и не смотрит, но видит его. Видит и другое. До леса метров пятнадцать — двадцать, немец один, собаки в конце колонны. Но он видит также, что палец на спуске, а затвор в боевом положении, и что немец знает свое дело — пружина. В руках Козлова кувалда. Три удара, и костыль в шпале. Взмах — удар, взмах — удар... «Одна пятая, одна пятая», — бормочет Козлов. «Одна» — взмах, «пятая» — удар. «Одна п-пятая, одна п-пятая...» Немец в пяти шагах. В пяти шагах от того, кто лишь одна пятая его цены. «Всю историю рассчитывали, подсчитывали, гады, — бормочет сквозь зубы Козлов, — барбароссы ср...е! Подведет расчистик!» Три шага. Взмах — удар. Немец рядом. Взмах... Немец сзади. Козлов поворачивается и опускает кувалду на рыжеватый стриженный затылок.

Солдат без звука упал на живот. Козлов рывком перевернул его, схватил автомат, дернул. На шею ремень за что-то зацепился. Козлов дернул еще, но увидел перед собой второго охранника. Долго секунды они, оба опешие, смотрели, замерев, друг другу в глаза. Руки солдата лежали на автомате сверху. Но вот оба они сделали движение: Козлов сдернул автомат с шеи оглушенного или убитого немца, а его противник бросил руки на рукоятки. Решили секунды. Козлов непременно проиграл бы — тому оставалось только нажать на спуск. Но в эту секунду немцу на голову опустилась кувалда. За спиной падающего немца выросла надоевшая фигура длинноногого очкарика. Он держал в руках кувалду, а на лице была растерянность, словно он не знал, что делать.

— Автомат! — крикнул Козлов.

Очкарик бросил кувалду, засуетился около немца. Козлов выругался, прыгнул, сдернул автомат, сунул ему в руки, крикнул: «Пошел!», махнул рукой и рванул к насыпи.

Он позволил себе оглянуться, когда на полсотни метров углубился в лес. Шагах в десяти сзади бежал его напарник, вытаращив глаза, размахивая руками и автоматом, который держал в левой. Рот его был раскрыт, как у выловленной рыбы.

— Дыши носом! — крикнул Козлов, не сбавляя ходу.

Лесок уже кончался, когда затрещали выстрелы, и первые ядовитые шмели запели где-то совсем рядом или чуть над головой. Впрочем, Козлов знал по опыту, что это только кажется: та самая пуля не жужжит, ее не услышишь.

Впереди открывалась полоска поля метров в двести, за ней снова шел лесок и, кажется, сползал к оврагу. Очкарик отстал уже шагов на тридцать, но бежал резво, рот его по-прежнему был открыт. Козлов остановился и тут же услышал лай собак. Они уже были в лесу. Очкарик, тяжело дыша, встал рядом, бледнея вслушивался в приближающийся лай.

— Встретим, — бросил Козлов, занимая позицию за толстой приземистой березой.

Напарник его сделал то же самое, выставив автомат так, как пожарники держат брандспойт.

— Я сам. Страхуй меня! — крикнул ему Козлов и, увидев, что тот его не понял, еще, но резко и злее: — Встань рядом, если промахнешь, бей рукояткой!

Такое использование незнакомого оружия очкарику было понятно, он перехватил автомат за ствол и встал рядом с Козловым.

Рассчитано было правильно. Собак лучше встречать здесь, чем в поле. Охранники же преследовать их не рискнут. Их сейчас там четверо осталось. Козлову было обидно, что никто больше не побежал. «Они побежали, — почему-то успокаивал он себя, побежали в разные стороны». Но все равно было обидно. Если бы не этот длинноногий, уложил бы его немец. Обидно...

Из кустов с лаем выкатилась овчарка. Козлов дал короткую очередь. Собака кувырнулась через голову, ударились о пенёк и затихла. Также короткой очередью, экономя патроны, он встретил вторую — и тоже удачно. Только эта, перевернувшись в воздухе, вскочила, прыгнула, упала, снова вскочила, визжа на весь лес, крича почти по-человечески. Потом начала кататься по земле, иногда поднимаясь на задние лапы, а передними обхватывая голову, словно пытаясь вытряхнуть, выцарапать засевшую там пулю. Убедившись, что собака ранена смертельно, Козлов повернулся к своему напарнику, который стоял в воинственной позе, держа автомат обеими руками за ствол. Не отрываясь, он с ужасом смотрел на мечущуюся в агонии собаку, раздувая ноздри и облизывая губы.

Потом они долго, не останавливаясь и не разговаривая, шли полями, перелесками, оврагами, шли часа три, не меньше. И лишь уйдя от места погони километров на пятнадцать, в густом перелеске, Козлов решил на привал.

— Падай, — сказал он напарнику, и плюхнулся на траву, и лежал лицом вниз без движения минут пять. Потом поднялся, подошел к сидящему спиной к дереву очкарику и, протянув руку, предложил: — Знакомиться давай, что ли.

Что-то внезапно изменилось в лице сидящего перед ним человека, какая-то судорога прошла, точнее, промелькнула от подбородка к губам, через щеки. Дернулись веки, вздрогнули ресницы, совсем еле заметно дрогнули рыжеватые брови, а затем все лицо замерло и превратилось в маску. Козлов понял, что это было выражением гнева, даже злобы. Когда этот странный человек поднялся с земли и встал рядом с Козловым, то оказался на полголовы выше его, и тому пришлось задирать голову, чтобы не потерять пристальный взгляд своего напарника. Непонятно чем разъяренный человек, наконец, шевельнул бледными, до того в судороге застывшими губами, и хрипло прокричал в самое темное Козлову:

— Нам не надо знакомиться! Понятно?! Понятно вам?!

Вся его длинная многокостная худоба нависла над Козловым, и он даже отступил на шаг, непонимающий, удивленный. А тот наступал на него и кричал, широко раскрывая рот, выпячивая кадык, тараща близорукие глаза с расширенными зрачками. Это было смешно, и Козлов наверняка рассмеялся бы, если бы как раз в этот момент не получил удар в челюсть, начисто выключивший его на продолжительное время.

Кончался перелесок. Впереди показалась деревня. Козлов устало опустился на траву у самой опушки, обнаружив целую плантацию земляники. С полчасца он ползал по траве, не выпуская автомата. Ароматная, тающая во рту земляника обострила ощущение голода, к тому же хотелось пить. Все овраги и балки, что попадались ему на пути, были либо сухи, либо с мокрой вонючей грязью на самом дне.

Из-под его руки с отвратительным шипением выметнулась толстая метровая змея, и Козлова с поляны как ветром сдуло. «Вот история была бы, — поживаясь от охватившего его озноба, подумал Козлов, — уйти от фрицев и сдохнуть от отечественной гадюки! Веселенькое дело!» Нужно было идти дальше. Он решил обойти деревню справа, — в той стороне виднелась низина и могла быть вода. Он пошел опушкой леса, пересек широкую проселочную дорогу и скоро дошел до глубокой балки, на дне которой по разжиженной глине узким желобком едва струилась вода. Выбрав место посуше, Козлов закинул автомат за спину, опустился на сухую часть плиты песчаника, уперся ладонями в грязь и склонился над жалким подобием ручья, осторожно всасывая в себя воду, чтобы не поднять мути, — дно можно было почти достать носом. Это была вода, теплая, вонючая, с каким-то металлическим привкусом, но все же вода. Передохнув немного, он попил еще, а когда хотел подняться, рядом со своей рукой, почти полностью погрузившейся в грязь, увидел след другой руки, не его — позы своей он не менял. На другой стороне — второй отпечаток: кто-то недавно шагнул на этом же месте. Козлов вскочил, схватился за автомат, попятился к краю оврага, оглядываясь и прислушиваясь. Из деревни доносились крики петухов, голоса людей, стрекот мотоциклов. Здесь же было тихо. Ни шороха. Он снова подошел к тому же месту. Теперь там было четыре отпечатка. Пальцы чужой руки были длиннее его пальцев, а руки тот расставил шире, когда нагнулся к воде. Неужели он идет по следам очкарика? Козлов был не прочь снова встретить его, чтобы выяснить, за что схлопотал по физиономии. Машинально потрогал подбородок. Боль почти прошла. На расщепленном месте запеклась кровь...

Тщательно осматривая каждый куст, пригибаясь и оглядываясь, он выбрался из оврага, обдумывая дальнейшие действия. Проблема голода его не волновала. В августе с голоду не умрешь: кругом поля, огороды, сады. Но рядом была деревня, не чужая, своя, русская. Неужто не накормят его в какой-нибудь крайней избе! Надо ждать ночи. Рядом раскинулось поле ржи, тупым клином упиравшееся справа в деревню, слева — в тот лесок, где он собирал землянику. Козлов, пригнувшись, проскочил небольшую полянку и нырнул в желтое, едва колыхавшееся море хлебов. углубился в него метров на сто, выбрал место погуще, встал на колени, пригнулся как можно ниже, стянул с себя грязную и перештопанную гимнастерку, расстелил ее на примятой ржи. Сначала распотрошил колоски, что были примяты, а потом загребал еще и этой кропотливой работой занимался, пока не собрал на добрый котелок молодого чистого зерна. Рот набивал до отказа, переворачивался на спину, замурив глаза, смаковал, кричал, подмигивал сам себе, перекатывался, снова набивал рот и снова опрокидывался на спину. Им тепло, что входило в его тело и наливалось каждую мышцу упругостью и ненасытной жаждой жизни, было не просто сытостью. Это сама мать-земля возвращала ему силы, что пролились на ее нивы солдатской кровью... Он радостно и доверчиво прижимался к земле, к своей земле. И слушал, и слышал ее уверенное дыхание, и дышал с ней в одном ритме. По-особому осознавалась свобода, которую он обрел. И пусть кругом враг, а он только один, и бредет он сейчас по своей земле, как волк затравленный, и головы поднять не может, зато теперь он снова солдат, и в руках есть оружие. А числитель дробей его стоимости... его! Раздобыть бы еще пару рожков да пару гранат. К тому же не сегодня завтра он наткнется на стоящих людей. Не удастся прорваться через линию фронта (где она теперь?), будет партизаны. Он кадровый и цену себе знает... Так лежал он и думал, и настроение было отличное.

Меж тем стемнело и потянуло прохладой. Козлов надел гимнастерку, приподнялся, осмотрелся, кинул ремень автомата за шею и, пригибаясь, подался к деревне. Перемахнув через жердевый забор, он оказался в огороде крайней избы. После каждого шага ожидал собачьего концерта. Где-то, кажется, через два или три дома тяжело и хрипло несколько раз рывкнул, судя по голосу, престарелый кобель. Здесь же, у этой избы, — ни звука. В единственном окне, выходящем

в огород, света нет, и дом выглядел нежилым. Но как только Козлов завернул за угол, лицом к лицу столкнулся с человеком, который, увидев его, вскинул топор, конечно же, заранее припасенный, и закричал:

— Чего по чужим дворам шляешься?

— Тихо, отец,— приглушил его Козлов,— тихо. Свой я.

Старик (Козлов разглядел его) чуть сбавил громкость, но продолжал так же враждебно:

— Ты не мут! Я своих знаю! Чего надо, говори!

— Немцы есть в селе? — спросил Козлов, обескураженный таким приемом.

— А ты как думал? Немцев, русских — всяких полно. Так что давай иди своей дорогой, коли еще пожить хочешь.

— Каких русских? — не понял Козлов.

— Каких, каких! Полицаев, вот каких!

Старик стоял, опустив топор, но не собираясь проявить гостеприимства.

— Гонишь, значит,— угромо выдавил Козлов.

— А кто ты такой, что я должен тебя в дом вести?!

Козлов хотел сказать «русский», но вспомнил про полицаев, замешкался...

Старик перешел в наступление.

— Ишь, подобрал берданку, дак теперь ему хлеб-соль подавай.

— Из плена я, папаша.

Но старик перебил его:

— Я тебе не папаша. В Орехове вот немцы таких вояк бабам раздают. Папашу нашел.

— Правильно говоришь. Сукин сын ты, а не папаша! — зло сказал Козлов и тут же схватился за автомат, потому что за спиной старика мелькнула тень.

— Идите в избу,— услышал он тихий женский голос.

Старик бросил топор куда-то в темноту и застучал ногами по крыльцу.

Женщина тронула Козлова за рукав.

— Идемте. Да идемте же! — повторила она, увидев нерешительность Козлова. — На батю не сердитесь. Идемте, а то еще услышит кто. Немцы в школе, а полицаи в сельсовете, но все время шныряют по деревне.

Через несколько минут Козлов уже ел отличный борщ.

— Батя, посмотри на крыльцо, мало ли что... — сказала женщина, и старик послушно вышел. Женщина молча и при тусклом свете лампы грустно рассматривала лицо своего гостя.

— За дубами вы прятались?

— Когда? — спросил Козлов, отрываясь от миски.

— Вечером.

— Нет.

— Тот подлинней был, пожалуй,— согласилась она. Увидев, что он задумался, спросила еще: — Вы его знаете?

— Если он придет, покормите. Он отличный парень, только не в себе немного. Контузия. Со мной идти не захотел.

Про контузию он соврал. Но такое объяснение странно-отчужденно казалось ему очень правдоподобным.

Вернулся старик, молча сел на табурет. Женщина укоризненно посмотрела на него, но промолчала.

— Вам лучше идти.

Так она и сказала, когда он кончил есть: идти, а не уйти. Он кивнул. Не хочется, но надо идти. Женщина вышла в другую комнату и вернулась с новыми блестящими хромыми сапогами. Такие надевали на свадьбу. Козлов заколебался, но надел. Его разваленные сапоги женщина унесла в сени. Потом она переглянулась со стариком, снова вышла в соседнюю комнату и принесла тоже совсем новую черную кожаную куртку. Перед войной такие куртки стоили дорого. Козлов стал отказываться.

— Берите,— сказала она просто. И он взял.

— Муж-то воюет?

Но по тому, как надулся старик и поникла женщина, понял, что спросил зря. Если бы был жив, вещи бы не отдавали, а хранили как справку о жизни.

Попрощался. Старик не ответил. Женщина вышла с ним во двор. В темноте он не видел ее лица.

— Счастливо,— тихо сказала она.

Он тоже хотел сказать ей что-то хорошее, как вдруг она огорошила его:

— А муженек мой в полицаях. В районе с молодухой живет.

Козлов оторопел, а потом начал с остервенением стягивать с себя куртку. Она вцепилась ему в руки.

— Нет! Нет! Это не его. Это брата. Он на границе служил! Пожалуйста! — умоляла она его шепотом.

— Врешь!

— Честное слово. Убили брата, вот и батя сам не свой. Пожалуйста! — повторила она еле слышно.

Козлов шагал сквозь ночь, и не было уже того приподнятого настроения, что пришло к нему в поле. Он думал о женщине, у которой муж — предатель, думал о старике, потерявшем сына, о своем странном напарнике. Козлов был почти уверен, что тот не в себе... За месяц войны он уже сталкивался с подобным. Командир одного из взводов в его роте однажды во время налета выскочил из окопа и начал палить из пистолета по пикирующим «юнкерсам». Вокруг смерть по тонне на квадратный метр, земля не успевала опускаться на землю, людей разносило в клочья, засыпало группами, прошивало вдоль и поперек, а этот обезумевший лейтенант прыгал над окопом с хохотом, о котором можно было только догадаться, не услышать, прыгал, палил из пистолета, а когда кончились патроны, бросил его вверх, намереваясь сбить самолет. От роты осталось меньше трети, а лейтенанта, невредимого, связав, переправили в тыл.

На Руси к «чокнутым» всегда относились с почтением, в этом отношении было не только сострадание, но и еще что-то неосознанное и неназванное. Впрочем, это не только на Руси. Так, наверное, происходит оттого, что разум человеческий склонен к лукавству, пороку расправленному. И только обиженный в разуме напрочь лишенный этого недостатка. На Руси же издревле люди чаще апеллировали к чувству, нежели к разуму, хотя, что и говорить, от бед это не спасало...

За ночь Козлов обошел еще две деревни. А с рассветом закопался в копну сена, что попала ему на небольшой поляне в березняке.

...Проснулся он оттого, что рядом, совсем рядом говорили по-немецки. Много, не меньше десяти человек. И с такой же силой, как перед побегом, предчувствие подсказало ему, что он влип. Первой мыслью было отлежаться, переждать. Но где там! У самой головы зашуршало сено, он даже услышал запах человеческого пота. Копну растаскивали. Рядом разжигали костер. Еще одна охапка, и он будет обнаружен...

Рывком Козлов дернул затвор, ногой и стволом автомата расшвырял копну и выскочил на поляну. Прямо перед ним, лицом к лицу стоял с котелком в руке парализованный ужасом долгоязычный чернявый немец. За его спиной вокруг в разных позах застыли остальные десять или двенадцать. Безоружные. Автоматы в аккуратной пирамидке — в стороне. Козлов присел, лихо свистнул и прошил очередью стоящего перед ним с котелком, повел вправо, влево, сваливая на костер ошарашенных солдат, в то же время ожидая, когда упадет чернявый и откроет ему весь сектор обстрела. Но тот выронил котелок, отвалил челюсть, перекосил глаза и стоял, растопырив руки и всем своим видом как бы вопрошая: «Вот тебе раз! Что же это происходит?» Козлов снова провел через него очередь и увидел, как пули рванули мундир. Но он по-прежнему стоял и загоразживал ему других. Трое солдат бросились к автоматам. Козлов свалил их в кучу и стал ловить двух других, удиравших в лес. На все ушло не больше трех минут. И на поляне стояли теперь только двое: Козлов и мертвый немец, который никак не мог упасть. Остальные лежали друг на друге и поодиночке там, где он их положил. Запахло горелыми тряпками. Козлов подскочил к автоматам, выдернул пару рожков, сунул в карманы. Свой проверенный автомат сменить не решился. Взглянул еще на чудо войны — стоящего мертвеца и побежал в лес.

Не пробежал он и сотни метров, как за спиной затрещали очереди. Кто-то сумел отлежаться. Над головой зашумела малиновая ракета. Где-то затарахтели мотоциклы. Козлов свернул влево, скоро выскочил в ветвистый овраг, нырнул в него, побежал вниз, свернул в канаву, заросшую кустарником, залег и притаился. Стрекот мотоциклов приближался. Еще взлетела одна ракета, теперь в стороне. Он пополз вдоль канавы, выполз из нее в поле ржи, снова полз, теперь уже по полю, без всякого направления, просто потому, что нужно было уходить. Полз долго. Когда, наконец, приподнялся, увидел впереди растянувшуюся цепь автоматчиков. Его увидели тоже. Поле словно треснуло поперек, а над головой и вокруг засвистела и зажужжала смерть. Длинной очередью вдоль всей цепи он заставил немцев залечь и побежал, не назад, конечно, туда было нельзя, а вправо, наперез цепи. Бежал, останавливался, давал очередь и снова

бежал. Все поле сбоку и сзади него точно проросло черными поганками. Но Козлов ушел бы, не возникни вдруг рядом знакомая фигура очкарика. Это было так неожиданно, что Козлов оторопел, а потом застал от сознания, что, сам того не желая, вывел немцев на своего бывшего напарника. А тот, видимо, не сразу узнал его, переодетого, а когда узнал, то удивлен был не менее. Но удивление быстро сменилось той же злобой, и очкарик закричал: «Опять вы!»

— Беги! — крикнул Козлов, расстреливая черные тени, обступающие их уже с трех сторон. Очкарик и не подумал бежать. Стоя во весь рост, он вытянул вперед автомат и, морщась, тоже стал стрелять. Автомат ходуном ходил в его нелепо вытянутых руках, и проку от такой стрельбы было мало.

— Бежим! — крикнул Козлов, поняв, что тот из упрямства не оставит его одного. Впереди снова замаячил лесок. Им удалось вырваться из опасного полукольца. До леса оставался один рывок, когда очкарик охнул и упал. Прошло обе ноги выше колен. Козлов схватил его за руки, хотел потащить хотя б до лесу, но очкарик вырвался, оттолкнул Козлова, надсадно, почти истерически закричал:

— Не подходите ко мне! Я ненавижу вас, слышите, если гронете, я застрелю вас!

— Ты что, спятил?!

— Ненавижу! — кричал очкарик. — Вы хуже их! — Он дернул головой в сторону немцев. — Хуже, потому что свой! Уходите!

Козлов не на шутку обозлился.

— Ты что орешь, дурак?! Ты воображаешь?!

Разбираться было некогда. Их снова настигали.

Козлов подскочил к очкарику, обхватил его руками так, что тот не мог сопротивляться, и потащил к лесу. Тяжелый был он, этот долговязый. Но на одном рывке, на одном дыхании Козлов дотащил его до леска и за первыми деревьями опустил на траву. Получив свободу, очкарик навел на него автомат.

— Уходите. Я не хочу от вас никакой помощи! Уходите! Мне лучше смерть от них, чем жизнь от вас. Можете вы это понять? Уходите! Я задержу их.

Козлов зашипел на него.

— Слушай, ты, чокнутый! Ты, может, думаешь, что мне от тебя жизнь нужна! Черт с тобой, раз ты ненормальный! Он дернул куртку и, оставшись в своей гимнастерке, снова схватил автомат.

— Эх! Пропало дело! — выкрикнул он отчаянно и начал обсыпать очередями рожь, в которой уже совсем близко мелькали фигуры немцев. Очкарик тоже стрелял полулежа, все так же неумело вытягивая руки вперед. Все лицо его покрылось потом, крупными каплями пота. Капли были, как слезы. Сморщенное, покрасневшее лицо его всеми мускулами реагировало на каждый рывок автомата. Но вот автомат его тупо хрюкнул и замолк. Очкарик, недоумевая, некоторое время еще продолжал давить на спуск, но потом наконец понял, что кончились патроны.

Козлов тоже уже расстреливал последний рожок. Ощущение конца было настолько сильным и гнетущим, что он потерял обычное хладнокровие и сыпал, сыпал, сыпал... и принял как должное, когда автомат его разом превратился в бесполезный кусок железа. Оказалось, что последние минуты стрелял он один. Оттуда, со стороны поля, не раздавалось ни звука. «Окружают?» — с тоской подумал Козлов и оглянулся, прислушиваясь. Тихо. Он взял автомат за ствол, до нестерпения горячий, вышел из-за деревьев, сделал несколько шагов вперед. Тихо. Оглянулся на очкарика. Тот лежал, прислонившись спиной к пню, запрокинув голову, выпитые кадья. Козлов вернулся, сел неподалеку, спросил примиряюще:

— До войны чем занимался?

Очкарик вздрогнул всем телом и прошептал:

— Замолчите!

Козлов ударил кулаком по земле, с размаху пнул подвернувшийся под ногу сучок.

— Ух! был бы ты цел, набил бы я тебе морду, дураку! Разом бы дурь вылетела!

Очкарик хотел что-то сказать, но впереди, в поле, послышался лай собак.

Теперь стало понятно затишье. Лай быстро приближался. Все повторялось, как в навязчивом сне, когда никак не можешь проснуться...

Когда овчарка взвилась в воздухе, Козлов встретил ее таким сокрушающим ударом автомата, что мог бы, наверное, проломить танк. Огромный откормленный пес, как мя-

чик, отлетел на землю с разваленной головой. Но снова вскинуть автомат Козлов не успел, выронил его и, выставив вперед руки, схватил вторую собаку за щеки. Оскаленная пасть брызгала слюной прямо в лицо. Пена стекала с обнажившихся красных десен, а клыки были похожи на патроны, вставленные в обойму другого, меньшего калибра. Лапами овчарка била его по груди, стараясь впиться в кисти рук. Он держал ее почти на весу, она лишь касалась задними лапами земли. Он держал ее, она держала его. Она не могла укусить, он не мог ее выпустить. Прямо на него бежали немцы. Не стреляли, правильно оценив положение. Получалось, что собака, эта дрессированная тварь, брала его в плен. Козлов опустил ее к земле и носком сапога со всей силы ударил куда-то под живот. Собака завизжала, задергалась сильнее, закрутилась. Он ударил ее еще и еще. Кровавая пена хлынула из пасти, заливая ему руки... но тут на Козлова упало небо и всей своей тяжестью придавило к земле.

В крыше сарая была широкая щель, и когда к Козлову возвращалось сознание, он всматривался в эту щель, и она на глазах становилась все шире и шире, и тогда казалось, что совсем нет никакой крыши над головой, казалось, что снова лежит он в поле и над ним только небо и тишина.

Но вот в голову врывалась боль, закручивая и раскручивая пружины, втыкаясь в мозг сотнями острых цупалец, молотками тараня виски, и тогда он весь растворялся в этой боли, терял ощущение жизни, превращаясь в один израненный нерв, который, как полураздавленный червь, извивался и корчился в агонии. Иногда вдруг возникал мираж. Один раз увиделось ему, будто идет он по широкому полю. На нем ослепительно белая рубашка, а в левой руке он волочит по земле автомат. Он идет и вдруг видит перед собой того немца, который остался стоять на поляне. Только этот немец огромного роста, раз в десять выше. Но стоит он гнечо в той же позе. Мертвые скосившие глаза его смотрят не в лицо Козлову, а выше него, туда, в головокружительную глубину России. И растопыренные руки, выронившие котелок, все также восклицают: «Вот тебе раз! Что же это происходит?!» Козлов громко хохочет и почему-то кричит истукану: «Ну, где твои четыре пятых?!»

Порою, на мгновение, боль уходит совсем, будто ее не было. Тогда Козлов приподнимается и спрашивает в темноту:

— Товарищ, слышишь! Ты жив?

Но ответа нет...

Алексей Владимирович Самарин, преподаватель московского музыкального училища, был арестован по делу своего тестя, заместителя наркома. А с капитаном, что лежал теперь с ним в сарае в двух шагах, Самарин встретился там, в Богом проклятом краю, куда опьяневшая от инициативы и оптимизма Россия выбрасывала тонны щепок, эшелоны издержек производства от великого лесоповала.

В этом краю тоже шел лесоповал. Малый. Были также и щепки. Обычные. Древесные. Стояли последние дни единственного осеннего северного месяца. Дожди уже выдохлись, а снега еще не пришли. И эту незавершенность и неопределенность состояния природа пыталась компенсировать ползучим северным ветром. Ветер не срывал крыши с домов, не выворачивал деревья с корнем, не валил телеграфные столбы, но проходил сквозь все живое тончайшими острыми ледяными веретенами, и все живое перекручивалось, корсжило, мучилось судорогами постоянного, изнурительного озноба. Всех живых в этом месте было около пятисот. Утром группами уходили они из своего загона в лес, всером так же группами возвращались в сквозняковые бараки, чтобы отлежаться до следующего утра.

В эти дни у людей случилось несчастье. Кончилось курево. В обычной жизни внезапные несчастья часто бывают прихотью случая. Здесь же такое несчастье имело своего автора. Именовался он начальником лагеря. Уголовники называли его «хозяйном». Он действительно был полновластным хозяином полтысячи людей. С этими людьми и для этих людей он мог сделать все, кроме одного — освободить их. Но это ограничение в правах его едва ли угнетало, потому что он вовсе не испытывал желания их освободить. Все же остальные события, происходящие с каждым из пятисот,

так или иначе имели к нему отношение. Они были результатом его действия или бездействия... Последнее, по-видимому, было причиной того, что вот уже неделю в лагере не курили. Давно выпотрошены все дозволенные и недозванные распорядком карманы, давно обшарены все возможные места обнаружения окурков, давно выменено все, что можно выменять у надзирателей. Два дня назад Самарин видел, как мужичок с нар напротив со слезами ползал на полу и иголкой подбирал махоринки, неожиданно выпавшиеся у него из ватника. Самарин был некурящий и не понимал страданий этих людей, но верил им и, будучи человеком мягким и впечатлительным, страдал вместе с ними. Не все, конечно, вели себя одинаково. Много было таких, кто не подавал вида, что страдает, и не опускался до выклянчивания у надзирателей, не обшаривал мусорных ящиков. Но тон и настроение задавали не они. На четвертый день стихийно возникло несколько драк... К тому же ветер, отвратительный, гнусный ветер, от которого не было спасения даже в бараках. К тому же работа...

Самарин работал на трелевке. Очищенный от ветвей и сучков ствол петлей каната цеплялся за хвост и подтаскивался к дороге, где грузился на лесовозы. Тащить приходилось далеко по кочкам, камням, петляя среди пней. Три человека на ствол. Это была одна из самых тяжелых работ. Итог этой операции давал цифру плана бригаде. Тридцать два человека уже пять дней работали вполсилы. Горел план. Точнее, вот-вот должен был сгореть.

В сопровождении надзирателя, по кличке Крыса, в лагере появился сам «хозяин». Когда стих шум сотен голосов, капитан сказал:

— Нет махорки на складе. Рожать, что ли, ее прикажете!

Тишина повисла над лагерем. Нехорошая, опасная тишина. Но «хозяин» знал свое дело.

— Если завтра всем фронтом выйдете к пятидесятой отметке, так и быть, сам сгоню на базу и вырву пяток ящиков. Слышали? Фронтом к пятидесятой. Махры нет. Вы дадите — я постараюсь.

И ушел.

То, что он потребовал, было невыполнимо. Отдельные бригады еще могли прорваться до отметки. Но фронтом! В некоторых бригадах треть людей больна. План эти бригады не давали, а перекрывались другими. Дойти до отметки для них значило дать больше двух норм...

Толпа развалилась на кучки. Тишина сменилась гоном, постепенно возрастающим. Кучки зашевелились, стали перетасовываться, как карты в колоде. Потресвоенным муравейником гудел, гомонился, суеился лагерь. Кто-то подсчитывал больных, кто-то некурящих. От последних многое зависело. С какой стати им надрываться! Начались споры, крики, речи. Кое-где даже мелькнули кулаки. К ночи решение было принято. Дать! До конца месяца еще неделя. Значит, минимум еще неделя без махорки. Дать!

На что рассчитывали люди? На которое дыхание? Где надеялись взять силы? А ведь надеялись. Самарин не верил. Но не возражал, как не возражало большинство некурящих.

Этот день ему не забыть. Уже к обеду двоих придавило. Один порубил ногу. Нельзя было назвать работой то, что люди делали в этот день. Это можно было назвать подвигом, если бы не цель... Если же не задумываться над целью, то это было даже больше, чем подвиг. К четырем часам несколько бригад вышло к проклятой отметке, и люди, не передохнув, бросились к отстающим участкам. Еще несколько травмированных было отправлено в лагерь.

Самарин перестал что-либо ощущать задолго до того, как их бригада перекатилась на новое место. Он не чувствовал усталости, он только знал, что если остановится, то упадет и не встанет. Может быть, даже умрет. И он боялся конца работы. Вокруг него двигались, суеились люди, — он никого не видел, ничего не слышал, ничего не чувствовал. Сознание вообще и сознание происходящего словно отделилось от него и повисло где-то между ним и миром, образовав некое



подобие духовного двойника его самого. Он или его двойник иногда бормотал что-то бессвязное и бессмысленное, а на это бормотание откликались тени, что сновали вокруг, откликались так же бессвязно и бессмысленно.

К шести вечера стало безнадежно ясно, что «не дать»..., что все, что происходило здесь, оказалось напрасным, что чуда не произошло. Тогда люди начали падать там, где достигало их понимание поражения.

Долго, надрывно и злобно сгоняли охранники полумертвых людей в обязательные для следования колонны. Долго, утомительно долго ползли колонны, подгоняемые охраной, к своему проволочному плацдарму. И снова повисла над лагерем тишина, та самая тишина, что в таких случаях не что иное, как концентрированное выражение возможного действия — такого же беспредельного и отчаянного, как эта тишина. Но опять в сопровождении Крысы появился «хозяин». Никто не поднялся с нар, когда он вошел в барак. Но это был еще не бунт — только безразличие и усталость... «Хозяин» прошел вдоль барака, остановился посередине, молодой, подтянутый, уверенный в себе, сверкающий пуговицами, сапогами, фиксой во рту, и силой своей — сверкающий, как самородок благородного металла в куче утильсырья.

— Ну, так что же, ребята! — сказал он достаточно громко, спокойно и даже с ноткой сочувствия в голосе. — Порадовать мне вас нечем. Сами понимаете. Уговор дороже денег.

Эти слова словно разбудили Самарина. Он слез с нара, снял очки, положил под подушку, подошел к капитану и сказал четко и рублено:

— Вы мерзавец!

Барак захлестнуло тишиной. В выжидательной стойке замер Крыса. Капитан ухмыльнулся, прищурясь оглядел барак.

— Надо понимать, он высказал ваше общее мнение?

Ехидная угроза прозвучала в этом вопросе. Самарин продолжал стоять лицом к лицу с «хозяином», выражая тем самым осознанную готовность к ответственности за свои слова.

Капитан презрительно оглядел его.

— А чего ты стоишь? Сказал свое и шагай. Или ждешь, что я тебя бить буду? Не буду. Пошел на место!

Недоумевая, Самарин направился к нарам. Так же недоумевая, Крыса заглядывал в лицо «хозяину». Тот прошелся по барaku, остановился.

— Вот что я вам скажу. На проходной лежат пять ящиков с махрой. И я собираюсь выдать их, хотя вы и не выполнили уговора. Но теперь можете растереть на махорку вашего уполномоченного и курить его до будущего месяца. Все.

Самарин рухнул на нары.

А через полчаса к нему подошел бригадир и сказал:

— Слушай, Самарин, капитан в комнате нарядчиков. Иди попытайся договориться. А то ведь, черт знает, что может получиться. Уголовники шумят. Мы, конечно, в обиду тебя не дадим, да не уследишь... И вообще...

И вообще бригадир тоже хотел курить, а махра была рядом...

Когда Самарин вошел в комнату, капитан сидел, развалился на стуле, спокойный, ухмыляющийся. Нарядчики вышли. Они остались вдвоем.

— Разве ты не все сказал?

Самарин набрал воздуха.

— Я погорячился... от усталости... прошу вас, дайте им махорку.

— А сам ты что, некурящий? — с наигранным удивлением спросил «хозяин».

— Некурящий.

— Так какого хрена ты суешься не в свои дела?

Капитан поднялся, подошел к Самарину.

— Я мог бы пристрелить тебя, как последнюю тварь, но не хочу делать из тебя героя. Я проучу тебя. Там, в бараке, ты изображаешь из себя отважного интеллигента-народолюбца. А я хочу, чтобы ты сегодня понял, что раз ты здесь, то ты есть мразь, отребье народное, понял? Хотя ты и зовешься официально враг народа, но ты даже не враг, а мразь. Ты хотел пострадать за народ, ну так пострадай.

Капитан сел, вытянул вперед носок сапога.

— Видишь, из-за тебя сапог замарал. Язык, как я понял, у тебя длинный, ну-ка, махни раз-другой!

Самарин с грохотом выскочил из комнаты, но на крыльце, на последней ступеньке, замер. На улице было темно. И он

не увидел, а услышал толпу, молча застывшую перед крыльцом. Люди ждали.

Самарин сел на ступеньку, обхватил голову руками.

Рискованную игру вел «хозяин». Еще неизвестно, как повели бы себя эти униженные и измученные люди, если бы Самарин рассказал им о том, что произошло в комнате. А итог?

Самарин поднялся и пошел назад к «хозяину». Тот словно знал, что он вернется, сидел в той же позе, так же ухмылялся и сверкал фиксой.

Самарин встал на колени, но сапог был низко, и ему пришлось опуститься на руки. В этот момент капитан обратился к нему, стоящему на четвереньках:

— А на воле ты чем занимался?

Самарин хотел промолчать, но сапог отодвинулся.

— Преподával музыку, — глухо ответил он.

— Да? Ну давай, зарабатывай людям на махру, музыкант! — весело сказал капитан, подсовывая ему сапог.

Самарин решил убить его и убил бы, но капитана скоро перевели куда-то на материк.

И вот через три года Самарин встретил этого человека в колонне пленных, которых немцы отобрали для ремонта железной дороги. Самарин растерялся. За эти годы он так часто представлял себе эту маловозможную встречу, так верил, что месь снимет с его души груз непреодолимой боли, мерзкую жабу, упавшую ему на грудь, мешающую жить и даже мешающую умереть, потому что лично для него даже война ничего не списала...

В том, что капитан его не узнал, было что-то еще более обидное и унизительно. «Что с ним сделать? — лихорадочно думал Самарин, пока их вели к месту работы. — Избить? Убить? Опозорить?» Он представлял себе и то, и другое, и третье и разом понял, что, какое бы решение он ни принял, он не будет удовлетворен. Он понял, что все случившееся в лагере непоправимо: что никогда не забыть ему унижения, никогда не расстаться с болью. Рана его смертельна. Никакой компенсации быть не может. Но страшнее всего было то, что капитан не узнавал его. «Может, потому что я без очков?» — думал Самарин и несколько раз нарочно сталкивался с ним лицом к лицу. А кончилось это тем, что капитан подскочил к нему с просьбой закурить. Это «закурить» окончательно сломило Самарина. Трудно сказать, какое решение принял бы он, если бы капитан не устроил побег. Самарин все же ударил его, ударил здорово, хотя бил человека впервые в жизни, даже рука онемела. Он еще пнул его и хотел испинать своего врага, но с отчаянием обнаружил, что врага нет. Нет врага. А боль есть. И некому ее вернуть. И жить с ней невозможно...

Их поставили тут же, у сарая. Дальше они не могли идти. У Самарина опухли обе ноги, он даже не мог стоять. Козлов, сам еле удерживаясь на ногах от головокружения, вытащил его из сарая. И теперь они стояли рядом, точнее, один почти висел на плече другого.

Наступил вечер. Прояснилось небо. Только там, в западной стороне, кто-то, будто из дуэтовки, выстрелил в плотную по ястребу, и перья весром разлетелись по всему небу, а на самом хребте зари, как окровавленные куски, подсвеченные изнутри ветровым закатом, обрывки облаков...

Поддерживая Самарина, Козлов повернулся к нему лицом и с большой улыбкой сказал:

— Прощаться будем. Может, перед смертью скажешь, за что морду бил?

Самарин взглянул ему в лицо, хотел ответить словами, которые придумал заранее. Эти слова должны были быть словами прощения. Он почти вплотную приблизился к Козлову и вдруг увидел, что у того нет фиксы.

— Боже мой! — вскрикнул Самарин.

Но с боку раздался гром и вошел в них обоим острым голосом смерти. Они дернулись, отшатнулись и упали в разные стороны...

Вариант

Сеновал находился напротив дома. Это был как бы второй этаж сарая, но, в сущности, лишь чердак сарая с крутым скатом крыши. Одним торцом сеновал выходил на улицу, к другому со стороны огорода была приставлена много раз штопанная лестница, которая угрожающе скрипела, когда

Андрей лез по ней. Сена было немного, но запах его подействовал сильнее самогона, и, когда Андрей, устроив ложе, плюхнулся, растянувшись в рост, голова его пошла кругом, и хмель закрутил, завертел, зашвырял его из стороны в сторону. Состояние было приятное и радостное. Была легкость и безмятежность. Запах сена был так неожиданно силен, что все остальные чувства и ощущения привел в растерянность. И еще... Он был запахом детства.

Его детство было связано с войной, и его детские игры были играми в войну. Почему они никогда не играли в солдат, всегда играли в партизан? А почему во всех играх он непременно бывал командиром отряда? Наверное, потому, что партизанский командир сам себе голова, над ним нет начальников?

Это соображение удивило и огорчило Андрея. Оказывается, в детстве у него были отчужденные анархистские наклонности! Мальчишки всегда подчинялись ему. И не только сверстники, но и те, что были старше, бесспорно признавали его главенство. Почему? Что подавляло их? Физически он был крепок, но не крепче многих. Фантазия? Может быть. Но скорее всего его отношение к играм. Он всегда играл всерьез, и, если игра требовала какого-то умения, он овладевал им, чего бы это ни стоило.

Если же взглянуть по-другому, то он просто не отличал жизнь от игры, может быть, оттого его жизнь стала похожей на игру. К тому же он всегда был приверженцем строгого соблюдения правил игры и никому не прощал их нарушения. Это пристрастие он перенес на жизнь, в которой также хотел видеть ясность, смысл и присущее детским играм благородство. Он не заметил, когда перестал играть в жизнь и когда началась собственно жизнь, а если это верно, то он — разновидность Дон Кихота, характера симпатичного, но несчастного.

Да, все, что с ним произошло теперь, было зашифровано в детстве, и к детству надо было обратиться раньше: несколько лет назад надо было приехать сюда, выпить дедовского самогона, забраться на сеновал, уткнуться носом в духоту сена и вспомнить... А может быть, тогда ничего бы не вспомнилось? Может быть, не в сене дело и не в алом закате, что каждым мазком и полугоном в памяти навечно, как и все вокруг! Разве сотни раз не снился ему запах сена и цвет заката, и голос речки на перекатах, и он сам среди всего этого? Может быть, не в этом дело? А в пистолете, что давит на грудь, вдавливаясь в грудь, срывает дыхание и без того сегодня надорванное дедовским зельем?..

В детстве его не любили девочки. Он не принимал их в игры. Его дразнили «задавакой». Девчонки интриговали против него. Но безуспешно. Он просто не считал их за людей. Они были для него бесполезной прихотью природы. Интерес, который он со временем начал проявлять к ним, сопровождался легким презрением, и он никогда не мог понять душещипательную литературу. В школьные годы Ромео казался ему дураком, в институте Вертер — шизофреником. Одна девушка сказала о нем в его присутствии: «Скучный, как бесконечное соло на контрабасе». Этот отзыв он принял с гордостью. Быть интересным для женщин — быть клоуном в глазах мужчин.

Любил ли он Ольгу? Он считал, что любил. То есть он относился к ней исключительно, как ни к одной другой. Но вот только сейчас он начал догадываться, что мог бы действительно любить ее, и это «мог бы», и все дальнейшее условно-сослагательное направление мысли, словно серым по пестрому, мгновенно омрачили его эмоционально-безбольное состояние и вернули, даже не вернули, а швырнули в реальность, которая в этот вечер милостиво отступила в глубину сознания, давая ему передышку, отдых, просто вздох прячущегося человека.

Сколько же ему осталось? Чего гадать! Нужно считать, что остался час, полчаса, десять минут! И тогда состояние готовности будет постоянным. Тогда не будет напряжения.

Продолжается жизнь. Или игра. Неважно! Нужно соблюдать правила до конца. И в этом выигрывать!

1. Пятеро

В комнате, необставленной и неуютной, с нематыми окнами и затертым полом, четверо ждали пятого. Он опаздывал. Общий разговор выходил, и все сидели молча. Один, поглаживая темно-русую бородку, рассеянно смотрел в окно, другой пролистывал уже который раз от начала до конца какую-то потрепанную книгу, третий, развалившись в единственном кресле комиссионного происхождения, задумчиво

ковырялся в часах. На старой кушетке полулежал четвертый. Одет он был хуже всех, точнее, небрежнее всех, был он небритый и невыспавшийся и даже непонятно, какой масти. Он один вписывался в эту комнату, потому что был ее хозяином. За двадцать пять рублей снимал он ее без телефона и ванной, без права на прописку, но зато с правом полной свободы в обращении с арендуемой площадью. Этим правом он пользовался уже несколько лет, и поскольку был холостяк и неряха, то как-нибудь взяться и привести комнату в приличное состояние было уже просто невозможно. Его упрекали и стыдили. Он каялся и обещал, но все оставалось по-старому. Привести бы сюда пару студенток — и комнату можно было спасти, но привести нельзя. Это явочная квартира. Конспирация же — превыше всего!

Пятеро пять — двадцать пять. Пятеро складывались по пятерке и платили за квартиру. Правда, не у всех в нужный момент оказывалась лишняя пятерка. Именно у хозяина ее часто не оказывалось. Коля-хозяин жил на стипендию. От помощи друзей отказывался принципиально и лишь вынужден бывал позволить заплатить за себя квартирные. Платил Константин, тот, что сейчас сидел в кресле. Папаша его был известный в Питере босс и сыну в карманных деньгах не отказывал. Константин одевался почти шикарно, почти изысканно, манеры имел аристократические, голос артистический, и потому неудивительно, что казался чужим в этой компании, если, конечно, взглянуть на нее взглядом постороннего и неосведомленного. Если бы не было Константина, то, пожалуй, тогда столь же случайным в этой комнате показался бы Вадим, но не по одежде или внешности, хотя бородка была только у него. Трудно сказать, чем он выделялся, но если бы кто-то посторонний заинтересовался ими, то он обратился бы с вопросом именно к Вадиму. Да что говорить, посторонний мог бы не без оснований посчитать их компанию случайной, потому что и четвертый, Павел, рыжий, как из анекдота, тоже казался сам по себе...

Вот он захлопнул книжку и повернулся к Коле-хозяину, который мужественно боролся с дремотой.

— Слушай, ты время не перепутал?

Костя и Вадим тоже посмотрели на Колю. Он же лишь обиженно хмыкнул.

Пятый опаздывал. Это было настолько против обыкновения, что ни один из ожидающих не высказал и слова неудовольствия. Причина могла быть только уважительная. И когда Константин произнес: «Однако!», то в этом возгласе было лишь искреннее удивление необычным поведением «командора», абсолютная пунктуальность которого иногда даже пахла снобизмом.

...Если бы их было четверо, компания развалилась бы давно. Но был тот самый, пятый — цемент и железо. Это благодаря его воистину таланту эти четверо, все разные до удивления, несколько лет были как один...

Происходило это не в девятнадцатом веке и не в начале двадцатого, а в самой его середине. Подпольная группа находилась в состоянии кризиса. Два года назад, когда разбрасывали первые листовки, ожидали завтра бунта, а все обошлось случайными шепотками. Они были удивлены, обижены. Народ не услышал их или не захотел услышать. А они говорили ему правду о режиме, которая открылась им с несомненной очевидностью. Но крики никто не услышал, будто уши ватой заложили или воском залепили, или оглохли преднамеренно.

А они любили народ! Точнее, они очень хотели любить народ, хотя подозревали, что любовь эта будет без взаимности.

Шел не девятнадцатый век, а середина двадцатого, и они были не дворяне или разночинцы, а комсомольцы, но история повторялась, и они чувствовали это повторение, которое, как и всякое повторение, банально. Чувствовали, но из круга банальности вырваться не могли, и постепенно нагнеталось ощущение безысходности и обреченности.

Иногда они слышали, что где-то кого-то взяли и посадили за что-то подобное, и тогда с досадой стучали кулаками по столу, потому что опять прозевали и не увидели своих, а им так нужно было убедиться, что они не одни...

Шло время. Шалости уже не удовлетворяли. Оптимизм юности столкнулся с действительностью, которая не торопилась меняться и преобразовываться, народ не просыпался, и зарождалось сомнение, спит ли он.

Раньше, когда собирались вместе, сколько разговоров было, спорили как, до хрипоты, до обид. А вот сегодня уже почти час сидели молча. Ждали пятого. И ожидание было тягостным.

На исходе третьего получаса раздался, наконец, долгожданный условный стук в дверь. Колю смело с кушетки, и сна — ни в одном глазу.

Пятого звали Андреем. Он был худощав, высокого роста, темно-русый, с жесткими чертами лица. Он был не старше всех, но таковым казался. Мгновенным оценивающим взглядом он охватил всех, как офицер солдат перед боевым заданием. Никто ничего не сказал. Даже не поздоровались. Первым всегда говорил пятый.

Он подошел к свободному стулу, сел, нахмурился, отчего стал еще старше, молчал. Потом поднялся, подошел к столу, у которого были все четверо, поставил кулак на стол. Так он начинал говорить.

— Ничего не случилось.

Голос его был глухой, но без хрипоты, и такой же тяжелый, как его кулак.

— Ничего не случилось. Да и что может случиться с нами. Мы кроты!

Начало разговора было тревожным. Все смотрели на Андрея, но смотрели как-то сбоку, исподлобья, словно не смотрели, а подсматривали.

— Эти полтора часа я гулял по набережной Мойки. Несколько дней назад я решил сообщить вам очень важное. Но сегодня мне еще нужны были эти полтора часа.

Говорилось все это тоном человека, уверенного, что никто не усомнится в его правде и правоте. Никто не усомнился.

— Мы потерпели фиаско. Это сегодня ясно каждому. И причина одна — Россия не готова, мы преждевременные скороспелки. Продолжение нашей деятельности бессмысленно.

Теперь все смотрели на него удиаленно.

— Мы никому не нужны. Мы смешны в своем желании кричать о том, что всем известно. Мы хотели рассказать о миллионах погибших, мы, однажды узнавшие об этом! А кому мы рассказывали? Тем, на чьих глазах все происходило! И даже те, что выжили и вернулись из лагерей, — вы же знаете, какую блевотину они выдают! Здесь что-то не так... Мы стучимся в каменную стену вместо двери...

Он пристукнул кулаком по столу, словно ставил ту самую точку, которая не получалась в словах. Потом заговорил другим голосом, незнакомым для его друзей.

— Понимаете, ребята, здесь какая-то тайна, задача из высшей математики, а мы решаем ее средствами таблицы умножения... Короче говоря, дело наше ликвидируется по причине отсутствия капитала!

Кроме Константина, все казались сконфуженными, даже растерянными, так неожиданны и странны были речи «командора». И когда Константин обнаружил желание что-то сказать, все повернулись к нему с надеждой.

— А чем жить будем? Делать карьеру?

Константин спрашивал не Андрея, который сидел, опустив голову, нахмурившись и адавив кулаки в стол. Константин спрашивал всех, и потому никому легче не стало.

Константин покосился на Андрея. Тот молчал, но в молчании была недосказанность, и «правая рука командора» почувствовал это.

— Все ли ты нам сказал, шеф?

— Не все, — ответил тот. — У меня есть вариант для самого себя. Пусть каждый подумает над своим вариантом. Может быть, произойдет совпадение.

— Чего тянуть, давай сразу! — выскочил Коля-хозяин.

— Нет! — ответил Андрей. — Я буду говорить последний. Так есть у кого-нибудь свой вариант?

Сначала было молчание. Потом тот, у окна, длинноволосый с бородкой, зашевелился смущенно, и все повернулись к нему.

— У меня есть вариант, но... он ни с чем не совпадает... я знаю... Я давно к этому пришел, но не говорил...

Андрей смотрел на него подозрительно, похоже, что он действительно на совпадение не надеялся. А тот колебался, краснел, почему-то хрустел пальцами.

— Ну... в общем... не знаю как и рассказать... В общем... я занимаюсь... это не то слово, наверное, ну, интересуюсь что ли... христианством... Это серьезно... Вот, собственно...

Он развел руками, виновато улыбнулся, оглядел всех так же виновато.

Общее молчание было лучшим свидетельством общего удивления. Даже у «командора» обычная жесткость выражения сменилась растерянным недоумением.

— Не понимаю, — сказал он. — Я интересуюсь йогой. Давно и серьезно. Ну и что?

— Это не то, Андрей, — как можно мягче ответил Вадим. — Мне трудно объяснить...

— Ты что, в Бога веришь, что ли? — напрямую, с глуповато-удушенной улыбкой спросил Коля-хозяин. Коля не тянул на интеллект и мог позволить себе многое.

— Да, — чуть слышно ответил Вадим.

Сказал он это так, как застенчивые мальчики признаются своим друзьям во влюбленности, готовя себя к заведомому осмеянию. И еще сказано это было так, что всем стало неудобно, будто действительно вынудили друга сказать о чем-то чрезвычайно интимном, что нельзя принять всерьез, но и нельзя позволить самому даже усмешку. Потому никто не смотрел в глаза Вадиму. И он, покраснев, опустил глаза в стол. Даже «командор» долго не мог найти нужных слов.

— Не понимаю, — сказал он раздраженно. — Если речь идет о религии как социальном институте, несущем положительную мораль... я сам думал об этом. Если у тебя есть идея в этом смысле, выскажи, обсудим... Может быть, действительно можно использовать...

— Нет, — перебил его Вадим, — не то. У меня нет никакой идеи. — На его лице было выражение пытки.

— Идеи нет, а вариант есть, — отпаривал Андрей.

— Я же сказал, что это мой личный вариант, он ничему не мешает. Я же делал все, что и вы. Ты спросил, я ответил. Если ты хочешь предложить что-то новое, одно другому не мешает.

Вадим говорил уже спокойно. К Андрею же вернулась его прежняя категоричность.

— Боюсь, что будет мешать, — сказал он жестко.

Коля-хозяин перегнулся через весь стол к Вадиму.

— Вадька, ты крестился, да?

— Отстань от него! — резко оборвал его Константин. Но Вадим ответил.

— Я крещен в детстве.

— Я тоже крещеный! — почему-то радостно крикнул Коля.

— Отстань, тебе говорят! — еще резче осадил Константин.

Тот, ничуть не обидевшись, отошел от стола, плюхнулся на кушетку. Константин повернулся к Вадиму.

— Ну, хорошо, Вадик, это, конечно, твое личное дело. Но знаешь... я не верю, что ты не связываешь этот личный свой вариант с какой-то, ну, скажем, перспективой... Или это просто уход от противоречий... Тогда можно понять... Ну, поясни же хоть что-то!

Вадим колебался.

— Нет, это не уход... Но, честное слово, у меня все еще, как чутье... я самому себе еще не все объяснил, но что это не уход, я уверен...

— Но разве религия не умирает во всем мире, — настаивал Константин, — если уже не умерла.

— Есть другое мнение, — осторожно ответил Вадим. — Но поверь, мне трудно говорить на эту тему.

Он беспомощно огляделся по сторонам. Напротив него в стене комнаты, что углом выходила во двор, были видны остатки двери, след давней перестройки дома.

— Смотри, — показал он туда. — Мы знаем, что за этой дверью ничего нет. Там улица. И вдруг, если бы мы ее открыли и обнаружили там зал и еще десятки комнат... Так и тут... Христианство — это целый мир, о существовании которого даже не подозревают...

— Ерунда все это, — сказал вдруг до сих пор молчавший Павел.

— Едва ли, — возразил Константин.

— Во всяком случае, — как бы подводя черту дискуссии, четко проговорил Андрей, — ясно одно: с Вадимом мы расстаемся.

— Андрей! — испуганно встрепенулся Вадим.

— Да, — отрубил тот и, обращаясь почти единственно к Константину, спросил резко: — Есть у кого-нибудь другие варианты?

Константин пожал плечами. Коля поднялся с кушетки, подошел к столу, всем своим видом показывая, что у него не может быть никаких вариантов, кроме тех, что предложил «командор». Павел сказал за всех: «Нет вариантов», — тем самым предоставляя слово Андрею.

Вадим сидел у окна в конце стола. Павел ближе к Андрею. Андрей обошел Паала, подошел к Вадиму. Лицо у Андрея было торжественно и строго. Вадим растерянно поднялся со стула.

— Вадим! — обратился к нему «командор», протягивая руку. — Спасибо тебе.

Смущенный и недоумевающий, Вадим принял руку Андрея.

— Ты был первым, кому я несколько лет назад высказал предложение создать организацию. Ты был верным товарищем. Наши пути расходятся. Поверь, я расстаюсь с тобой без упрека с моей стороны, надеюсь, и с твоей стороны упрека не будет.

Все это было сказано не без некоторой театральности, но только для тех, кто мог бы со стороны наблюдать и слушать. Достаточно было взглянуть на Колю-хозяина, у которого в этот момент задрожали губы, а глаза стали большими и влажными, чтобы понять особенность стиля взаимоотношений друзей, чтобы поверить в безыскусственность кажущейся патетики.

Вадим почти крикнул, вырвав руку:

— Ты что же, прогоняешь меня! Я же не отказываюсь...

Но «командор» не дрогнул:

— Твой вариант расходится с моим.

— Андрей! — пытался перебить его Вадим.

— Да. Расходятся. Несовместимы. Ты меня знаешь, напрасно не скажу. И ты уйдешь сейчас. Мой принцип — лишнему лишнего знать не надо.

— Я лишний! — почти со слезами повторил Вадим.

— У тебя свой вариант, Вадик, — неожиданно мягко сказал Андрей, — ты проверь его, если не оправдается, ты скажешь мне об этом.

И, помолчав, добавил хмуро:

— Если к тому времени я сам буду в своем варианте.

Он снова протянул руку Вадиму, но тот не шелохнулся. Андрей взял его за рукав.

— Через пару дней я зайду к тебе. И мы еще потолкуем. Уходи, Вадик.

Вадим вздрогнул.

— Я уйду, — сказал он, не глядя на Андрея. — Но ты что-то делаешь неправильно, потому что я чувствую себя предателем. А это не так.

Андрей сам взял его руку, крепко сжал.

— Это не так! — Добавил нехотя: — Если ты действительно нашел свой вариант, поверь... я тебе завидую.

Вадим освободил руку и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Друзья слышали, как он быстро спускался с лестницы. На некоторое время в комнате наступила тишина, как вдруг раздался торопливый, нервный стук. Коля переглянулся с Андреем, пошел открывать. На пороге стоял Вадим.

— Храни вас Бог! — сказал он еле слышно и бросился вниз по лестнице.

Коля еще бы долго стоял с открытым ртом, но Андрей крикнул:

— Дверь!

— Ну и дела! — процедил Павел, барабанив пальцами по книжке.

Андрей взял стул Вадима, перенес его на свое место. Сел. Коля подтащил еще стул и тоже сел у стола. Все чувствовали себя погано и с облегчением вздохнули, когда Андрей начал говорить. А говорить он начал неуверенно, странно как-то, подыскивая слова, задумываясь над сказанным. Не узнавали друзья «командора», но слушали внимательно, может быть, чтобы избавиться от неловкости после всего, что произошло.

— Я сказал уже, что дальнейшая наша возня с листовками и прочее... все бессмысленно. Что-то мы не понимаем в ситуации, и получается, что мы ее насилуем... В сущности, что мы знаем? Что власть, которая претендует на идеал, преступна. Мы узнали это не из секретных документов, а из источников, всем доступных. Но реагируем почему-то только мы... Вот это «почему-то» нам, видимо, не разгадать. А не реагировать не можем. Не можем ведь, так я говорю?

— Валий дальше, — буркнул Павел.

— Понимаете, между нами и всеми есть какой-то разрыв... Во времени или пространстве, не знаю. Только я знаю точно, что убивали людей, я знаю, что есть люди которые убивали...

Андрей умолк на мгновение. Константин пристально смотрел ему в глаза.

Андрей поднялся, прошелся по комнате, остановился в углу.

— Так вот, я считаю, единственное, что мы делать вправе, — это карать убийц!

— Как это — карать? Убивать что ли?! — ахнул Павел.

— Нет, не убивать, — твердо ответил Андрей, — а именно карать!

— Именем народа, — не без иронии подсказал Константин.

Но Андрей быстро подошел к нему, наклонился:

— Нет, Костя, как раз нет! Ты читал Киплинга, помнишь! Как там?

Константин пожал плечами, припоминая, что именно. Вопросительно произнес две строчки:

Если в риске ты поставишь
На орла, а выйдет решка...

— Нет! Нет! — перебил его Андрей. — То есть это, только дальше.

Константин подумал еще и уже уверенно, при этом, правда, будто заново вслушиваясь в знакомые слова, продолжил:

Если ты умеешь правду
Неподкупности и чести
Говорить царям и толпам.
Отвечая головой...

— Вот! — рубанул Андрей. — Вот! Отвечая головой. Ничьим именем, кроме своего! Так получилось, что мы не с царями и не в толпе. Известно, что за правду толпа растаптывала, а цари казнили. Часто это происходило одновременно. Похоже, что мы живем именно в такое время. И мы можем и должны действовать только от своего имени, и быть готовыми ответить за это головой. Таков мой вариант.

Он сел. Но вскочил Павел.

— Подожди! Я все-таки не понял. Как ты собираешься их карать?

— Смертной казнью, Паша, — печально пояснил за Андрея Константин.

— Убивать! — в ужасе произнес Павел.

— Ничего себе вариант! — ошеломленно пробормотал Коля-хозяин.

Андрей молча смотрел на мечущегося по комнате Павла.

— Чем ты собираешься карать? — вполусерьез шепнул Константин.

— Вопрос второстепенный, — отрезал Андрей.

— Это точно, — с улыбкой согласился Константин и начал ковыряться в ободке часов.

— Слушайте, ребята! — взмолился Павел, разломачивая свои рыжие вихры. — Подумайте, о чем говорите!

Он обращался к Андрею и Константину одновременно. Коля был не в счет. Он, казалось, вообще выключился и только тарачил глаза то на одного, то на другого.

— Листовки, демонстрации, пропаганда — я понимаю! Но убивать! Это же...

— Убивают людей, — холодно, почти враждебно отпарировал Андрей, — а карают убийц!

— Но это же только слова!

— Короче! — зло бросил Андрей.

Павел подошел к нему вплотную.

— Нет, Андрей, короче не будет! Не в фантики играть предлагаешь.

— Ты не прав, Андрюша, — сказал Константин.

— В чем? — резко повернулся Андрей.

— Сколько времени ты думал над этим вариантом?

— Два месяца, — четко ответил Андрей.

— А нам не даешь и пяти минут?

Андрей понгнал желваками.

— Хорошо. Сколько вам надо времени, чтобы подумать?

— Смотря кому, — спокойно ответил Константин. — Спроси каждого.

— Спрашиваю. Сколько времени нужно тебе, чтобы подумать?

Таким же невозмутимым тоном Константин сказал:

— Мне хватит того времени, пока ты будешь спрашивать остальных.

Андрей внимательно смотрел на него, точно пытался уловить что-то в интонациях или поведении друга. Обратился к Павлу.

— Сколько тебе нужно времени?

Павел стоял против него нахохлившись, решительный.

— Если ты уже все решил и не хочешь обсуждать, то мне столько не нужно времени! Убивать я не буду!

— Так.

Они смотрели друг другу в глаза. Взгляд Андрея смирился.

— Я знал, Паша, что мой вариант не всем подойдет, и допускал, что не подойдет никому.

Едва ли «командор» был искренен в эту минуту. Но продолжал:

— Не сердись! Каждому свое. Спасибо за прошлое!

Он протянул руку Павлу. Тот сразу скис.

— Андрей, пойми...

Но тот перебил его.

— Не нужно. Расстанемся друзьями! Извини, что напоминаю про клятву.

— Само собой,— пробормотал Павел, опуская глаза.

Сложив руки на груди, Андрей подошел к Николаю.

— Ну, а ты?

В этом вопросе не только не было надежды, но даже саркастически прозвучал сам вопрос.

Коля развел руками, пожал плечами, покрутил головой и сказал неожиданно для всех:

— Я, как ты... Ну, с тобой, значит...

Андрей не сумел скрыть удивления и даже руки опустил.

— Это что, серьезно?

— Куда ты лезешь, дура мамина! — заорал на него Павел.

Коля скосился в его сторону.

— Если ты боишься, так молчи!

— Я боюсь... — растерялся Павел. — Я не боюсь. И... по крайней мере это не главное. — Он вдруг начал заикаться. — Андрей, честное слово, дело не в этом! Ты веришь мне! Я не хочу никого убивать! Никого! Понимаешь!

— Верю! — ответил Андрей. — Даю тебе честное слово, что верю. — Он повернулся к Коле, с любопытством разглядывая его. — А ты, однако, чудной парень! — Коля глуповато и счастливо улыбался. — Не программированный! Все же подумай еще.

— Подумал, — буркнул Коля.

— Ну смотри!

Андрей подошел к столу, сел напротив Константина.

— Что скажешь, Костя?

Константин улыбнулся.

— Чего ж! Я — как Коля.

— Как я? — изумился тот. — Я с Андреем!

И поняв шутку, расхохотался.

Теперь все трое смотрели на Павла, который сидел на кушетке, уронив голову на руки.

— Нет, — прошептал он, — не могу. Если сейчас поддамся, потом жалеть буду.

Встал, подошел к Андрею.

— Прости, Андрей. Это не по мне!

— Прощай, — подал руку «командор».

Когда затихли шаги на лестнице, Андрей сказал:

— Итак, нас осталось трое! Это даже больше, чем я ожидал.

— Три мушкетера! — подхватил Коля. — Андрей, конечно, Атос, Костя — Арамис! А я?

Он жалобно посмотрел на друзей.

— Да, — сочувственно заметил Костя, — на Портоса ты как-то не тянешь!

Они долго смеялись, все трое. Смех был нервный.

Андрей взглянул на часы.

— Приступим?

Сели друг напротив друга.

— Есть такое место, Лемболово, знаете?

Кивнули. Андрей достал из внутреннего кармана пиджака тетрадь.

— Живет там один человек, Михаилом Борисовичем Колгановым именуется. Вот досье на него. Показания четырех человек. Записал со слов. Прищипывал пальцы, прижигал губы спичками, бил ногами, пытал голодом, таскал за волосы женщину — и прочие подвиги. Сейчас подполковник на пенсии. Зяблый цветовод.

— Семья есть? — осторожно спросил Константин.

— Ну и что? — ответил Андрей. — У тех тоже были семьи.

— Конечно... Это я так. Интересно, какие у него потомки.

— Не знаю. Можно поинтересоваться, — неуверенно предложил Андрей.

— Да ну их!

— А как?.. Чем? — спросил Коля.

— Нам нужен всего один пистолет. И через... — Андрей взглянул на часы, — через четыре часа мы будем его иметь!

Снова полез в карман, достал лист бумаги, сложенный вчетверо, распрямил, положил на стол.

— Смотрите. Это Суворовский, это Старо-Невский, это

2-я Советская. Узнаете? Вот из этого дома в одиннадцать или около этого выйдет участковый. Он пойдет сюда... Здесь поворот. Тут мы его и возьмем!

— Как возьмем? — испуганно спросил Коля.

Андрей усмехнулся.

— Не бойся, убивать не будем. Удар в солнечное, пистолет из кармана... три минуты пробежать двором вот сюда... дальше в разные стороны. Я с пистолетом к автобусу. Если его не будет, хотя должен быть, тогда напрямую на Старо-Невский. Встретимся завтра здесь. Вот и все. Срыва не должно быть. Я месяц все это вынохивал. А теперь небольшая репетиция...

Когда расходились, Андрей задержал Константина у подъезда.

— Костя, скажи, ты действительно все обдумал или просто пошел за мной? Только честно.

Константин вздохнул.

— Если честно, то... просто пошел за тобой.

У Андрея погрустнели глаза.

— А что мне оставалось делать, Андрюша! Мой дорогой папаша, ты знаешь, партийный босс, и не вчера он им стал. Значит, причастен. Да и сам я комсомольский активист... Как-то я должен искупать семейную пакость.

— Но ты-то можешь отказаться... Не силой тянут. Извини, я верил тебе и никогда не говорил на эту тему.

Константин прислонился спиной к стене, запрокинул голову.

— На факультете меня называют идеалистом. Жалко, Андрюша, расставаться с идеалом! Такие хорошие и красивые слова! Ведь не может же быть, что все ложь! Сотни поколений... миллионы жертв... Разве может зло принимать такую соблазнительную форму! Взгляни на историю — сплошная ненависть и вражда. Коммунизм — это идея братства, всечеловеческого братства...

— А что получается? — мрачно вставил Андрей.

— А, может быть, просто не получается? И если нет мечты, нет идеала, для чего жить? Вот Вадим нашел вариант. Бог! Тебе это о чем-нибудь говорит?

Андрей махнул рукой.

— И для меня тоже это только символ несостоявшегося идеала. Может быть, я чего-то не знаю... Послушай, давай как-нибудь сходим, поищем умного священника, послушаем их аргументацию!

— А есть ли они, умные? — усмехнулся Андрей.

— Должны быть! Были же раньше.

— Посмотрим, может, и сходим... Хотя, откровенно говоря, меня это не вдохновляет.

— А все же любопытно... Что же до моей активности, — продолжал грустно Константин, — то получается, что я попутно проверяю идею отрицанием и утверждением... Ты же не осуждаешь меня.

— Нет.

— Ну и хорошо. А на остальных мне наплевать!

Андрей вдруг хлопнул его по плечу, отошел на шаг, оглядел с головы до ног, рассмеялся:

— На вид — стилиста, официально — активист, неофициально — подпольщик! И впрямь святая троица!

Константин ответил серьезно:

— Да, я понимаю, в этом есть что-то противоестественное, может быть, даже аморальное...

— Чепуха! — оборвал его Андрей. — Вот я уверен, что ты никогда не предашь, а более ценного человеческого качества я не знаю.

Они пожали руки и разошлись до вечера.

2. Осечка

В десять вечера Андрей сидел на скамейке в маленьком парке на Суворовском проспекте. Сидел, закинув руки на спинку скамьи в позе молодого бездельника, которому даже на прохожих смотреть лень. Чувствовал себя на удивление спокойно. Даже ни тени волнения. За месяц он многократно представлял себе все, что должно произойти через час, и была абсолютная уверенность в удаче. За три года ему приходилось осуществлять и более дерзкие операции.

Был теплый июньский вечер. С Невы потягивало прохладой. Где-то приемник не очень громко выхлопывал итальянские ритмы.

У скамейки, чуть покачиваясь, появился «интеллигент». Посмотрел на Андрея и плюхнулся рядом.

— Млещешь? — спросил он.
— Что? — не понял Андрей.
— Млещешь, говорю?
Андрей враждебно покосился на него.
— Созерцаешь проходящих женщин?
— Точно! — с откровенной злобой ответил Андрей.
— Не ершишь! — упрекнул «интеллигент». — Созерцать женщин — самое благородное занятие для мужчины!
— Самое? — переспросил Андрей, явно задираясь.
— Если без похоти, — ответил «интеллигент», не обращая внимания на тон Андрея, — женщина — это главное чудо мира! Это его самая непостижимая тайна!
— Самая? — сбросив агрессивность, спросил Андрей.
— Тсс! — «Интеллигент» наклонился к Андрею. — Смотри! Смотри!

Мимо проходила молодая пара.
— Смотри на нее! На него не смотри! Он глуп в своем самодовольстве. Смотри на нее!

— Смотрю, — согласился Андрей, действительно рассматривая красивую, улыбающуюся девушку, которой что-то нашептывал парень.

— Ну! — накинулся на Андрея незнакомец, когда парочка прошла мимо.

— Ну? — ответил Андрей.

— Что ты видел?

— А ты?

«Интеллигент» отстранился от Андрея, презрительно окинул его взглядом.

— Тупица! — сказал он.

«Надвинуть ему шляпу на нос?» — подумал Андрей, но не шевельнулся.

— Ты сейчас видел улыбку счастливой женщины! — провозгласил незнакомец.

— Ну и что?

— А знаешь ты, что такое улыбка счастливой женщины? Андрей развел руками.

«Интеллигент» снова пододвинулся к нему.

— Слушай и постигай! Улыбка счастливой женщины — это проявление, это мгновение мировой гармонии! Улыбка счастливой женщины — это осуществление мировой гармонии! Слушай! Люди ломают голову над тем, что такое истина, справедливость, правда... Вот ты знаешь, что такое правда?

— Не знаю! — с любопытством усмехнулся Андрей.

— А истина? Во! А ведь хочешь знать! Я скажу тебе!

«Интеллигент» почти повис на Андрее.

— Истина — это улыбка счастливой женщины!

— И все? — иронически заметил Андрей.

— Все! — торжественно ответил философ. — Она же есть правда и справедливость! Она же есть и высший смысл бытия! Знаешь ты, почему в мире все так неладно?

— Не знаю!

— Потому, — палец философа качался у самых глаз Андрея, — потому, что мужчины устраивают мир во имя свое! А все проще, но труднее! Мир надо устраивать во имя женщины! И счастливая улыбка женщины — высший и единственный критерий действия!

Он наклонился к самому уху Андрея.

— И революций не надо! Тсс! И на душу населения... не надо!

Он захихикал и закашлялся. Пальцем стукнул Андрея по груди.

— Мы, мужчины, твари, отчужденные от мирового смысла! Выпали, да! Сами по себе! Женщина — в самом венце его! Статистика чем занимается? Чушь! А надо? Провели мероприятие, подсчитали счастливых, сравнили! Плохо? Хорошо? Философы, политики о чем пишут? А надо сравнивать и выбирать! А что выбирать и сравнивать?

— Улыбки счастливых женщин! — подсказал Андрей.

— Только! Только! — резюмировал «интеллигент».

— Ну, что ж! Это тоже вариант! — усмехнулся Андрей и увидел приближающегося Константина. — Когда власть потерпит фиаско и призовет тебя на помощь, присоединись! — Циник! — буркнул презрительно тот вслед уходящему Андрею.

С Константином они прошли к концу сквера. Там уже топтался Коля. Андрей взглянул на часы:

— Порядок! Пошли!

Старинный петербургский дом арочной колоннадой выступал к углу, заглотнув тенью кривой треугольник перекрестка. От одиннадцати до одиннадцати тридцати углом прошло человек десять. Не те. Андрей на другой, освещенной

стороне стоял как вкопанный, ничем не выказывая беспокростности. Но вот он подал условный знак. Быстро перешел перекресток, и там они заняли позицию, заранее обдуманную Андреем. Когда милиционер поравнялся с ними, Коля и Константин одновременно схватили его за руки, а Андрей в то же мгновение ударил его снизу в солнечное сплетение. Милиционер охнул и повис на руках у всех троих. Андрей рванул френч, рубашку, так что затрещали швы, из-под мышки, из самодельной кобуры, выхватил пистолет. Коля и Константин отпустили милиционера, и он со стоном сполз на тротуар. Андрей сунул пистолет во внутренний карман пиджака, но тут же, вскрикнув, пластом рухнул на спину. Милиционер остервенело выкручивал ему ногу. Андрей завертелся, пытаясь вырваться или хотя бы спасти ногу от перелома.

— Что стоите! — закричал он остолебеневшим напарникам. Они кинулись на милиционера, пытаясь оттащить его, но тот не отпустил ноги Андрея, хотя крутить и перестал. Андрей изогнулся. Рука сама потянулась к пистолету. Перехватив его за ствол, Андрей резко, наотмашь ударил и попал по руке Коле. Коля вскрикнул и отпустил милиционера, который тотчас же воспользовался этим и боднул головой склонившегося Константина. Удар пришелся в челюсть, Константин отшатнулся, оступился с тротуара и упал. Но в это же мгновение Андрей, вновь изогнувшись, рискуя поломать вывернутую ногу и чуть не теряя сознание от боли, наотмашь ударил уже пытавшегося подняться милиционера. Андрей не только услышал, но рукой почувствовал хруст. Дальше все прошло по плану.

Встретиться они должны были в пять на квартире. Но в перерыве после второй лекции в коридоре напротив аудитории Андрей увидел Колю. Быстро спустившись по лестнице, у выходной двери Андрей резко повернулся, и Коля, еле поспевавший, чуть не налетел на него. Андрей был в бешенстве.

— Ты зачем здесь! Кто разрешил!

— Знаешь, — еле выговорил Коля, оглянувшись, слглотнув слюну, — ты... мы... это... в общем, убили мы его...

Злость на лице Андрея сменилась угрюмостью. Глядя Коле прямо в глаза, он ответил устало:

— Знаю.

— Откуда? — прошептал Коля.

— Я знал это еще вчера.

Пухлые Колины губы задрожали. Он швырнул носом, отвел глаза.

— Это я! Понял! Вы ни при чем!

— Да я ничего... — начал оправдываться Коля.

— Кончай! — оборвал его Андрей. — Позвони Косте, что встреча отменяется. Приведите в порядок одежду. Чтоб никаких следов! Если будет что-нибудь новое, свяжь через Костю. Никаких встреч!

Добавил уже другим голосом:

— И постарайтесь не хныкать! Духом не падайте! Произойшла осечка. Но мы с лихвой искупим! Понял?

Не очень уверенно Коля кивнул головой.

— Все.

Когда Андрей пожал ему руку, Коля скривился.

— Чего ты? — спросил, нахмурившись, Андрей.

— Руку... Ты вчера мне по ней саданул, — как бы оправдываясь, объяснил Коля. Задрал рукав пиджака и рубашки, показал: ниже локтя большой синяк. — Трогать больно...

— Сходи к врачу, может, трещина.

— Да нет, зашиб просто. Трещина была бы — рукой не шевельнул бы. В детстве было такое... — почему-то радостно затараторил Коля.

— Ну ладно, уходи. Да носа не вешай!

Коля убежал.

Андрей поднялся вверх, зашел в аудиторию, взял тетради. В дверях столкнулся с деканом, но даже не поздоровался, прошел мимо. Декан удивленно посмотрел ему вслед.

На улице долго о чем-то раздумывал. Потом достал деньги, пересчитал. Свистнул проходящему такси. Сел на заднее сиденье. У метро «Нарвская» расплатился. Нашел свободную телефонную будку, набрал номер.

— Вадим, это я. У тебя есть кто-нибудь? Тогда выйди. Есть время? Порядок.

Вадим появился встревоженный.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего,— спокойно ответил Андрей.— Просто захотел увидеть тебя. Поговорить... надо...

— Ну, слава Богу,— облегченно вздохнул Вадим.— Я не ждал твоего звонка... по крайней мере сегодня. Подожди. Я сбегая, газ выключу. Отец спит.

— О твоём варианте поговорить хочу,— сказал Андрей, когда Вадим вернулся.

Они пошли переулком в сторону от многолюдного проспекта.

Долго шли молча.

— Вот что скажи, Вадим,— наконец решился Андрей,— как ты со своим вариантом в мире зла жить собираешься? Если я правильно понимаю, он начисто исключает борьбу? Праведность для себя — ведь это самовыключение из не-праведного мира? В общем, расскажи мне о своём варианте.— И осторожно добавил: — Конечно, если можешь. И что можешь.

С каким-то отчаянием Вадим ответил:

— Боюсь!

— Чего?

— Не со мной бы надо тебе говорить! У меня же все только в чувстве, я еще не все словами определил...

— Но я же не прошу обращать меня! — возразил Андрей.— Я просто хочу понять тебя. Говори как можешь. Если и не пойму,— ничего страшного! Я не хочу с тобой спорить. Я хочу только послушать тебя.

— Я попытаюсь,— неуверенно ответил Вадим.

Еще некоторое время шли молча.

— Жизнь ведь ничтожна во времени... Так? Но человеку дано понимание вечности. Откуда? Это же парадокс... А бесконечность! Можешь ты себе ее представить? Параметры не нашего бытия!

— По Канту шпаришь! — усмехнулся Андрей.

— По Канту? Нет. Едва ли... Не читал. Скучно...

Живо повернулся к Андрею:

— А правда! Истина! Мы с тобой сколько эти слова мусолим! Ведь никто не знает конкретно, что это такое!

— Улыбка счастливой женщины! — пробормотал Андрей.

— Что? — не понял Вадим.

— Извини, я так... Продолжай.

— Я хочу сказать, что каждый ищет смысла этих слов, но не находит... А ведь в сознании-то нашем есть, понимаешь, есть понятия правды, истины... Они будто даже не в нас, эти понятия, а над нами, а мы только головы задираем да на цыпочках тянемся...

— Ты гений, Вадик! — весело рассмеялся Андрей.— Платона ты ведь тоже не читал!

Вадим насунил. Замолчал. Андрей взял его за локоть:

— Больше не буду! Мне интересно, честное слово!

Вдруг закрутил голову.

— Подожди минуту.

Подскочил к какому-то парню.

— Есть закурить?

Парень нехотя достал пачку сигарет, небрежно протянул Андрею.

Андрей попросил спички и, не поблагодарив, вернулся к Вадиму. У того даже горло пересохло от удивления:

— Андрей, случилось что-нибудь?

— Нет,— ответил Андрей, затягиваясь глубоко и с удовольствием.— Разве я не имею права вести себя парадоксально?!

Юмора, однако, не получилось, и Вадим с еще большей тревогой смотрел на Андрея.

— Ну, хорошо,— сбивчиво заговорил Андрей,— вечность, бесконечность, правда, истина, добро, зло — параметры чего-то иного, чем мы. Назовем его Богом. Что меняется от этого в нашей жизни?

Вадим пытался было что-то сказать, но Андрей вдруг схватил его за плечо, остановил, заговорил громко и зло:

— А хочешь другую философию! У тебя кошка есть дома? Кошка, говорю, есть?

— Есть,— испуганно ответил Вадим.

— У твоей кошки одна цель — жить. Когда она хочет есть, она мяучит, когда ей холодно, она мяучит. А когда она сытая, что она делает? Мурлыкает! А можешь ты мне объяснить, что это такое? В мурлыканье нет жизненного смысла. Это издержки бытия. Так вот слушай, доморощенный Платон, так называемая интеллектуальная жизнь человека, в которую входит и религия, есть мурлыканье высокоразвитого животного! Мурлыканье! Все! И ничего больше!

— Что ты говоришь, Андрюша! — крикнул Вадим так громко, что оглянулась проходящая мимо женщина с пучками моркови в сетке.— А разум!

— Разум? — вдруг обрадовался Андрей, словно ждал этого вопроса.— Разум — это шестое чувство самосохранения. У кошки их пять, у волка пять, а у человека шесть. То, что ты называешь разумом, развилось в человеке в связи с выпадом его из общей системы природы, где достаточно пяти чувств. Гипертрофия этого шестого чувства породила так называемую интеллектуальную жизнь, как обжорство порождает жировые наслоения. Жирующему тепло, но он может и задохнуться от жира. Так и человек! Да! Именно так! Разум сохраняет жизнь и губит ее! Булка хлеба и атомная бомба — продукт хитрости-разума! Кошка не контролирует свое мурлыканье, оно произвольно. Творчество человека — тоже! Спроси меня еще, что такое искусство, и я отошлю тебя к твоей кошке, которая играет с мышью, когда сытая! Хочешь формулировочку! Искусство — это...

— Не надо, Андрей!

— Надо! Боишься! А может быть, я говорю тебе ту единственную правду, которую человек не только боится, но и не хочет знать! О чем я? А! На-ка, проглоти! Искусство — это побочная функция нормально функционирующего живого организма! Каково! Эта функция присуща всем живым существам в соответствии со степенью их развития!

— А поэты, умирающие от чахотки!

Вадим покраснел от волнения.

— Например, кто? — злорадно спросил Андрей.

Вадим растерялся.

— Чахоточники и язвенники, Вадик, занимаются политической, самым гнусным вариантом мурлыканья! Или тебе еще рассказать про комплекс неполноценности, чтобы ты не вспомнил про слепого Гомера и горбатого Эзопа! Человечество живет по тем же законам взаимопожирания и самовывживания, что и весь мир, идея же Бога, как и все прочие идеи — это опыты коллективного самоконтроля, попытки регулирования взаимопожирания!

Сигарета сама догорела в его руке, он еще попытался затащить, но обжег пальцы, отшвырнул окурочок. Он упал к ногам мороженщицы, она что-то закричала им обоим. Вадим поспешно затащил Андрея за угол, там они свернули в арку большого дома, вышли во двор, остановились. Во дворе никого не было.

Андрей успокоился, снова стал самим собой, в глазах погасла лихорадочность, движения стали сдержанными. Лицо застыло в привычной маске твердости и уверенности. Таким знал его Вадим. Почти таким.

Что-то новое появилось в глазах «командора». Новое было тревожным. Не добрым. Иначе не приковывало бы взгляда...

— Понимаешь, Вадик,— уже спокойно сказал Андрей,— я не вижу аргументов против того, что наговорил тебе. Хотел послушать тебя, а разболтался сам... Этот разговор был не нужен вовсе.

Вадим ответил ему с грустной уверенностью:

— У тебя что-то случилось. Серьезное? Не хочешь говорить, не нужно. Только... если это то, что я думаю...

— Ну,— разрешил Андрей.

— Ты остался один?... Я имею в виду твой вариант...

— Нет, я не один,— сказал Андрей, и тон означал, что тема исчерпана.— Я уезжаю. Надолго. Кое-кто из наших, возможно, тоже уедет. Постарайся с ними не встречаться. Так надо.

Вадим робко спросил:

— Чем-нибудь я могу... помочь тебе?

Андрей помолчал.

— Можешь. Новый телефон Ольги у тебя есть?

Вадим торопливо рылся в записной книжке.

— Есть. Записывай.

— Говори.

Вадим вспомнил, что Андрей никогда не записывал телефоны. Это была часть его системы.

Оба они расстались с предчувствием, что виделись последний раз.

Минут пятнадцать стоял Андрей у телефонной будки, пропустил очередь раз пять. Затем вошел. Набрал номер. Телефон Ольги был занят. Он повесил трубку и пошел прочь.

3. Телефоны

Прошло пять дней. На шестой вечером в квартире Константина зазвонил телефон. Сначала его никто не услышал, так было шумно. Потом девица в голубом платье пропищала:

— Костик, да телефон же!

Константин вышел в коридор. Снял трубку. Вяло ответил.

— Костя, это я, привет!

— Коля?

Обрадованный, что узнал, Коля захихикал.

— У тебя ничего?

— Ничего,— ответил Константин.

— У меня тоже... все тихо.

Коля покашлял в трубку. Разговор не клеился.

— Знаешь, я сидел. сидел в своей комнате, что-то тошно стало.

— Откуда звонишь?

— Из будки. На углу которая. Я тебе помешал?

— Да нет...

Коля усиленно сопел в трубку.

— Слушай, Кость, если я спрошу, ответишь честно?

— Спрашивай,— сказал Константин, вздохнув.

— Ты... это... ну... ведь презираешь меня? Да?

— Чего? — изумился Константин.

— Ты не отпирайся, Костя! Я знаю! И вообще это правильно...

Константин закричал в трубку:

— Ты чего там мелешь! Выпил?

— Нет! Честное слово, нет! — заоправдывался Коля. — Ты только подожди, не бросай трубку, я хочу сказать, поговорить... по-другому-то ведь не получится, по телефону только... А я не выпивал, честное слово! Мне нельзя выпивать, у меня язва двенадцатиперстной кишки... Спирт только можно немного. А где его возьмешь... Дорогой... А вина нельзя, сразу кишки резать начинает... и острого ничего нельзя... огуречный рассол, например, вкуснятина, а нельзя.

Коля тараторил.

— У тебя язва? — рассеянно спросил Константин. — Я не знал...

Наверное, никто не знал.

— Слушай, Костя,— продолжал Коля торопливо, словно боялся, что не успеет сказать, что его не дослушают... — Знаешь, я думал, что не люблю тебя! Правда! Я так думал! А вот сегодня сидел и понял, что я просто завидовал, как самый последний подонок завидовал... Я тебе все скажу, понимаешь, мне надо сказать... Помнишь, юбилей наш отмечали, ты колбасы принес, я такой в жись не видел... сервелат называется. У меня потом всю ночь кишка болела, я еще выпил тогда... за юбилей... И я тебе завидовал... У тебя костюмы всякие... и я тоже завидовал. Я когда один, учился говорить, как ты, ну так, с юмором, у меня ничего не получалось, и я тоже завидовал... Ты этого не знал, но ты презирал меня... и правильно! Я подонок... был...

— Подожди, Коля, подожди! — пытался остановить его Константин, стараясь справиться с чем-то досадным в себе, что появилось, захватило, жгло...

— Нет, нет, я еще не все... Когда Андрей вариант свой сказал, я испугался, но я назвал тебе согласился... Нет, не так... Я думал, ты не поймешь. Я себе сказал: «Он не пойдет, а я пойду!» А ты тоже... Мне, честное слово, стыдно! Потом ты говорил, что в комнате свинство... Это ты правильно. Человек всегда должен быть аккуратным, но ведь, понимаешь, я еще в кочегарке работаю, сорок восемь часов в неделю. Накидаешься лопатой, придешь, руки не поднимаются, и зубрить надо... Не, я не оправдываюсь... То есть я пытаюсь оправдаться, чтоб ты понял... Знаешь, я решил, если все... ну... пройдет хорошо, я по-новому жить буду! У нас теперь неизвестно как будет, так я решил... чтобы на душе чисто было, вот...

Он снова засопел в трубку.

— Ты все сказал? — Голос у Константина дрожал. — Теперь я скажу. Слушай! Ты отличный парень, понял! А я всего-навсего сытый пижон! Я не презирал тебя, но я был хамом! Если все пройдет, мы будем друзьями! Ты веришь мне? Алло!

— Кость! Что мы натворили! А!

Эта фраза прозвучала так, что у Константина мурашки по спине пробежали.

— Да,— глухо ответил он. И вдруг впервые отчетливо

понял весь смысл случившегося и еще — что не обойдется! Что с того вечера жизнь его поделена надвое, и в середине — пропасть. И возврата нет! Еще ему показалось, что на том конце провода очень близкий ему человек, очень нужный ему человек...

— Слушай, Коля,— сказал он торопливо и взволнованно,— давай приезжай ко мне! Хватай такси и езжай! Есть у тебя на такси?

Коля сопел.

— Не надо, Костя.

— Почему? Чего ты?

— Все будет не так. По телефону лучше. Давай лучше еще поговорим!

— Зря ты! Я бы всех разогнал, и посидели бы вдвоем!

— А кто у тебя? — спросил Коля с детским любопытством.

— Да гости... Три девицы высоких папаш, несколько перспективных аспирантов и один известный музыкант...

— Ух ты! — восторженно прокомментировал Коля. Затем застал: — Вот видишь, я опять завидую! А чего они делают?

— Сейчас? Сейчас одна дева, закатив глаза, нашептывает Пастернака.

— Декадентка? — спросил Коля серьезно.

— Нет,— пояснил Константин,— ей замуж нужно.

— Конечно, чего одной-то жить!

— Что? — переспросил Константин.

— Я говорю, понять можно. Каждой женщине детей охота иметь и чтоб семья...

— Коля, у тебя есть враги?

— Какие враги? Если... ну, ты же знаешь...

— Нет, личные враги, я имею в виду. Есть кто-нибудь, кого ты ненавидишь?

Коля недоуменно хмыкнул.

— Не знаю... Мне зла никто не делал... Больше сам по глупости всегда.

— А девушка у тебя есть?

Коля замолчал. Константин с грустью сказал:

— Как же так получилось, что мы три года дружим и ничего не знаем друг о друге?

Коля молчал. Потом сказал печально:

— Ну, пока, Костя!

Тот испугался.

— Ты что, Коля! Обиделся...

— Нет, нет,— залопотал он,— замерз, в рубашке высокочил. Я еще позвоню, Костя!

— Звони! Слышь, обязательно звони!

— Ну, пока...

Телефон запищал. В гостиной известный музыкант играл Шопена.

В тот же вечер и в то же время состоялся другой телефонный разговор.

Вадим долго пробивался к Ольге. Телефон был занят. Наконец ответила.

— Бессовестный,— сказала она ему грустно.

— Оля!

— Конечно, я знаю. Я всегда была для тебя приложением к Андрею. А перестав им быть, перестала существовать! Через полгода чего же ты вдруг вспомнил обо мне?

Чертовски неприятная правда была в ее словах.

— Мне нечем оправдаться! — сказал он очень искренне.

— Поздравь меня, Вадик, я кончила училище.

— Поздравляю!

— Спасибо. Еще поздравь.

— Ну?

— Я поступила в консерваторию.

— Ты молодец, Оля!

— Видишь, как удачно и счастливо устраивается моя жизнь! Так что же ты позвонил мне? Впрочем, можешь не говорить, я знаю.

— Не знаешь.

— У Андрея что-то не так? Ему плохо? Верно?

У Вадима язык отнялся. Она горько усмехнулась.

— Вы почитаете себя сложными, многоплановыми натурами, вы носите со своей сложностью, как... Господи! У вас же всегда одна и та же константа — эгоизм! Ну говори же, эгоист, что случилось с твоим другом, эгоистом трижды и без предела!

Она говорила спокойно или старалась говорить спокойно. И все же Вадим чувствовал, что разговор ей безразличен



Так и должно быть, он ведь много знал! Но как сказать ей и что сказать!

— Ты права, Оля, ему плохо. Но, конечно, я звоню по своей инициативе.

— Ясное дело! Андрей умеет подбирать чутких друзей!

— Не нужно так говорить о нем, Оля, ты...

— Но можно! — перебила она его. — Андрей — дурной человек! Да! Молчи! Я имею право это говорить! Ну, подумай только! Как много вокруг лучше его, мизинца которых он не стоит! Сколько добрых и благородных людей, любить которых было бы счастье, твердое, уверенное счастье! Почему же все так дурацки устроено в жизни? Ты умный и рассудительный, скажи, почему? Впрочем, скажи лучше, что с Андреем!

— Кроме того, что ему плохо, я ничего не могу тебе сказать. Поверь, я сам не знаю!

Она ответила ему с досадой:

— Раньше ты не лгал, Вадим!

— И сейчас не лгу. Я больше не посвящен в его дела. Кое-что изменилось...

— Разругались?!

В голосе был испуг.

— Нет. Я не могу тебе объяснить, но мы не ругались. Я видел его пять дней назад. Ему было плохо. Он попросил твой новый телефон. Но ты не звонила мне, и я понял, что он тебе тоже не звонил.

— Почему я должна была звонить тебе? — удивилась она. — Ну, конечно, ты прав! Я позвонила бы тебе, чтобы узнать хоть какие-нибудь подробности, ведь от него я бы ничего не услышала! «С женщиной говорят о любви, когда любят, и ни о чем, когда равнодушны. О делах не говорят никогда!» Это тебе знакомо?! Демагог проклятый! Сколько горя он мне принес! Вадик, милый! Скажи, за что ты ему так предан? Ведь он никого не любит! Он если держится за кого, так только пока тот дышит его воздухом!

— Нет, не так! — горячо возразил Вадим. — Я задам тебе тот же вопрос: за что ты его любишь до сих пор?

Вадим ясней ясного увидел ее лицо и слезы на глазах. И не ошибся. Слезы были в голосе.

— Не знаю! Не знаю! Он измучил меня! Я во сне сколько раз хлестала его по щекам! Но он и во сне мучил меня, я и во сне разбивалась об него, как о стену! Он ни разу не приснился мне улыбающимся или ласковым! Знаешь, Вадим, я уже думала, что, может быть, это не любовь, а вариант неврастении. Я к психиатру ходила, Вадик! Он высмеял меня, такой же толстокожий чурбан! Чего же ты хочешь от меня? — вдруг почти закричала она. — Чтоб я пошла к нему, чтоб он снова чванился передо мной, а потом

прогнал! И ты такой же! Только прикидываешься добрым! Разве это не жестоко, звонить мне, когда я, быть может, только в себя пришла?! И все снова? Разве не жестоко толкать меня на унижение! Как ты можешь! Ты такой же, как он! Эгоисты проклятые!

Она бросила трубку на стол. Вадим слышал ее рыдания, молча кусая губы.

Прошло больше минуты. В трубке зашуршало.

— Прости, Вадик! Я станоалюсь кликушей.

Она всхлипывала, шмыгала носом.

— Оля, я все понимаю, но, честное слово, я почему-то уверен, что рано или поздно у вас будет все хорошо.

Она отвечала, все еще всхлипывая.

— Поздно хорошо не бывает! Поздно — значит поздно...

Это только плохо! Боюсь, что позднее уже некуда! Я не пойду к нему, не проси! Будь он проклят!

Вадим говорил мягко, но убежденно.

— Оля, таких, как Андрей, мало. Я лично не знаю никого. Когда-нибудь ты это поймешь. И еще я знаю, что он любит тебя.

— Нет, Вадик, — устало ответила она, — он никого не любит. И меня. Я бывала ему нужна... и все. Я не пойду к нему!

Вадим помолчал.

— Хорошо, не ходи. Но обещай мне, что если он придет сам, ты будешь терпелива! Поверь, я знаю его много лет. Таким видел впервые!

— Все только о нем и о нем! А на меня тебе наплевать!

— Ну, не нужно так! — уговаривал он ее. — Я к тебе очень хорошо отношусь! А что не звонил, ну, ты только подумай сама, что мог я сказать тебе?

— Что? — с обидой закричала она. — Что сказать! Да хотя бы, что он жив, что здоров, что не попал под трамвай, не подрался с милиционером, что его не выгнали из института, что он есть на свете еще, подлый он человек! Сказать тебе нечего было! Эх ты!

И она бросила трубку.

К Константину пришли утром, на завтра после Колиного звонка. Отец с матерью уже уехали на работу. Немного позднее Константин подумал, что в этом смысле ему повезло. Он не увидит их шока.

Пришли пятеро. И еще понятия. Предъявили ордер на арест и обыск. Константин держался спокойно. Оказалось, что он внутренне готов... Покоробило, когда общаривали, когда рылись в личных вещах, в бумагах. Когда осматривали сервант, уловил недобрую ухмылку в лице сотрудника. При-



знал ее справедливой. И действительно, к чему семье из трех человек семь наборов рюмок и бокалов! И все прочие сервизы! И фарфор в бессмысленном количестве...

Битком набитый холодильник тоже вызвал хмурое движение бровей. Вполоборота к Константину один спросил его: — Чего не хватало? А?

— Птичьего молока! — ответил другой, шаривший в гардеробе.

В этот момент Константин позавидовал Коле. Тот при обыске сможет спокойно смотреть всем этим в глаза. Подумал: «Как Коля? Тоже уже?» Удивился, что его совсем не интересует, как до них добрались. Еще оказалось, что другого исхода он и не ожидал. В каком-то смысле даже будто легче стало.

Подумал об институте, как о чем-то очень далеком в прошлом. Мир словно замкнулся этой комнатой, где сновали чужие, враждебные люди, за стенами же словно пустота образовалась и отделила его от всего прочего, потускневшего, помельчавшего, ставшего чужим. Из окон доносился шум уличного движения, но воспринимался, как падающая звезда, без всякого отношения к нему, Константину, тоже не то уже не живущему, не то спящему, не то бредившему наяву... Взглянул на часы. Захотелось их остановить. Но остановить нельзя. Пружина должна раскрутиться до конца. Подумал — разбить? Бравата! Вспомнил, что у Коли часов не было. Он надоедал, спрашивая время. А в столе лежали еще одни часы — подарок отцовского друга-сослуживца. Стыдно стало. Да! Ему было бы совсем спокойно, если бы не это ощущение стыда, что возникало с каждым воспоминанием. Подло жил? Может быть, не подло — легкомысленно! Как канарейка!

— Отвечать надо, когда спрашивают! — раздался над ухом грубый голос.

— Слушаю вас, — спокойно ответил он.

— Документы где? Паспорт?

Константин пытался сосредоточиться, вспомнить, где может быть паспорт.

— Под вазой, наверное...

Он, забывшись, поднялся, чтобы достать...

— Сидеть!

Он сел. Улыбнулся:

— Зачем же вы спрашиваете? Если обыск, так ищите!

Старший подошел к нему, сказал тихо:

— Вам бы воздержаться от остроумия. С уголовным кодексом знакомы?

«При чем здесь «уголовный»? — подумал Константин. — Другого-то, наверное, и нет».

— Вы можете сейчас дать показания. Сами написать. Очень советую. В ваших интересах.

«Господи, как пошло!» — подумал он. Усмехнулся.

— Не надо.

— Ваше дело. Подумайте о родителях! Известные люди! И в это время зазвонил телефон!

Константин даже головы не повернул. Зато все пятеро устали на него. Тот, старший, подскочил к нему, наклонился, схватил за плечи, зашипел:

— Парень, это твой единственный шанс! Другого не будет! За убийство — вышка! Шанс, говорю! Бери трубку, если это твой соучастник, зови сюда, говори — срочно чтоб приехал! Понял! Единственный шанс! Если жить хочешь! Ну!

Он рывком вырвал Константина из кресла, почти потащил к телефону. Константин не сопротивлялся. Он как-то не мог понять, что от него хотят, что ему надо делать. Не мог сосредоточиться... Поднимая трубку, надеялся, что это не Андрей. Но это был Андрей.

— Привет, Костя!

— Здравствуй! — ответил он.

Нос к носу с ним сотрудник. Глаза горят, ноздри раздуты, губы облизывает. Шипит:

— Ну! Ну! Он? Да? Зови, чтоб прискал! Сюда!

Больно сжимает плечо.

— Зови говорю, сукин сын!

«Ишь ястреб! Добычу почуял!» — подумал, глядя на него, Константин и услышал:

— У тебя все в порядке, Костя?

— В порядке, — ответил он машинально и почувствовал, что краснеет.

— Коля должен был приехать и не приехал. Не знаешь, в чем дело?

— Нет.

Он вдруг стал задыхаться. Стало жарко до невыносимости. На лбу выступил пот, рубашка на спине стала мокрой.

— Ты спал, что ли?

Еще одно «нет» сказал Константин. Все пятеро сотрудников висели над ним.

— Ну, ладно, — продолжал Андрей, — я тебе вечером еще позвоню. Дома будешь?

— Буду.

И вдруг, спохватившись, неестественно громко:

— Подожди... слушай... Я арестован! У меня обыск!

Трубка вылетела из его рук. На запястьях щелкнули наручники. Его протащили через всю комнату и швырнули в кресло. Он больно ударился боком о подлокотник.

— Щенок! Ты подписал себе приговор! — как-то без особой злобы, но не без досады сказал старший. Константин посмотрел на него и тоже не почувствовал злобы, потому что какая-то небывалая радость вошла в душу и словно вымела из нее все, что тошнотой стояло там, и голова закружилась, и все как-то поплыло, не уходя, не исчезая, но будто опрокидываясь навзничь и в то же время оставаясь неподвижным, беззвучным и бестелесным... Потеха! Он упал в обморок!

4. Личный вариант

Рыжие вихры Паала Андрей заметил сразу, как только с лестницы свернул в коридор. Он прошел мимо него, чуть кивнул, и Павел понесся за ним, не скрывая радости, но все же соблюдая конспиративную дистанцию. Они зашли в пустую аудиторию. Павел долго и возбужденно тряс руку Андрея.

— Просьба к тебе, — коротко сказал Андрей.

Павел будто не слышал.

— Это здорово, что ты зашел! Здорово! Я думал, ты вообще... Я все эти дни думал... Я придумал другой вариант! Мы такое дело сделаем! Не нужно будет убивать! Они сами стреляться начнут! Слушай, я тебе сейчас все расскажу...

Андрей нахмурился.

— Подожди. Мы обсудим твой вариант... Завтра.

— Это недолго! — горячился Павел. Он раскраснелся, кудри его, почти красные, разметались по лбу, он суетился, дергал Андрея за рукав.

— Паша, — еле сдерживаясь, процедил Андрей, — мне сегодня некогда. Завтра мы встретимся и обсудим. Завтра!

Павел сразу сник, погрузился.

— Я все продумал... — продолжал он еще по инерции.

— Просьба у меня к тебе! — повторил Андрей.

— Конечно! Конечно! — заторопился он. — Ты же знаешь, я всегда... Хорошо, что ты пришел...

— Мне нужна машинка. Отпечатать одно заявление. Сейчас надо!

— Сейчас у нас сопромат... — начал Павел, но встретился со взглядом Андрея. — А, плевать! Поехали! Двадцать минут — и у меня! Чаю попьем!

— Поехали, — сказал Андрей и добавил: — По пути никаких разговоров!

В метро Андрей поймал себя на том, что все время оглядывается. Стало противно. Взял себя в руки, но напряженность не уходила. Теперь она стала частью его жизни. Теперь она до конца! До конца! Конеч! Скоро конец! Слово произносилось, а смысл его ускользал, кожей улавливался и морозил, а от сознания рикошетом... Зато мысль работала четко, ясность была удивительной! Она все рассчитала на сто ходов вперед! Он никогда еще не был так уверен, что все произойдет точно по его плану! Даже конец! Хотя он еще не знает, что это такое!

Когда пришли, Павел засуетился было на кухне, но Андрей сказал категорично:

— Паша, ты сейчас вернешься в институт, еще успеешь на второй час. Я захлопну дверь. Завтра увидимся.

У Павла опустились руки. Был он жалок. Но Андрей не испытывал угрызений совести, когда врал ему о завтрашней встрече. Он знал, что никогда уже не увидит больше Пашку. Что ж! Он многих больше не увидит! Они его тоже не увидят! Значит, он с ними со всеми на равных. Если он будет тратить время и чувства на сантименты, то не выполнит план, его просто не хватит на главное. Павел должен уйти и не мешать ему.

Андрей протянул руку. Сказал, как мог мягче:

— До завтра, Паша! Не дуйся! До завтра!

— Ага! — грустно ответил Павел. Был он отчего-то бледен, все веснушки выступили на лице и отмолодили его до мальчишества. В глаза Андрею не смотрел. Он впервые не верил Андрею. Если бы Андрей был чуть мягче, если бы не торопился, как всегда, он многое сказал бы ему, объяснил, просто излил душу! Но он, Павел, не нужен Андрею! Ему нужна лишь услуга! Ну что ж! Пусть так. Он не будет навязчив! И все же! Как можно так легко рвать связи нескольких лет искренней дружбы!

Но руку Андрею пожал горячо.

— Извини, — сказал он, — если что...

Так говорят, когда прощаются навсегда. Андрей понял это. Искренне ответил на пожатие.

На машинке работал минут двадцать. Конечный вариант выглядел так:

Приговор

Совестью своей приговариваю Колганова Михаила Борисовича, в отставке подполковника Комитета Государственной Безопасности за преступления против человечности, совершенные им в период с 1932 по 1953 г., за пытки и истязания людей, за насилие и издевательства, за попрание человеческого достоинства, за злоупотребление властью к смертной казни.

Приговор привожу в исполнение собственноручно.

Чуть помедлив, Андрей ниже отстукал свое имя и фамилию. Поставил число и время, то время, в которое назначено было умереть Михаилу Борнсовичу Колганову, персональному пенсионеру, когда-то верному ученику обрусевшего поляка по имени Феликс Дзержинский, человека, деятельностью своей затмившего славу всех прочих героев на подобном поприще.

У него было в запасе двадцать минут. Он шел по Невскому. Внутренний карман оттягивая тяжелый пистолет ТТ. Он ощущал его не просто как тяжесть, он лежал у него на самом сердце, и Андрей сердцем чувствовал его.

Однажды, десять лет назад, он уже испытал нечто подобное. Но тогда в его кармане лежал комсомольский билет.

Матерью, сельской учительницей, был он воспитан идеалистом, с верой во все, во что полагалось верить. Вера была красива, у нее были прекрасные слова, дела ее со страниц школьных учебников и популярных книжек казались подвигами героев древних мифов. Радостно до одури было сознавать, что живешь во время, когда свершился и продолжает свершаться смысл всей истории! Даже будущее казалось менее интересным, потому что оно походило на конец истории: оно выглядело величественно, но немного скучновато, и он, Андрей, великодушно уступал другим поколениям жить в этом фантастическом будущем. Себе же он оставлял

настоящее, где еще столько перспектив героического, а на меньшее он не готовил себя! На меньшее не готовила его мать, бывшая рабфаковка, однажды приласканная Калинин, однажды видевшая Сталина — «вот как тебя вижу». — однажды выступившая по Всесоюзному радио о займе государству.

Однажды пережив причастность к «великому делу», всю свою дальнейшую жизнь она прожила под гипнозом этого причастия. Она оставила мужа, когда не обнаружила в нем должной порции одержимости. Разрыв с мещанином мужем и мещанкой женой тогда были воспеваемыми подвигами. Она пошла дальше, она почти прекратила отношения со своими родителями, крестьянами уральской деревни, не оценившими великой мудрости вождя в крестьянском вопросе.

Сама лишь едва причастившаяся, сына своего она готовила к великой причастности. Его вступление в комсомол было обставлено с торжественностью самого знаменательного семейного праздника, на который были приглашены предвительно проинструктированные о поведении дед с бабкой, однако не оправдавшие надежд своей дочери, не проявившие должного энтузиазма по поводу их приглашения. С тех пор она больше не отправляла сына на лето к старикам.

Внук же едва ли был способен уловить такие тонкости, поскольку полностью был поглощен созерцанием своей первой причастности...

Отсутствие такого же энтузиазма в среде своих сверстников воспринимал болезненно. Он мечтал попасть в Москву или Ленинград, где, как он был уверен, живут одни сознательные, где революционный пафос не угас, потому что там живут вожди, их можно видеть воочию и слышать, там каждый дом и каждый камень — свидетель начала и продолжения!..

Уже в те годы уверенность в себе была его главным качеством. И шагая мощеной улицей рабочего поселка, он тогда твердо знал, что будет в Москве или Ленинграде, что именно там начнется его настоящая жизнь, путевкой в которую была маленькая книжечка, что лежала у него на сердце как часть его...

Теперь он шел главной улицей легендарного Петрограда с пистолетом у сердца, уже убивший человека, готовый убить еще одного и на этом поставить точку своей жизни, несурзачной, необычной, но все же последовательной!

Прав он или нет — не ему судить! Но, что есть ему оправдание, такое чувство было, и оно в веселую, лихую злость превращало каждую мысль, грозившую сомнением.

Радостно было за Костю, оставшегося верным до конца, и за остальных тоже была радость, потому что ни в одном из них не ошибся. Была и гордость! Его друзья — это дело его рук и его воли. Он представлял себе лицо каждого в те минуты, когда виделся с ним в последний раз, и воспоминания вызвали нежность и любовь, и это было единственным, что осознавалось утратой, когда думал о конце. Но о конце старался не думать. Не думал и о милиционере. За эту ошибку он расплатится жизнью, самым ценным, что у него есть, и если и не исправит тем самым, то зачеркнет...

Иногда он машинально, а может быть, специально касался рукой пиджака в том месте, где чуть-чуть выпирала рукоятка пистолета, и тогда реально ощущал готовность ее ребристых граней довериться ладони...

А встречные и обгонявшие его ничего не знали! А если бы узнали, как бы шарахнулись в стороны, какой бы мертвый круг пустоты образовался вокруг него. Чтобы люди узнали тебе цену, нужно оказаться в мертвом круге. Маленькая дешевая истина! Но вот он идет по многолюдной улице, идет словно под шапкой-невидимкой... Нет, он не страдает от безызвестности, просто невидимость холодит, разделяет до отчуждения, до враждебности. Она подкапывает основу основ — целесообразность! Это она заставляет дрожать голос, когда ему уготовано быть набатом, это она сводит мускулы пальца, когда он ложится на спусковой крючок, это она, единственно она, может у смелого человека вывернуть грудь наизнанку, и человек вместо груди показывает спину!

Было что-то обидное и грустное в той чуждости, с которой проходили мимо него люди и обгоняли его. Подумалось, что случись вот такой улицей идти целый день, то к вечеру, возможно, и усомнился бы в своем варианте! Но восторжествовала бы не истина, а слабость. От слабости не застрахован никто!

Вот у него еще есть один пункт, излучающий слабость. Это Ольга! Но табу! Слава Богу, он вполне овладел способностью контролировать мысль! Его мысль была покорной, тренированной и способной собакой. Этому научили его

йоги. Ненужную мысль он мог наотмашь отхлестать по морде, и она, сгуляв и свертываясь клубком, уползала в темноту конуры. Нужная работала, как борзая по следу, и он часто не без самодовольства наблюдал почти как бы со стороны ее работу.

Вот и сейчас, в оставшиеся свободные минуты, он может позволить себе немного сентиментальности, но без злоупотребления. Потому Ольги на свете нет, хотя пусть она где-то живет, но на свете есть мать, хотя она не жива.

Сейчас ему очень полезно вспомнить тот день, когда он примчался домой по телеграмме и застал мать, разбитую параличом, недвижную, немую.

— Ну что, слышала про Сталина? — спросил ее за день до того на улице подвыпивший парень-шофер, бывший ее ученик.

Андрей знал мать. Ее мог разбить паралич от одного обращения на «ты».

— Выходит, всю жизнь ты брехала, учителька! И гроши за то справно получала! Ткнул вас Никита мордой об стол! Степаныча-библиотекаря ты на Север уекла? А он человек был, не то что ты — граммофон!

Мать умерла через неделю. На ее могиле при всем народе катался по земле и рвал на себе рубашку парнишка-шофер, ее бывший ученик.

Андрей не поднял на него руки. Но и взгляда не дал ему в облегчение.

Под именем Андрея в Ленинград вернулся другой человек, настолько другой, насколько вообще возможно человек измениться разом!

Тогда выстелилась перед ним та дорога, что сейчас проходила по Невскому, вела к метро, затем к Финляндскому вокзалу, оттуда до станции Лемболово, где жил на своей даче персональный пенсионер, подполковник КГБ в отставке.

В шесть часов с пунктуальностью маньяка выйдет он в сад с лейкой пожарного цвета в руках и начнет поливать искусные клумбы вокруг дома, осматривая каждую и каждый цветок на ней, чмокая губами, приговаривая что-то, покачивая головой, морщась и сутулясь... Сегодня он полست только три клумбы. На четвертую, что ближе к забору, он упадет, чтобы самому уже больше не подняться. Последними впечатлениями его на этом свете будут боль и аромат пионов. Второго он не заслужил! Непозволительная роскошь — такому человеку умирать под аромат пионов! Но даже самый отъявленный негодяй имеет право на последнее желание! Таков обычай предков, и не стоит его нарушать! Пусть же пионы зачтутся ему как последнее желание!

Вот так это случится. И никто уже никогда не узнает, о чем думал этот человек за минуту до смерти, что думал он о своей жизни, думал ли он вообще в жизни? И если верно, что перед смертью человеку видится вся его жизнь, то не умер ли он скорей положенного от этого видения? Узнать такое было бы очень важно! Может быть, даже важнее, чем его смерть! Но это невозможно! И потому он рухнет лицом вниз на клумбу с красными пионами, и таким же красным пионом расцветет смерть на его белой рубашке.

На выстрел выскочит из дома рыхлая пожилая женщина и, увидев мужа, завопит страшным голосом: «Уби...и...ли!», но вместо того чтобы кинуться к мужу, попытаться поднять его, растормошить в отчаянии, она закричит: «Спасите!» и еще быстрее влетит в дом, громыхая затворками и защелками...

Последнее — было единственным отклонением от того, как все представлялось Андрею. И это хорошо! Когда планы осуществляются до мельчайших подробностей, оно, конечно, балзам самолюбия, но скучновато.

Было случайное желание пальнуть ей вслед, как бы спросить выстрелом: «Чего же ты испугалась, старая карга? Как же ты тогда жизнь свою прожила, если за себя боишься, кукла распатланная!»

Суматоха, наверное, началась скоро. Но Андрей уже этого не услышал. Через семь минут он был на платформе, через пять минут сел в вагон электрички и через сорок минут уже стоял около каменного броневика, с которого тридцать с лишним лет каменный человек произносил все одну и ту же речь и никак не мог окончить ее, и рука его окаменела в жесте и каменные слова камнями застряли в горле...

Андрею было бы что спросить у этого человека! Но план есть план. У него не было времени на лирические отступления. Его ждал «большой» дом на улице Каляева, чудовищ-

ная крепость из бетона, куда он должен войти сам собственной волей и не выйти из нее уже никогда.

В том месте полвека назад человек его возраста и, может быть, даже внешне похожий на него (могло же такое быть!) сделал то же самое, что и он, — убил человека. Убил и умер сам! Его именем назвали улицу те, кто унаследовал его дела. А он, Андрей, сегодня убил одного из этих наследников. За это они убьют его. Но никакая улица не получит его имя! У него нет наследников. Круг замыкается! И размыкается одновременно! Тупая, бессмысленная последовательность! Он сам подключился к ней и тем самым оставил последнее слово им, его врагам!..

...А с какой стати?

Эта мысль ошарашила его у самых дверей большого дома. С какой стати он преподносит им себя в подарок! Кого он хочет удивить жестом? Но стоп! Там его друзья! Там Константин, Коля, может, и Павел с Вадимом! Он должен быть с ними!

Но поздно! Он запнулся о сомнение, он уже балансировал, он не мог сохранить равновесие. Не было теперь силы, которая заставила бы его перешагнуть порог. Другая сила, незнакомая и гнетущая, несла его прочь, не позволяя ни остановиться, ни оглянуться, ни одуматься! Та самая лихорадочность, что целый день гоняла его по инстанциям тщательно продуманного плана, рвала в клочья его остатки. Андрей вдруг осознал себя мятущимся и мечущимся, рассеянным и растерянным. Он не знал себя таким, он боялся себя такого! Он вскакивал в трамвай и выскакивал из них, он сновал по переходам и эскалаторам метро, два раза машинально купил мороженое и выкидывал, потому что отродясь не ел его...

Но это была еще не вся мера расплаты за сомнение. Подкрадывался страх. Сначала была фраза: «Пусть они попробуют взять меня!» Тут же выплинулась другая: «Легко не дамся!» И тогда змеей выполз страх! Страх попасться глупо, даться легко! И тогда город превратился в его врага. Каждый прохожий потенциально был враг. А что он сможет сделать здесь, в трамвае или в метро, в этой толкучке у витрин и переходов? В городе он, как в клетке, в которой пока еще не захлопнулась дверка!

Прочь из города! Как можно скорей, как можно дальше! Чтобы быть готовым в любую минуту! На Урал, к деду! Там они не смогут появиться незаметно! Там он им всплывет на полную! Немедленно на Московский вокзал! Тотчас же! Пока не перекрыли пути! Пока не начали розыска! А может быть, уже и начали? Долго ли продержаться ребята! Не выстоять им на допросах! Где им против этих знатоков своего дела!

Он бросился к метро, но опомнился. Нет денег. Была минута полной растерянности. Но потом сработала память. Сработала она со скрипом, с экивоком к совести, как-то нечисто сработала! И номер телефона набирал трижды. Сбивался. Путал цифры. Господи! Что это с ним такое?

Полчаса до прихода Андрея Ольга терзала пианно. Старенький инструмент надсадно и как-то испуганно грохотал на несколько этажей вверх и вниз...

Злость на себя переполняла ее, злость туманила сознание, злость кипела на кончиках пальцев и заражала клавиши, и они тоже бесновались в рычании аккордов, и гармония знакомых звуков искажалась гримасой злости.

Она ненавидела себя! Презирала себя, захлебывалась от отвращения к себе! Боже! Сколько она ждала этого звонка! Как тщательно она приготовилась к нему! Тысячу раз были отрепетированы ответные фразы, ювелирно отточена тональность голоса, даже выражение лица, которое бы он не увидел, и оно было продумано и готово к его звонку! Звонков было много, и каждый раз она подходила к аппарату во всеоружии. И этот долгожданный звонок не был неожиданным. Но только задрожала рука, стало шумно в голове и плохо слышно, она вынуждена была переспросить и... сбилась!

Она готовилась уничтожить его, испепелить презрением, она мечтала бросить трубку, чтобы его оглушили короткие сигналы отключенного телефона...

Он спросил: «Ты будешь дома?» Она не поняла от волнения. Переспросила. Он повторил и сказал: «Я через полчаса буду». И она неожиданно промямлила: «Ладно».

Самоуверенный наглец. Прошел почти год! Она могла выйти замуж и родить ребенка! Он же сообщает ей, что придет, как будто только вчера вышел из ее квартиры! Он уверен — подумать только! — уверен, что она ждет его и будет ждать сколько угодно. И он может позвонить ей,

когда ему вздумается: через год, через два, через десять... Паршивец! Он и через десять лет позвонит ей как ни в чем не бывало и сообщит, что через полчаса придет!

Уйти! Пусть у него отсохнут пальцы на звонке! Почти рванулась со стула. Мысленно рванулась, накинула плащ, погасила свет, хлопнула дверью, нырнула в лифт, из лифта в темноту улицы...

Но представить его, униженного, обескураженного у беззвучной двери пустой квартиры, фантазии не хватило. Еще в спину можно было представить: вот он стоит, высокий и строгий, и нажимает кнопку звонка... и все! Его же лицо... Оно все так же насуплено, строго и... властно!

Смешно! Женщины упорно добиваются равноправия! Они уверены, что оно нужно им как воздух! Но вот мужчина, хорошо, если мужчина, а то мальчишка, хмурит брови — и в сердце тысячелетняя мука!

Она не справилась с ним по телефону. От встречи она уже не ожидала ничего хорошего, о встрече она уже не думала. Она только корчилась от презрения к себе, и была обида на весь мир, на жизнь свою обида, на себя обида и за себя обида!

Когда раздался звонок, необычно резкий и оглушительный, она упала головой на клавиши, и пианино ахнуло надрывно и сочувственно дребезжало еще столько, сколько буравил дверь звонок. Когда же звонок смолк, она кинулась к двери и открыла ее не колеблясь.

Он вошел... такой же и не такой... Тот же был на нем пиджак, те же брюки. Даже рубашка была ей знакома. Все на нем чисто, глажено. Будто видом своим доказывал, что не нуждается в женщине. И все же он изменился. Сначала, в первый момент она не поняла, в чем перемена. Потому что не могла взглянуть в глаза. Когда взглянула — сжалось сердце.

Глаза его всегда бывали строги, холодны и проницательны. Этот букет принято считать признаком сильного человека. Она знала, Вадим и какие-то другие мальчишки бегали за ним, как собачонки. Она знала, в него влюблялись и влюбляются наивные деревенские девчонки и пресытившиеся богемой, жаждущие остренького, блекнущие городские девицы.

Она же никогда бы не влюбилась в него, если бы только это видела в его глазах. Но она умела и любила ловить в его демонстративно холодных глазах выражение какой-то необычной тоски. Как иногда в новой и путаной мелодии, бывает, вдруг один аккорд, а то и один звук, подголосок внезапно приоткрывает тайну мелодии, и, отталкиваясь от этого намека, постепенно начинаешь чувствовать созвучность всей мелодии какому-то такому же непонятному своему состоянию. И тогда эта музыка становится необходимой, хочется слушать и вслушиваться в нее, потому что она рассказывает о тебе что-то, чего ты сам о себе не знаешь, а лишь догадываешься. В человеческих отношениях это называется родством душ. Родство — не похожесть. Похожесть раздражает и отталкивает. Это смежность душ, соприкосновение, может быть, даже не в самом главном, но в чем-то глубоко интимном. И тогда бывает чудо: разные, как небо и земля, двое соединяются навсегда!

У них этого не произошло. Потому что только один из них смотрел в глаза другому: она. И что еще обиднее, он и на себя смотрел так же поверхностно и равнодушно, как на других, он и в себе видел только то, что было очевидно с ходу. Разве знал он, например, что когда по-обычному хмурится, когда уверен, что в данную минуту гнев есть суть его состояния, разве он знал, что глаза его в этот момент, не всегда, но часто бывают печальными изнутри и не подчиняются мимике, словам и жестам и будто наблюдают за всем этим, как за чем-то внешним, для них необязательным, им чуждым...

А еще в его глазах часто бывала жажда. И тогда она боялась за него. Или его боялась. Страх этот был непредметным, он не имел слов, его нельзя было объяснить. Но именно в такие минуты она ему прощала все и раскисала в прощении позже, когда забывала его взгляд, потому что его нельзя было запомнить, потому что это был лишь нечаянный намек на что-то такое в этом человеке, что ей недоступно и несмешно и, значит, навсегда непонятно...

Он поздоровался тихо и сухо. Прошел в комнату, сел в кресло.

— Кофе? — спросила Ольга, чтобы собраться с мыслями и осознать впечатление, которое он произвел на нее.

— Можно,— равнодушно ответил Андрей.

Она ушла на кухню и, суетясь у газовой плиты, наблюдала за ним, не боясь встретиться с его взглядом, потому что он сидел в своей любимой позе, раскинувшись в кресле, уставясь в абажур настольной лампы. Он говорил ей когда-то, что синий цвет действует на него магически, приятно парализующе, что он успокаивает его.

И хотя глаз его видно не было, она уверилась, что первое впечатление не обмануло ее. Он изменился. Что-то изменилось в нем. Ничто не свидетельствовало о том, что ему плохо. Да она и не знала, что значит «плохо» для Андрея. Неприятности в институте? Дела институтские никогда его всерьез не затрагивали. Он ни с кем никогда не ссорился. Он просто рвал с людьми, вычеркивал их из сознания. И если переживал при этом, то не очень.

Плохо ему было однажды, когда умерла мать. Это было давно. Иногда ей казалось, что это «плохо» стало его постоянным состоянием. Но он никогда, ни до, ни после смерти матери, не говорил о ней что-либо, кроме общих фраз. Не чувствовалось даже особой привязанности к ней. Но с тех пор он изменился. Ей казалось, что к худшему. Мелкие неприятности, наверное, бывали у него. Бывали, наверное, и радости. Но в поведении своем он всегда оставался постоянным, однозначным...

Сегодня внешне все как обычно. Но она почувствовала сразу: что-то произошло. Ей даже показалось, что сегодня он расскажет о себе все, что скрывал, о чем умалчивал. Ей показалось, что сегодня случится в их отношениях тот поворот к пониманию, которого она ждала годы и не дождалась. Незаметно для себя она снова соблазнялась надеждой, и как не бывало ненависти, обиды, злости... «Баба!» — вздохнула она про себя.

Налила кофе и села против него. Он сделал глоток, нахмурился, как всегда, если находил кофе слишком горячим. Она даже чуть не улыбнулась, так знакомо было ей это произвольное движение бровей.

Он поставил чашку. Откинулся в кресле и впервые взглянул на нее. Лучше бы уж не глядел! Ничего хорошего этот взгляд не обещал. В нем была тревога — но, увы, не о ней! В сущности, он отсутствовал. Искорка надежды погасла и превратилась в льдинку, в крохотный кристаллик, который вызывал озноб.

— По отношению к тебе я, пожалуй, был негодяй,— сказал он, глядя ей прямо в лицо. Сказал, как говорят между прочим о погоде и прочих пустяках.

— Пожалуй,— ответила она тон в тон ему, готовясь к чему-то худшему, к чему-то совсем плохому. А уж, казалось, давно была готова ко всему.

— Ты вправде меня ненавидишь.

Он разрешал ей ненавидеть себя, и она ответила:

— Спасибо!

Он не обратил внимания на издевку.

— И все же мне не к кому обратиться, кроме тебя.

Он играл на ее душе. Одна фраза, и она снова полна любви и готовности. Хотя бы вот так быть нужной!

— Я должен уехать. Сегодня. Но у меня нет денег.

— Сколько? — спросила она слишком торопливо, но ей уже было наплевать, лишь бы не потребовалось больше, чем у нее есть!

Он нахмурился и молчал.

— Сколько нужно денег? — спросила она осторожно и так сочувственно, что это проняло его, и он даже рукой по лбу провел, будто убедить себя хотел, что морщины строгости действительно распались...

— Немного. Но... Не в этом дело...

Он встал и заходил по комнате. Он нервничал. Он сильно нервничал! Таким она его не помнила. Что же произошло?!

— Я не смогу вернуть тебе деньги. Никогда не смогу...

Она не поняла. Мелькнула мысль: «Бежит за границу!» Нет, это на него непохоже!

— Ты уезжаешь навсегда? — спросила она, не скрывая отчаяния.

— Да! — ответил он почему-то грубо.

Она не поняла этого тона. Она поняла только, что это действительно конец, и она, давно приговорившая свою глупую любовь к неудаче, оказывается, к самому концу все же не была готова.

— Сколько нужно? — спросила она еще раз.

Он назвал сумму. Эти деньги у нее были. Она взяла сумочку с окна, достала деньги, пересчитала и отдала ему.

— Спасибо! — буркнул он, и она поняла, что он сейчас уйдет.

— Подожди! — сказала она, хотя Андрей пока ничем не проявил намерения уйти. Она кусала губы. Она не могла его отпустить. Как бы ему плохо ни было — ей было хуже. Эта несправедливость вызывала желание уравнивать боль... Но говорила не то...

— Вадим сказал, что ты любишь меня...

Андрей встрепенулся, ей даже померещился испуг в его глазах.

— Вадим? Ты видела его? Когда?

— Он звонил вчера. Сказал, что ты взял мой телефон...

Я ждала...

Ничего этого не нужно было говорить. Она подошла, встала рядом. Он не поднял головы. Он думал о чем-то... не о ней.

— Андрей,— сказала она мягко и тихо,— понимаешь ли ты по-настоящему, что ты плохой человек?

Он помолчал, ответил так же, не поднимая головы:

— Я допускаю это.

— Ты не любил и не любишь меня? Так ведь?

Он поднялся, чужой и недоступный.

— Оля, теперь все это не имеет никакого значения!

— Для тебя! — Она захлебывалась от обиды. — А для меня, как думаешь?

Как он взглянул на нее! Еще секунда, и она бросилась бы ему на шею! Но он сказал:

— Мне нужно идти. Я хотел бы расстаться с тобой хорошо.

Она отшатнулась. Ей казалось, что она падает.

— Может быть, ты все-таки объяснишь что-нибудь! Неужели я этого не заслужила!

Она не узнавала своего голоса. Это был не голос, а скулеж...

— У тебя неприятности? Да? Ну, давай уедем! Я продам квартиру! Уедем далеко! Но только вместе! Куда хочешь!

Он как-то странно и нехорошо усмехнулся.

— Что ж, это тоже вариант! Только теперь он уже невозможен, если раньше был неприемлем.

— Я ведь аборт сделала, Андрюша!

Лишь полное отчаяние могло выдавить из нее эту фразу.

— Аборт? — переспросил он удивленно и вдруг резко схватил ее за плечи, тряхнул. — Аборт! Ты убила моего ребенка! Ты! Ты! Дрянь!

И он буквально бросил ее на пол. И казалось, сейчас растопчет, но только повторял:

— Убила ребенка! У меня мог остаться сын... или дочь... Убила!

Он смотрел на нее, как на отвратительное чудовище, и она, полулежа на полу, боялась пошевелиться и даже не чувствовала боли от ушиба.

На его лице было горе — такое огромное горе, что она, будто очнувшись, подползла к его ногам, обхватила их, захлебываясь от слез, залепетала:

— Андрюшенька, милый, я ведь не знала... ты же ушел... ты бросил... ты ни слова... Андрюшенька...

Он поднял ее и продолжал держать за плечи, но взгляд его стал еще страшнее: теперь это был взгляд покойника или смертельно раненного, это был взгляд неживого человека.

— Андрюша, у нас еще будут...

— Нет! — перебил он ее. Взглянул на часы. — У меня пятнадцать минут. Я не умею за пятнадцать минут делать детей!

— Что ты говоришь! — закричала она, вырываясь.

— Как ты могла?! — сказал он глухо.

— Я! Я могла? А ты что, младенец? Ты не знал, что могут быть дети? Ты когда-нибудь подумал об этом? Ты обо мне подумал когда-нибудь? Ты еще обвиняешь меня? Ты смеешь?!

Она упала в кресло и затряслась в рыданиях. Какие-то слова прорывались, но она сама их не слышала. Она вцепилась себе в волосы, сдавливая виски, она почти билась головой о подлокотник кресла, она задыхалась.

— Уйди! — вырвалось наконец у нее. — Уйди! Пусть тебе будет так же плохо! Пусть!

Слезы ослепили ее, и она не видела, когда он встал у кресла на колени. Он целовал ее руки, ее мокрые руки и говорил:

— Я люблю тебя! Я вернусь! И все будет снова! Все будет не так! Прости меня!

Позже, через несколько лет, ей, наверное, покажется, что не стоял он на коленях, не целовал ее рук, не говорил этих слов, что ничего этого не было, что он ушел, не попрощав-

шась, и она сама в истерике вообразила всю эту сцену, потому что, если бы ее не было, как бы смогла она жить...

5. Один

В окне проносились, проплывала, пролетала и растворялась в далах Россия.

Казалось, к этой серой и молчаливой земле неприменимо название столь звучащее, как боевой клич, как зов походной трубы. Слово это воспринималось, как что-то в прошлом, совсем немного в настоящем и никак в будущем.

Или казалась, что существуют две России: одна в сознании — красивая и неясная, как мечта, другая, как прототип мечты со всеми атрибутами прототипа. Проплывали селения, в селениях жили люди, думалось же о них, как об иностранцах... Даже не верилось, что говорят они на том же языке... Еще страшнее было представить иностранцем себя, страшнее, потому что очень правдоподобно...

Какой жалкой мышьиной возней представлялась ему отсюда вся его деятельность в Питере, и все эти муки душевные и поиски, и споры, и принципы, ради которых ломались и создавались человеческие отношения, ради которых перекаивались судьбы, ради которых даже убивали людей...

Железная дорога, бегущая к Уралу и дальше Урала, в Сибирь и дальше Сибири, куда дальше, кажется, уже и невозможно, дорога эта представлялась бездонным колодезем, уходящим в глубину России не только пространственно, но и во времени. Казалось, не километры от центра отсчитывает поезд, а года прочь от настоящего времени к какому-то временному постоянству, которое и раньше, и теперь, и всегда, но по отношению к ним, людям столиц, всегда за их спиной, всегда им чужое.

В темноте вообще было реальное ощущение, будто в колодезном ведре летит он вдоль колодезного сруба с бешеной скоростью вниз, и стук колес был вовсе не стук колес, это громыхал вал над колодезем, с которого раскручивалась бесконечная веревка, еще вчера державшая его наверху, под самым козырьком солнца, где он видал себя сильным, нужным и правым, в полном убеждении, что нет ему надобности вглядываться в темноту сруба, потому что он в самом венце смысла всего, что под ним...

Нет! Все не так! Он догадывался и ранее об отсутствии смысловой связи между его жизнью и судьбой того существа, что именовалось Россией. Объяснением этому мог быть только факт бессмысленности бытия одного из двух. У него никогда не хватило бы смелости отказать в смысле тому, что было в мире до него и будет после. Но тогда следовало бы признать в том, что он просто наломал дров в горячке и спешке, и потерял при этом право распоряжаться не только своей жизнью, но и смертью. ...Потому остается одно: он не понял России. Поспешил, спалил себе крылья и превратился в земноводное, которому остается одно — кусаться и умереть под щелканье собственных челюстей...

А она все мелькала и мелькала в окне, Россия — многообразная и однообразная до отчаяния. Россия, в которую рекомендовалось «только верить» и не тратить времени на познание умом. Но умом не понять только безумного! Должен же быть какой-то постигаемый смысл в бессмыслице полувека! Каким вдохновением уловить его! Ведь жизнь у каждого одна, она коротка и дорога каждому! Вот он, Андрей, разменял ее на безумство, которому песню — увы! — никто не споет! А если вдуматься, то безумство храбрых — это всего лишь храбрость безумцев! И если быть беспощадным в правде, то как не признать, что, поднявшись с пистолетом против стоголавого дракона, он в бунте своем храбр от отчаяния, от бессилия, от страха перед неспособностью к чему-то большему, чем безумство!

И все же! Маленький, крохотный кусочек подлости, что цементом легла на стыках общества, он отколол и создал пусть ничтожное, но все же беспокойство этому мурлыкающему от самодовольства дракону! Хотя бы на одном квадратном сантиметре бесконечного болота он создал волнение цены самого дорогого — жизни! Разве величина ставки не оправдывала бессмысленность!

И потому хотелось еще стрелять и стрелять, и чтобы не смолкал грохот выстрелов, чтобы видеть смятение и страх на лицах, застывших в маске бездумия, заплаканных, опухших равнодушием, чтобы взломался ритм слепоты, чтобы автобусы втыкались в тротуары, с треском разлетались витрины, чтобы переворачивались вверх колесами черные лакирован-

ные и бронированные персоналки, и оттуда вылезали на четвереньках те, кто еще минуту назад держал на четвереньках человеческие души. Чтобы проспекты превратились в грохочущие тупики, а на одном из этих тупиков — он, Андрей, с пистолетом в руке, а по левую сторону и по правую сторону от него — соратники, радостные и одержимые, и знамя над ними... красное...

Андрей недоумевает, почему оно красное, но другим представить его не может... и он громко стонет во сне, так громко, что сосед по верхней полке, солдат-отпускник, осторожно трясет его за плечо...

Его дед, семидесятилетний старик, никак не мог взять в толк, за какое добро послал ему бог внука, которого он уже не чаял увидеть. Он суетился по избе, кричал, охал, ахал и млел, глядя на светловолосого красавца, очень даже похожего на другого, что висел на стенке под стеклом с Георгием на груди. Таким он был сам полвека назад, и сохли девки по нем, как осинки подрубленные! И барышни в кружевах, образованные и беленькие, глупели, когда он подмигивал им, и пухлые вдовушки грустнели, глядя на него! И сам Брусилов, обходя строй, остановился напротив и по плечу хлопнул! Может, правда, и не Брусилов, но что генерал — точно!

Когда сели вдвоем (Андрей просил никого не приглашать) и чокнулись стаканами, не связывался разговор, и потому тут же налили по второй. Помянули покойников, мать и бабу, которая так и не увидела внука взрослым. Старик блестя глазами. Да и Андрей тоже. После третьей — другое дело! Дед разговорился, вспомнил гражданскую, взятие Бугуруслана, ранения свои, госпитали... Потом, как землю дали, как робко делили ее, чужую... Первый урожай на этой земле! Как в город ездили на своих лошадях за обновками, в каких нарядах девки загуляли в деревнях... Как стало потом тускнеть мужническое счастье, когда закатилась звезда нэпа и появилась в деревнях матросня да фабричные с наганами по брюхам. И плакала земля, и скотинка, что народиться успела, плакала... Как потрошить начали мужицкие избы, как подводы с раскулаченными заскрипели по заокочинам с ревом баб да ребятишек! И началось строительство этого самого социализма, который, конечно, всему человечеству мечта, да только на горбе крестьянском выращенная! А про то ни у кого сознания нет, и уважения крестьянскому труду молодежь не признает, как несознательное будто это сословие есть... А что ни денег, ни паспортов в глаза не выдвигали, кому дело да интерес! Перетасовали народишко с разных сторон, забыли, как землю охаживать требуется! Церкви для нужды устроили — Бога-то по науке, сказывают, быть не может!

— А веришь в Бога? — спросил Андрей.

— Сомневаюсь я, что Его нету вовсе, и причины тому сомнению имею, да тебе того не понять!

— Какие причины-то? — настаивал Андрей.

— Ну, вот хотя бы, кто у нас шибче всех раскулачивал? А были братья Санька и Пашка Крюковы. Я про наших говорю, а что презжних да нерусских полно было, то само собой! Братья эти по молодости кулачниками да охальниками были. После гражданской партийными обернулись. Уж и погуляли они по хозяйствам нашим! И что?! Саньку Кузьма Банников из винта хлопнул, а Пашку свои же на север уехали, где и сгинул без вести! Опять же Кузьма Банников в Саньку пальнул, а когда огородам, своим огородам, заметь, домой вертался, в старый колодезь угодил, да так, что и помучиться не успел! Вдрызг головой об камень! Вишь, всякое зло расплату имеет! А как она оборачивается, расплата, без Бога ежели? Али Кузьма своего огорода не знал, в колодезь сподобился! В своего пальнул — и разум помутился!

— Так ведь этот «свой», наверное, заслужил?

— Чего там! Совсем бешеный мужик был! Никто не горевал! Да только в своего пальнёт, нешто добро! Ночью, как тать! Трах — и дёр! Не бывало у нас такого! И чтоб в свой колодезь падал, тоже такого никто не помнил. Так что кто-то, внучок, надо думать, над нашими душами есть, и следит он за нами, и за шкурку потаскать может, ежели что... И воле всякой предел установлен!

— А предел подлости людской? Как насчет этого? — хмуро вставил Андрей.

— Все есть, — философствовал дед печально. — И горе, и страдания, и болезни... Только дано человеку лекарство, что посылить всего будет, — терпение!

— Ага,— буркнул Андрей.— Бог терпел и нам велел!
— Совет тебе хочу дать, внучок! Хитрый совет! — Он вместе со стулом пододвинулся к Андрею, налил самогону из графина. Андрееву бутылку они уже приделали. Привалился боком, держа стакан на весу.— Не богохульствуй попусту! Тебе ведь от этого радости нет! А хрен его знает, может, Он и есть где-нибудь там!..

Ткнул стаканом вверх, распислескал самогон. Андрей посмотрел в потолок, сказал вяло:

— Там никого нет. Пустота да материя мертвая.

— Кто его знает! — с сомнением протянул дед.— Внутрь надо смотреть, наскрозь чтобы...

— Как? — не понял Андрей.

— Внутрь, говорю. Ты вот что есть? Тварь с двумя руками да с двумя ногами. А ежили внутри тебя взглянуть?

— Внутрь у меня кишки, дедушка! Андрей стукнул стакан деду и выпил. Перекосился, начал жевать капусту прошлогоднего посола. Дед смотрел на него разочарованно.

— Глуп ты еще! Хотя и образованный! Конечно, если человека шашкой на куски скромсать, то кишки увидишь. Не про то нутро толкую! В том нутре душа у тебя, до нес шашкой не доберешься!

— А если шашкой до кишок добраться, что от души остается?

Андрей весело подмигнул деду, уходя от скучной темы. Не тут-то было!

— Донустим, мешал тебе человек. Ты его шашкой али пулил. Ложит он пред тобой бездыханный! Твой, стало быть! Получил ты его мощи. А душу? Душу-то получил? Шии!

— Добрый у тебя самогон, дед!

Дед радостно подмигнул.

— Понравился! Завтра еще накапаем! Не ждал всль я тебя!

И вдруг прослезился.

— Мамка твоя, дочь моя, значит. Царствие ей... конечно, и, можно сказать, святая была, но сердцем жестокая! Где это видано, чтобы внука от стариков прятать! Стыдилась она нас, темноты нашей стыдилась. Не понимала, что свет наш в мозолях! Старуха моя покойная тяжело рожала ее, больше детей Бог не дал. Почитай, прожили мы жизнь без дтей! Весточки от дочки на переводах получали. В деньгах она аккуратная была! День в день! Завидовали нам! Только старуха каждый раз плакала, как деньги приходили... Глупая была...

Он рукавом вытер глаза. Андрей обнял его.

— Дочь свою не осуждай, дед, несчастная она была!

Дед испуганно вскинулся.

— Да нешто я осуждаю! А про несчастность, это как посмотреть! Жила она верой своей, а в вере люди несчастными не бывают! Дай Бог тебе веры такой!

— Какой веры! — зарычал Андрей.— Во что верила моя мать?!

В кого верила? В бандита?

— Но! Но! — нахохлился дед.— Ты не очень-то! Какой он ни есть, при нем порядок был! И люди свое место знали! Людям строгость нужна, а без строгости нынче вон в колхозах работать некому! Каждый свое гнет... Сам себе начальник!

Андрей заскрипел зубами, кулаками сжал виски.

— Что ты говоришь, дед! Какой порядок! Ты же только что рассказывал про этот порядок, как наизнанку вывертывали вас! А про тюрьмы и лагеря ты слышал?! Бандит был тридцать лет у власти! Понимаешь! Бандит! И порядок был бандитский! И законы были бандитские! Дед! Да разве вас не стригли, как овец?! Вы же для него и всей этой шайки рабочим скотом были!

— Это ты брось! — Дед смотрел на Андрея сердито, исподлобья.— Это кто, может, другие скотом были, а мы в скотах не ходили! Мы Россию кормили! А что всяко бывало, так где это жизнь без горя? Может, в Америке? Так мы с тобой там не были и знать не можем, какие у них свои беды! Бандит, говоришь! А в тридцатом кто меня в подкулачники записал? Сталин? Да сосед мой, Прошка Федотов! А за что? А побил я его вожжами по пьянке! При чем тут Сталин? А гусей да курей отбирать — был такой закон? Не было! А у моей старухи петуха прямо из-под подола вытащили активисты наши! А кто им за это по шеям надавал? Знаешь? Никитка-сельсоветчик после того, как запил, так и помер от запоя, а до того по деревне козырял ходил, наганом махал да плевался скрозь зубы! Я тебе так скажу: ежели б каждый свою подлость придерживал, так и половины горя в народе не было!

— Это все, что ты помнишь? — с глухим отчаянием спросил Андрей.

Дед обиделся.

— Чего я помню, того в голову тебе не вместить! Много воли вам дали для разговору! А в колхозе работать некому! Всех на чистенькое тянет!

Он еще ворчал. Андрей сидел, обхватив голову руками, и качался из стороны в сторону, и вид у него был такой несчастный, что дед, спохватившись, вдруг умолк, заморгал смущенно, засрзал на стуле.

— Ну, чего ты! Чего! Если что не так говорю, зачем близко к сердцу класть? Какой с меня спрос! Жизнь моя прошла, и каждому свою жизнь жалко... Ну! Внучок!

Он схватил стакан Андрея, наполнил, осторожно тронул внука за рукав.

— Выпьем, а?

Андрей поднял голову, повернулся к деду. Смотрел в его бесцветные слезящиеся глаза, пытался прочитать в них что-то подсознательное и подлинное, что непременно должно быть там, но видел только старость. И еще увидел в них жажду человеческой ласки! Вспомнились глаза Ольги. Удивился тому, что у молодости и старости могут быть одинаковые глаза...

Он обнял деду так крепко, что тот почти захрустел костями, но будто не заметил этого, и весь обмяк, и принял к шлечу внука. Язык отнялся у старика. Он тербил рукав Андрея и сопел ему в ухо.

Потом они донили остатки и только тогда навалились на закуску, что наскоро была сготовлена дедом и состояла из капусты, картошки, огурцов да рыбы соленной неизвестного наименования. Дед несколько раз пытался оправдаться за скудость закуски, но Андрей активностью челюстей изображал, к полной радости старика, искреннее удовольствие и демонстрировал аппетит здорового человека, здоровьес которого пропорционально потребности в пище, простой и обильной. Потом, отдавшись хмелю, они пытались что-то спеть, но Андрей не смог подпеть деду ничего, кроме «По диким степям Забайкалья», да и то один куплет...

Дед готов был продолжать трапезу до бесконечности, но Андрей чувствовал себя так скверно, что вынужден был огорчить старика и попросился на сеновал, хотя тот пригостил ему великолепное, пышное ложе на своей древней супружеской кровати.

Было еще совсем светло, хотя солнце зашло. В сторону заката открывался с сеновала чудный вид на уральские просторы. Проселочная дорога из района зигзагами подбегала к деревне, прокатившись по широченной деревенской улице, втиралась в берег тихой речушки и, петляя в перелесках вместе с ней, исчезала затем в темноте дальних лесов.

С хмеля очень даже легко было представить себя летящим низко над землей, а если смотреть вперед, в алую даль заката, то кажется, что она приближается, и вот-вот догонишь солнце и ворвешься в день... Но день отступал на запад, туда, откуда Андрей бежал так поспешно и откуда ожидал скорой развязки. Можно было посчитать сном все случившееся, а отчет пробуждения вести с этого момента, когда он лежит на сеновале и всматривается в закат... Он проспал целый день... Надо придумать, почему проспал... Потому, что прогулял ночь с девушкой. С Ольгой. Ольга живет не в Питере, а в деревянном доме с крашными ставнями на том конце деревни. И она не пианистка, а... библиотечка деревенский. Можно ей быть и дояркой, но лучше библиотекарем... Питера не было! Не умирала мать! Она внизу, в комнате, она сейчас готовит ужин и вот-вот позовет его к столу. А он не студент, а тракторист или шофер. Недавно Ольга дала ему почитать книжку о народо-вольцах, о покушениях на царя. И после приснился ему сон-кентавр, где в главной роли он, Андрей! Он прожил за несколько часов жизнь и пережил душевную муку целого поколения. Он вступил в конфликт с государством, и ему предстояло погибнуть в неравной бессмысленной борьбе. Но он проснулся! И хотя кошмар сна еще будоражил сознание, на душе уже было легко и просто.

Он не герой и не борец, он обычный деревенский парень, жизнь его проходит разумно и радостно. И он всей судьбой неразрывно вписан в эти перелески, в этот закат, и в запахи земли, мягкие и живые. Он нужная часть всего, что вокруг, все ему откликается пониманием и родственностью, и, просыпаясь утром, он приветствует мир, молодой, как и он сам, и бросает вызов миру-сверстнику прищуром глаз

и хрустом кулаков. А в каждом его движении и в каждом действии — смысл, созвучный смыслу всего мира...

Он не спускается по лестнице с сеновала, он прыгает с трехметровой высоты и бежит к колодцу. Обливает себя ледяной водой, ахая и задыхаясь внезапной упругостью тела, вытирается длинным махровым полотенцем, а потом, накинув его на шею, идет в дом, где его встречает мать, молодая, красивая и строгая. Она делает ему выговор за ненормальный рсжим и прогоняет одеваться.

Когда он садится за стол, она подходит к нему сзади и обнимает за плечи. Рука ее вдруг натывается на что-то твердое на груди сына. Она с тревогой заглядывает ему в глаза, а он сам, встревоженный не менее, вынимает из кармана пиджака пистолет... В глазах матери застывает ужас, и она навзничь падает на пол. Андрей уже знает, что ее разбил паралич...

Было около пяти часов утра третьего дня его пребывания у деда. Андрей проснулся от чужого звука. Еще ничего не зная об этом звуке, он лишь приподнял голову и взглянул на часы. Потом подтянулся к краю сеновала. Вправо по улице в узкий проулок между огородами въезжала машина «Бобик». Она вползла за плетень. Там остановилась. Заглохла. Из-за плетня вышли четыре человека и цепочкой направились в его сторону. Не доходя двух домов, они разделились. Двое пошли дальше прямо, двое других, видимо, решили пройти огородами. Они вошли в калитку ближнего дома и там начали «бег с препятствиями» через огородные плетни, приближаясь к дому деда.

«Быстро они добрались до меня», — подумал Андрей, и, кажется, других мыслей не было. Была тоска. Пистолет уже в руке. Он и не заметил, когда достал его. Те, что шли прямо, уже около ворот. Сейчас Андрей не видел их. Щекотла поднялась в некоторое время висела в поднятом положении. Затем ставная ворот скрипнула и подалась внутрь. Двое вошли во двор. Он мог перестрелять их сверху без труда, но почему-то не решился взорвать утреннюю тишину, точно совершил бы этим тягчайшее преступление. К тому же он не обнаружен, и это сомнительное преимущество так не хотелось терять!

Тут он представил лицо внезапно проснувшегося деда, и мысль о нем хлестнула по лицу. Зачем он приехал сюда? Еще одна глупость в цепи бессмысленности всех его действий. На этот раз граничащая с подлостью! Теперь, случись бы и чудо, он не хотел жить!

Двое уже стучались в дверь сеней. Дед, видимо, с их очередного похмелья прошлым вечером спал крепко, не постариковски. Андрей выглянул в щель крыш сеновала в другом конце и увидел тех, что шли огородами. Увидел на мгновение, они уже скрылись за домом, подбираясь к окнам. Он вернулся на свое место, снял пистолет с предохранителя и, свесившись с площадки сеновала, спросил резко и громко: — Чего надо?

Его окрик был воспринят стучавшимися, как пинки под зад. Они шаркнули от двери, у обоих в руках пистолеты. Не такие, как у него, — меньше. Один назвал его фамилию.

— Я, — ответил Андрей.

— Бросай оружие! Дом окружен! Слазь!

Чекист говорил не очень уверенно, потому что именно на него был наведен пистолет Андрея. Их же пистолеты смотрели очень неопределенно вверх, лишь в сторону Андрея, но, может быть, и мимо.

— Я сдамсь при одном условии, — спокойно ответил Андрей. — Если вы сейчас же без шума вернетесь к машине. Я пойду туда же вслед за вами!

— Не валяй дурака! — зарычал второй. — Бросай пистолет и слазь!

Он при этом сделал какой-то странный жест левой рукой. Андрей понял его чуть с опозданием, когда услышал шорох на другой стороне сеновала. Ему заходили в спину. Лестница была именно с той стороны. Не поворачиваясь полностью, Андрей выстрелил в ту сторону и оглох от выстрела, так он был громок, резок и внезапен. Двоих у двери тут же смело за дом, и одновременно два выстрела отбросили Андрея в глубь сеновала.

— Шуметь так шуметь! — подумал и выкрикнул Андрей и пальнул в обе стороны.

Выстрелы уже не казались грохотом. Они уже нравились ему. Но он вспомнил, что осталось всего три патрона, а тех четверо, и от сознания, что против четырех он бессилен, стало тоскливо и жаль напрасных выстрелов... Он вдруг

превратился в кошку! Он ползал от одного конца сеновала к другому, в узкие щели пытался высмотреть своих врагов, но их видно не было. Зато на крыльце соседнего дома, на противоположной стороне улицы, да н везде, где улица просматривалась, уже сновали люди, заспанные и испуганные, но не могущие побороть любопытства. И еще он увидел бегущего к дому деда. Тот, оказывается, давно встал и куда-то ушел, а теперь бежал к дому, скорчившись и подволакивая ноги.

В воротах навстречу ему выскочил чекист, схватил его за руки и, будто невзначай прикрываясь им, потащил деда в сторону, размахивая пистолетом в свободной руке и крича:

— Все по домам! Здесь опасный преступник! Он вооружен! Все по домам!

И он выстрелил вверх над ухом деда. У деда подкосились ноги, и он с вывернутой рукой повис на плече чекиста, который, все так же прикрываясь дедом, затаскивал его за дом.

Андрей высунулся сверху и закричал:

— Ты, сволочь, оставь деда! Не смей!

Дед увидел его. Челюсть у него отвалилась, глаза выкатились, он вдруг начал хватать чекиста за ту руку, в которой был пистолет, и, прежде чем они исчезли из поля зрения, Андрей успел увидеть, как дед обмяк на руках чекиста от удара в живот...

Люди вокруг вроде бы и разбегались и в то же время появлялись по тут, то там, и те, кому удавалось увидеть Андрея, показывали на него рукой, что-то кричали, прятались и высматривались снова.

— Последний раз говорю, сдавайся! Все равно возьмем!

Андрей не выдержал и выстрелил на голос. В ответ прозвучал залп. Андрей закричал:

— Слушайте, вы, подонки! Вы привыкли, чтобы перед вами ползали на коленях, вы привыкли хватать людей, как мышей! Попробуйте возьмите меня! Я первый стреляю в вас! Но скоро вас будут взрывать, давить машинами, бросать под поезда! Преступники — это вы! Вас научат бояться, сволочи!

Еще когда кричал, появилась мысль сдаться. Будет суд. Пусть его приговорят к расстрелу, но на суде он скажет им все, что знает и думает о них! Кто-нибудь будет на суде! Кто-то запомнит его слова!

Но тут он вспомнил рассказ одного выжившего, но в свое время приговоренного к расстрелу клиента того подполковника, которого он убил в Лемболово.

Андрей представил, как после приговора захлопнут на его руках наручники и отведут в камеру смертников. Ему предложат напиться помилование. А вдруг он не выдержит страха смерти, вдруг сломается! Но если и устоит, потом его выведут в нужное место, зачитают приговор, а может, и не будут зачитывать, просто кто-то выстрелит ему в затылок и затем спокойно проделает контрольный выстрел в висок, а врач, оттянув веки, засвидетельствует смерть на протоколе «приведения в исполнение».

Нет! Такого удовольствия он им не доставит! Андрей подполз к краю сеновала. У него в запасе один выстрел. Хотя бы одного, да он уложил, заберет с собой! Но вдруг испугался. Останется один патрон! А если он промахнется и только ранит себя! Нет! Он не может рисковать! Да и что проку — одним гадом станет меньше? А сколько их! Бессмысленно!

Он начал шептать имена всех, кто был когда-то дорог ему, боясь забыть кого-то, не вспомнить! Дед, Ольга, Костя, Вадим, Пашка, Коля, мама... мама... На этом память его забуксовала, и лицо матери заслонило все лица, и он уже больше никого не мог вспомнить. И слово «мама» звучало в мозгу помимо его воли, и губы его шептали, и стократным эхом повторяла его мысль, он даже видел это слово написанным большими буквами на школьной доске и на листке бумаги и отдельно буквами, висящими в воздухе... Он всунул ствол пистолета в рот, но это было так противно — во рту отвратительный вкус створенного пороха, ствол горячий и кислый. Его затолкнуло! Он вынул дуло, приложил его к виску, но представил свой изуродованный, разнесенный череп, и стало дурно. Он испугался, что может потерять сознание! Тогда он вывернул пистолет дулом к себе, подставил его туда, где ощущалось биение сердца, чуть привалился на пистолет телом, чтобы не откатнулось дуло при нажатии на спуск. Положил на спуск палец левой руки и так оставался минуту или чуть более без единой мысли, без единого побуждения в душе. И, лишь словно убедившись в наступившей пустоте и готовности, нажал на спуск.

Вынув обойму из его пистолета, чекист с удивлением рассматривал оставшийся патрон.

— Как думаешь,— обратился он к другому,— почему он оставил один патрон?

Тот, не повернувшись, пожал плечами.

— Забыл, наверно.

Посещение

Недавно попал мне в руки документ, автором которого, как предполагают, был один провинциальный священник, умерший всего лишь год назад. Характер документа таков, что я не решился передать его куда-нибудь, но и умолчать о нем оказалось выше моих сил. Я слукавил. Я написал рассказ. И тем самым снял с себя всякую ответственность!

В сельской церкви уже час назад закончилась служба, но священник, отец Вениамин, только что направился домой. С одним из своих прихожан обсуждал он важный вопрос — смену церковной ограды, поскольку нынешняя, стоявшая с незапамятных времен и без конца подправлявшаяся, совсем прохудилась. Разговор шел потому о столбах и штакетнике, о краске, то есть о цвете, какой приличествует ограде Божьего храма. Понятное дело — голубой. Но в магазинах только желтая да красная. Значит, переплата! Отец Вениамин перебирал бородку, мужичок чесал в затылке. Наконец, договорились по самому хорошему: ограда ставится бесплатно, а на штакет да на краску подкинуть надо с запасом. Договорились...

И после этого отец Вениамин все равно не торопился домой, оттягивал что-то...

Всем знакомо, как это бывает: делаешь что-то, суетишься, суетишься, но знаешь, что, как останешься один, поджидает тебя дума печальная и будет эта дума тебе душу травить до петухов...

Священнику, однако, седьмой десяток, и по опыту знает он, что надо всегда печаль по имени называть, чтобы не таилась она в душе мукой непонятной. Понять печаль — значит найти ее причину, причина же — это уже факт, а факту всякому полочка есть, где лежать ему да забывать-ся...

И как только домой пришел и на иконы взглянул, вспомнил причину своей печали. Это было лицо юноши, что пришел сегодня в храм к началу службы и простоял у двери, не перекрестившись ни разу, до самого конца. И ушел, не перекрестившись. А что же было в лице его? Для отца Вениамина в его лице была память. Много лет назад, в годы молодости своей, знал он такие лица, русские лица, с мукой в глазах, лица, которые потом стали исчезать в земле русской, а те, что приходили им на смену, и необязательно безбородые, не в бороде смысл, просто это были совсем другие лица, и говорили они на каком-то чужом языке, в котором слова не то штыки, не то скрежет зубовой. И тогда кончилась Русь! И как в татарщине или в неметщине жили. Даже православные, веры не изменившие, даже в их лицах не было светлости русской, а лишь страх, отчаяние да богооставленности мука.

Отец Вениамин прошел через расколы и тюрьмы и выжил чудом. Слово Божие нес людям, как крест подносят к глазам преступника, на смерть обреченного.

Привык священник думать, что кончилась Русь и с каждым днем кончается. Но вот через полвека, после всего, что было, вдруг стали встречаться ему то тут, то там знакомые лица. С удивлением и трепетом душевным приглядывался к ним, и было поначалу разочарование великое, казалось, будто напрокат взяты лики русские про русское забывшие!

Встретил он однажды в городе двух молодых людей. Бороды русые, глаза синие, руки нервные... Стоят в стороне, говорят о чем-то горячо... Глаза горят... Стал загадывать отец Вениамин, о чем разговор их. О смысле жизни? О Боге? О прекрасной даме, наконец? Подошел близко сзади, и будто в душу плюнули! Говорили о хоккее. С ликами Алешки Карамазова — и о хоккее!

И все же! Все же это было знамение! Может быть, сначала лица русские, а потом и души...

Вот сегодня один из таких, новых, простоял у него в церкви всю службу. Несколько раз пристально взглядывался

ему в глаза священник. Веры не видел, но и пустоты воинствующей не было в них. Значит, все-таки что-то было! И вот это «что-то» и есть сегодня печаль отца Вениамина. Подумалось ему, что такие глаза должны быть у арестанта за решеткой, или у неизлечимо больного, или у потерявшего самое дорогое в жизни... Хотелось молиться за эти глаза, просить Господа избавить их от боли и тоски, хотелось самому сделать что-нибудь в помощь, в облегчение, в избавление! Он знал, что ночь проведет в молитве и слезах, и уверенность была, что сегодняшняя его молитва непременно услышана будет...

И как-то совсем машинально готовил себе ужин, яичницу поджаривал да чай кипятил. И когда уже за столом собирался произнести предтрапезную, услышал стук в дверь. Удивился, потому что не ждал гостей. Но удивился еще больше, когда, открыв дверь, увидел того, о ком только что думал.

— Можно? Я не помешал вам? — неуверенно спросил юноша, не переступая порога.

— Отчего же,— ответил отец Вениамин. — Собирался ужинать в одиночестве, Господь гостя послал, и я очень рад. Заходите!

Тот прошел в прихожую, потом в комнату, благословения не попросил, на иконы не перекрестился. И казалось, будто знал, что нужно это сделать, и не сделал умышленно, чтобы подчеркнуть свое отношение и не создать двусмысленности положения. Держался просто. Охотно сел за стол и если от яичницы отказался, то чай пил с удовольствием, из блюдечка, держа его обеими руками, так же, как и хозяин дома, словно обычной древний припоминал.

Они сидели друг против друга, смотрели друг другу в глаза и улыбались, может быть, каждый своему, но близость рождалась несомненная, хотя вместе с тем какая-то смутная тревога входила самым краешком в сердце священника.

— Меня Алексеем зовут,— сказал, наконец, гость. — А о вас я знаю давно. И много хорошего слышал от тетки моей, она в соседней деревне живет и к вам в церковь ходит.

Отец Вениамин молчал. Пил чай и смотрел на гостя улыбаясь.

— А пришел я к вам за помощью, отец... хотя почти уверен, что помочь мне вы не в силах... И все-таки пришел... Должен был я попытаться, правда?

— Конечно,— согласился священник.

Чувствовалось, что юноше очень трудно начать, и не слова он подыскивал, а форму разговора, так, словно сказать хотел лишь немного, но чтобы ответ получить по самому главному. Отец Вениамин не торопил его и не поощрял к откровенности, потому что знал: откровенным человек по нужде бывает да по вере. Гость без веры. Значит, нужда... Разговорится.

— Наверное, я все расскажу вам,— продолжал гость. — Наверное. Но не сразу. Сначала я хотел бы получить от вас ответ на один вопрос, для меня очень важный. И очень прошу вас, не торопитесь с ответом! У меня философское образование, и я знаком с богословской литературой. Казенный ответ меня не устроит. Я хочу знать ваше личное мнение! У вас за плечами жизнь. Мне нужен откровенный ответ человека, прожившего жизнь. Представьте, что от искренности вашего ответа зависит моя жизнь!

Отец Вениамин заволовновался.

— Вы можете быть уверены в том, что я не солгу вам, о чем бы вы меня ни спросили, и все же стбит ли ставить в зависимость от чьей-то искренности, даже священника, свою жизнь. Ведь так трудно бывает понять человеку человека. А, если я правильно понял вас, вы хотите спросить меня о чем-то таком, о чем нелегко говорить?

Юноша несколько смутился.

— Ну, пожалуй, я чуть стусил краски! Вопрос, в сущности... то есть... я бы мог его задать любому священнику... но к вам у меня уже была заочная расположенность...

Он замаялся.

— В общем, отвечая на мой вопрос, учтите, пожалуйста, что я неверующий и что, я уже сказал, для меня это очень важно!

Помолчал и выпалил:

— Что такое чудо, отец?

Священник даже растерялся.

— Чудо?! Но... Вы же ставите меня в невозможное положение! Вы спрашиваете о чуде и говорите, что неверующий! Так как же я вам отвечу! Ведь для меня чудо — это явление бытия Господа нашего, знак Его присутствия в мире... если говорить о так называемых сверхъестественных явлениях... Но для меня, поверьте, для меня чудо —

всё творение Божие! Вам трудно понять это, но взгляните на мир глазами ребенка или как посторонний, и каждая букашка и жизнь человеческая — всё чудо, и ничто без Бога объяснения не имеет...

Священник увидел, как потускнели глаза юноши, и преврался на полуслове.

— Не то! Все не то! — пробормотал гость и... вдруг дернулся, как-то весь дернулся, будто судорога прошла по телу. Поймал встревоженный взгляд священника, смутился и заговорил сбивчиво: — Не обращайтесь внимания... я после объясню... бывает так у меня... иногда...

И вот только после этих слов отец Вениамин заметил нечто особенное в облике юноши, в его манере держаться, в позе, как он сидел на стуле. В чем особенное — не объяснишь, может быть, болен?

Теперь он сидел боком на стуле, вцепившись руками в спинку, напряженные чувствовалось и в руках, и в лице.

— Не то я хочу услышать от вас! — с болезненной гримасой сказал гость.

— Что же? — спросил священник и подумал о заведомой бесполезности этого разговора.

— Вот вы, лично вы, были когда-нибудь, ведь вы прожили большую жизнь, были вы когда-нибудь сами свидетелем чуда? Настоящего чуда!

— Нет, — ответил священник.

— И при этом вы верите в чудо?

— Мне трудно ответить вам, молодой человек. Ведь если я вам скажу, что воскресение Господа нашего Иисуса Христа, а пред тем жизнь, деяния и смерть Его — величайшее чудо, засвидетельствованное апостолами, ведь для вас это несубедительно. А между тем после этого величайшего события вообще недостойны были люди внимания Господа, ибо сколько же свидетельствовать! Но так мысля я — грешник из грешников! Господь бесконечно добр! И чудеса, кон происходят с людьми, есть милость, есть деяние милосердия, есть переполнение любовью к твари сердца Господнего! Милость отвергающему ее! — Тут он преврался и недоуменно посмотрел на юношу. — Но... помилуйте! Если вы не веруете в Бога, то ведь для вас и чуда не существует! Зачем же?..

— Я верю в чудо, отец. Точнее, я признаю чудо!

— Немыслимо! — изумился священник. — Если без Бога, какое же может быть чудо? Если вокруг материя одна да причинность жестокая, откуда чуду взяться? А если признавать чудо, то необходимо предполагать при этом хотя бы, скажем, некую силу, некий источник чуда...

— То есть вы хотите сказать, — не без ехидства вставил гость, — что надо предполагать причину чуда, а только что сами говорили о жестокой причинности матерального мира! А?

— Не ловите меня на слове! Это нехорошо! Вы же понимаете меня, мысль мою понимаете!

Отец Вениамин не столько обиделся, сколько огорчился.

— Конечно, я понял вас. Но все дело в том, что возможны в мире явления, как следствия нарушения причинности. Могу я так посмотреть на вещи?

— Можете, — был спокойный ответ. — Но ответа на вопрос не получите, и удовольствия не будет. Такой ответ не снимает вопроса, а рождает новые и бесконечные.

— А разве гипотеза Бога не порождает сомнения и бесконечность вопросов?

Священник помолчал некоторое время, ответил потом не торопясь.

— Гипотеза Бога — это удел ищущих в гордыне. Не вера рождает сомнения, а слабость наша, греховность, неспособность следовать путем веры! Но сомнением вера проверяется! Испытывается! Преодоление сомнения — радость великая, коей лишены безбожники... — Отец Вениамин почувствовал вдруг, что начинает уставать, что говорит вяло и несубедительно. — Не кажется ли вам, Алеша, что мы уходим в тему, которая, как вы сказали, уже решена вами? Я не улавливаю сути вашего вопроса? Я ведь могу говорить о чуде только как о явлении Божием, в Бога же вы не веруете. Чем я могу помочь вам? Попробуйте поискать ответ у науки...

Алексей саркастически усмехнулся:

— Увы! Наука мне еще менее способна помочь!

При этих словах он вдруг снова дернулся. Лицо перекослось. Но была это не гримаса боли, а скорее досады... Пошатываясь, он встал со стула и подошел к окну. Левою рукой вцепился в подоконник, правой ухватился за ручку рамы и стоял к священнику боком, словно единственную точку выбрал.

— Никто мне помочь не может! — с каким-то тоскливым отчаянием прошептал он.

— Вы больны? — неуверенно спросил отец Вениамин.

— Болен? Если бы я сам знал, что со мной!

— Не понимаю... — пробормотал священник, не в силах оторвать глаз от лица своего гостя. Было это лицо человека в отчаянии, но оно не было лицом в обычном смысле больного человека. Что же?

Снова заговорил Алексей.

— На чем мы остановились? Да... На гипотезе Бога... Оставим... Значит, вы считаете, что всякое чудо — это непременно явление Бога?

— Так, — неохотно ответил священник.

— Если от Бога, значит, какой-то смысл в каждом чуде? Намек своеобразный?

— Именно. Иначе зачем Господу являть Себя, как не в указание! Однако являет Себя Господь без навязывания, на волю не посягая!

— Не понимаю! — поспешно и нервно спросил Алексей.

— Упорствующему в неверии и чудо не поможет. Так я мыслю.

— Упорствующему? А если не упорствующему? Если желающему поверить?

— Уверует! — твердо ответил отец Вениамин.

Теперь на лице гостя была улыбка, не то снисходительности, не то сожаления.

— Ну, а вы, отец, вы если бы увидели, к примеру, человека, идущего по воде, как бы вы отреагировали на это?

— Колени бы преклонил в радости и благодарении за милость Господню...

Хохот прервал слова его, грубый, циничный хохот, но священник не успел даже обидеться. Его гость вдруг оторвался от окна, как стоял, в рост, медленно всплыл к потолку, и теперь хохот падал на священника сверху, сверху же падали прерываемые хохотом слова:

— Ну, так преклоните колени, отец, возблагодарите!

С последним словом гость занял в воздухе горизонтальное положение, выставил вперед руки и с растопыренными пальцами поплыл к священнику, не переставая хохотать...

Очнулся отец Вениамин на своей кушетке, что в углу, от прикосновения холодного ко лбу. Это Алексей прикладывал к голове мокрое полотенце. Лицо юноши было испуганным, и слезы! — да, слезы — это первое, что увидел священник.

— Вы живы! Слава Богу! Если можете, простите меня, пожалуйста! Я негодяй! Прошу вас, простите меня! Вам лучше?

— Что это было? — еле слышно выговорил всё еще бледный священник.

— Я всё объясню вам! Я должен был сразу рассказать всё! Но так глупо и подло всё получилось!..

— Вы гипнотизер и пришли посмеяться надо мной?

— Нет! Честное слово, нет! Я всё вам объясню! Сейчас же! Поверьте, я не хотел того, что получилось! Вы были так бледны, я испугался... Хотите воды?

— Да...

Отец Вениамин на мгновение закрыл глаза, но тотчас же вцепился в руку Алексея.

— Вы действительно летали или это бред?

— Я принесу воды...

Растерянность и испуг всё еще были в голосе гостя, но когда он бросился за водой в прихожую, священнику показалось, что ноги его не касаются пола, и когда тот вернулся с кружкой, отец Вениамин снова был близок к обмороку. Пил он судорожно, с закрытыми глазами. Потом почти протонал:

— Рассказывайте же, наконец! Я буду лежать... Возьмите стул, садитесь рядом... И говорите!..

Видимо, не так просто было начать, и первые фразы были обрывочны, но только первые, потому что потом началась исповедь.

— Я окончил философский... Готовился в аспирантуру... Знаете ли вы, отец, как заманчива философия! Как таинственно это слово! Как загадочно величественны имена жрецов — Гегель! Кант! Платон! Фихте! Сейчас уже пусто... А раньше у меня голова кружилась при упоминании этих имен! А какое ни с чем не сравнимое наслаждение испытываешь, когда начинаешь понимать мысль великого философа, словно сам пережил ее. А гордость при этом! Но это что! Вот когда впервые вдруг обнаружишь у великого философа, к пониманию которого стремился годы, когда обнаружишь у него первую крохотную неувязочку, нелогичность — вот где плеск тщеславия! А потом, когда сам составишь мнение

о великом, даже высказывать это мнение никому неохота, так горд и доволен собой бываешь! Многие на этом останавливаются и удовлетворяются, из них потом рождаются чванливые комментаторы, но в философов они не превращаются. Я останавливаться не хотел, но со мной случилось другое: я вдруг почувствовал, что пустое всё это... Сколько людей — столько философий. Каждый прав лишь постольку, как видится ему мир... Истины в философии нет, есть лишь одни более или менее талантливые интуиции, оригинальные конструкции... и не более. И всё! Как бы это сказать... одни стены... перегородки... лабиринты... а крыши нет... здания нет! Я имею в виду истину... — Прервался. — Лишнее говорю, да? Но это необходимо, поверьте...

Священник схватил его за руку.

— Говорите! Не нужно ничего объяснять! Говорите!

— Вот тогда я и обратил внимание на религию. Началась тогда мода на кресты и иконы... Я прочитал Евангелие и сказал себе: это то, что я искал! Это мудрость, которую я чувствую, но постичь не в силах. Она выше моих возможностей! Я понял, что всю жизнь буду каждый раз по крупице понимать эту мудрость, и жизни моей не хватит! А если есть такая возможность — познавать конечную мудрость, можно ли жить еще ради чего-нибудь другого? Тогда я объявил себя верующим.

— Объявили? — удивленно переспросил отец Вениамин. — Разве вы не уверовали, если поняли, что нет мудрости большей?!

Алексей невольно улыбнулся.

— Я объявил, что уверовал. Я думал, что это одно и то же. Признавать правоту христианства и поверить в Бога.

— А разве это не так? — изумился священник.

— Конечно! Ведь и христианство можно воспринимать лишь как зашифрованную философию сохранения человеческого рода, полученную, к примеру, от космических пришельцев, вышедших по разуму!

— Да, — печально согласился священник, — люди готовы верить во что угодно, но только не в истину, простую и очевидную.

— Очевидность — явление субъективное... — начал было юноша, но замолчал. Потом продолжал: — Так я стал верующим. Отрастил бороду, бросил курить, упорядочил отношения с женщинами... Благодаря своей философской ната-сканности я стал в своей среде чем-то вроде проповедника. Церковь, разумеется, посещал и даже посты держал строго по календарю... Но вот месяц назад случилось...

— Будьте добры, дайте мне еще глоток воды! — Пил, а руки заметно дрожали, и бледность будто снова выступила на лице. — Ну, ну... я слушаю! Говорите!

— Вы думаете, это случилось во время молитвы, или во время благостных размышлений, или при чтении Священного писания? Это было на пляже, когда я валялся на песке, и не было у меня в тот момент ни благих, ни грешных мыслей... Я хотел подняться, оперся ладонями на песок и вдруг понял, что повис над песком... так... сантиметра на четыре... Казалось, что я не сделал ни одного движения, только подумал — и тут же поднялся еще! У меня закружилась голова, то есть произошло примерно то же, что и с вами полчаса назад. Я потерял сознание. Правда, лишь на мгновение. А когда снова пришел в себя, то уже знал каким-то особым телесным знанием, что могу подняться в воздух без малейшего усилия и напряжения. Заметьте, отец, при этом я даже не вспомнил о Боге! Я просто был ошеломлен... Я быстро оделся, еле удерживаясь от эксперимента, прыгнул в автобус... Он был полон, но не слишком, я же висел между людьми, поджав ноги... В комнате я заперся на ключ и, обратив внимание, даже не взглянул на иконы, которыми был полон угол. Я набрал воздуха, как для храбрости, и всплыл к потолку. Я летал, опускался, переворачивался вниз головой, роняя из карманов всякую ерунду... было как во сне...

Вы говорите, всякое чудо от Бога... Но ведь если это было так, то в душе моей я чувствовал бы хоть что-то! Но ничего! Понимаете, ничего не было, скорее, напротив, ощущение уродства, ненормальности... Не было чуда... Был лишь парадокс причинности... И тогда пришло прозрение! Я никогда не был верующим... Более того, я почувствовал ну, что ли, пустоту вселенной, безбожие мира, собственное сиротство...

— Возможно ли это! — воскликнул священник. — Ведь вы же летаете! Летаете! И говорите о пустоте вселенной, о сиротстве... Господи! Да что же это случилось с людьми! Ни кары, ни благодати не принимают!



Поднявшись с кушетки, он подошел к иконостасу, почти упал на колени.

— Господи! Не гневайся на неразумие рабов Своих! Разум их помутнен, и душа осквернена! Велико терпение и безгранична любовь Твоя, Господи!

Гость стоял в стороне. На лице была досада, или печаль, или досада печальная. А когда священник умолк и склонился в поклоне, голос Алексея зазвучал резче и будто даже с издевкой.

— Я ведь еще не всё рассказал вам, отец!

Тот поднялся, снова сел на кушетку, закрыл лицо руками.

— Рассказывайте! Всё рассказывайте! Ничего не оставляйте на душе!

Алексей подошел к иконостасу.

— Символы! Символы вашего Бога! А признает ли Сам Бог эти символы за Свои! Богохульство? Да? — Сел рядом. — Тогда, в своей комнате, обнаружив себя уродом, я под конец сорвал икону со стены и летал с ней и глумился над Богом умышленно! Я ведь рисковал, правда? Но ничего со мной не случилось, икона же треснула, когда я выронил ее из рук под потолком. А жаль! Вот если бы в этот момент я брякнулся на пол да переломал себе руки или ноги...

— Тогда бы уверовали?

— ...Еще бы! — рассмеялся Алексей.

— Нет, и тогда бы не уверовали... Впрочем, нет, нет, не знаю.

Чего-то смутился отец Вениамин, потому что пожалел о своих словах.

Алексей не обратил внимания.

— Так началась моя новая жизнь! Жизнь в чуде! Чего там! Я о Боге и думать забыл в первые дни! Ведь летать! Господи! Можете ли вы себе представить, какое это удовольствие, нет, наслаждение — летать! Ночью над степью или озером! Вскинешь руки, и паришь, и падаешь, и взмываешь! И ничего больше не нужно в жизни! Так легко!..

При этих словах он поднялся, возложил руки на голову и с пьяной улыбкой поплыл по комнате как-то в полувертикальном положении. Но, видимо, спохватился, быстро, словно спрыгнул, опустился на пол и тревожно взглянул на священника. Тот был бледен и торжествен, стоял в полный рост.

— Чудо! Чудо! — шептал он. И столько счастья было в его голосе, что откровенная зависть отразилась на лице юноши. — Теперь можно и умереть!

Отец Вениамин вдруг нахмурился, лицо стало озабоченным.

— За что же дал мне Господь лицеизреть чудо? — спросил он, тревожно взглянув на Алексея. — За что? Разве я не отягощен грехами более других? Неужели...

Он тут побледнел, как перед обмороком, и даже закачался. Гость поторопился подхватить его под руки, но был мягко отстранен и отошел в угол удивленный. Священник опустился на кушетку, отсутствующим взглядом смотрел куда-то мимо Алексея.

— Вы хотели еще что-то рассказать...

— Вам плохо? Может, воды?..

— Нет, — безучастным голосом ответил он. — Говорите же! Я знаю, вы не сказали еще чего-то очень важного...

Алексей пожал плечами.

— Главное сказал. Странно... Сначала вы были счастливы, когда узнали... А сейчас похожи на самого несчастного человека в мире... Я подозревал, а теперь уверен, что мое чудо в итоге всем приносит несчастье...

— Всем? — встрепнулся отец Вениамин. — Разве еще кто-нибудь?..

— Вот об этом я и не успел вам рассказать! — усмехнулся Алексей. — Но сначала о себе... Что мне лично делать с этим чудом? Для меня утерян смысл жизни! Я уже не могу жить среди людей, потому что не могу контролировать себя! — Улыбнулся. — Ах, если бы вы знали, отец, сколько соблазнов я преодолел! Больше, чем Иисус, поверьте! Сколько раз мне хотелось взлететь где-нибудь посередине улицы и полюбоваться сверху на физиономии моих современников, пожизненно опьяненных всеобщим детерминизмом природы! А сегодня, в вашей церкви, думаете, мне не хотелось устроить потеху!

— Но вы не сделали этого! — тихо сказал священник.

— Не сделал. Но вовсе не по причине порядочности! Мне объявиться, значит превратиться в подопытного кролика науки или в обожествленного кролика Церкви! Я самолюбив! И не могу позволить, чтобы меня изучали!

— И до сих пор никто...

— Увы! — перебил его гость. — Но к рассказу об этом вам, отец, следует подготовиться.

Хотел, кажется, с иронией... Но ирония не прозвучала, и потому священник ответил серьезно:

— Я готов.

— Невозможно мне жить среди людей! Скучно! Я не чувствую себя суперменом! Я просто хочу летать! Я превратился в ночную птицу, отец! Днем летать нельзя... Я уехал в деревню, бросил учебу и всё прочее, как ненужную бумажку выбрасывают... Пьянством никогда не страдал... о наркотиках понятия не имею... но, кажется, со мной происходит то же самое! Днем сплю, а во сне летаю... Просыпаюсь всегда в страхе: неужели только сон?! Если один, тут же буквально бросаюсь в воздух, и когда убеждаюсь, что это не сон, что я действительно летаю, то плачу от счастья! Если я нахожусь где-то, где нельзя взлететь, вдруг появляется мысль, что чудо кончилось, и я спешу куда-нибудь, чтобы убедиться... Самое страшное, отец, это что с каждым днем сокращается время, когда я могу не летать... Люди раздражают своим присутствием... Хамам становлюсь... равнодушным... Только летать!

Но я хотел рассказать... Да... Однажды я убежал в лес в полдень, когда сомнения напали... Убежал в лес и, забыв обо всем, начал гоняться за птицами! Такой перелеток наделал... Птицы, отец, они тоже детерминисты! Они терпеть не могут, когда нарушаются законы природы...

В общем, увлекся я, смотрю — мужик... Стоит внизу с выпученными глазами, корзину выронил... челюсть на подвесе... Мне хоть бы исчезнуть сразу! А я к нему полетел... Он как стоял, так и грохнулся на спину без звука. Когда к нему подлетел, он уже всё... Я уже убийца! Вот как! И вы вот тоже чуть Богу душу не отдали, а уж вы-то...

Священник вскочил с кушетки. Глаза расширены, в глазах ужас, руки трясутся... Алексей шархнулся от него.

— Вот! — крикнул отец Вениамин. — Вот! И я тоже! И вы, и мужик, и я тоже!

Он схватился за голову.

— Только этого не хватало! — пробормотал Алексей, пытаясь к двери.

— Стойте! — крикнул священник. — Простите меня!

Он вдруг упал перед Алексеем на колени.

— Простите! Христа ради! Я вас поучал, проповедь читал о вере! Простите! Не имел права! В обмание был сам и вас обманывал! И Бога! И Бога! Вы честно... прямо... А я всю жизнь...

Он упал на пол и зарыдал. Алексей в отчаянии заметался по комнате.

— Будь проклято это чудо! — крикнул он в отчаянии, опускаясь на колени перед священником. Тот живо поднял голову, обнял его, тоже встав на колени.

— Нет! Не смейте говорить так! Вы не понимаете! Мы все предали Господа! Я первый! Он чудом своим разоблачил ложь мою!

Он перешел на шепот.

— Ведь я же испугался! Понимаете! Испугался! Как и тот мужик, что не верил! И вы в страхе перед чудом, потому что и вы без веры! И я! Господи! Простится ли такое? Я фарисействовал! Понимаете!

Алексей осторожно высвободился, поднялся, поднял священника.

— Вы уж извините, — как-то зло сказал он, — только мне, очевидно, таких тонкостей не понять! У меня от своих забот голова кругом... Я пойду, пожалуй...

— Подождите! Прошу вас, подождите!

Отец Вениамин усадил его на стул, сел рядом на кушетку, не выпуская из своих рук руки Алексея.

— Мы не можем, поймите вы, не можем сейчас вот так расстаться! Господь связал нас с вами одной милостью, судьбы наши связал...

— Милостью? — усмехнулся Алексей. — А зачем мне эта милость? Я признал Его доброй волей! Было ведь так! Чудом Он посягнул на свободу моей веры и уничтожил ее!

— Да нет же! Нет! — горячо возражал отец Вениамин. — Не вы ли признавались, что не было веры в вас! Не поддавайтесь гордыне! Вы хотите быть свободным от Бога, но быть свободным от Бога — значит быть в рабстве! Поймите! — От волнения голос его срывался на шепот, он крепко сжимал руку Алексея, крепче, чем можно было ожидать от человека его возраста. — Вы думаете о Боге! Вы жаждете веры! Перешагните через гордыню, станьте дитем, которому

только мир открылся, сердце послушайте свое! В его побуждениях истина ваша!

Алексей сделал рукой жест досады, но священник не дал ему говорить:

— Вы не хотите принять чудо! Но вы... подумайте! Вы бы и Христа не приняли! Ведь вы бы Его распяли!

Алексей внимательно посмотрел на него.

— Какая-то логика есть в ваших словах... Но разве кто-нибудь уверовал благодаря логике?

— Не логика, истина в моих словах! Тысячелетняя истина, которую, было время, признавал весь мир!

— Весь мир признавал Птоломея! Ну и что?

— Господи! — зашептал отец Вениамин, закрыв глаза. На щеках показались слезы. — Господи! Вразуми меня! Дай мне слова!

Алексей попытался высвободиться. Облегчение не пришло, и он уже тяготился разговором.

— Слушайте! — снова горячо и страстно заговорил священник. — Сегодня же, сейчас же идите домой, уединитесь, упадите на колени и заставьте всей силой, какая есть в вашей душе, заставить себя быть искренним! И молитесь! Не почувствуете ничего, молитесь еще усерднее! Молитесь и час, и два, и три, пока не услышите! Вы услышите, потому что услышаны будете! Дорогой мой, жизнь ваша решается, и не только эта жизнь, скоротечная и неверная, но и та, вечная, которая есть, к которой готовит вас Господь особой милостью Своей.

Он обнял его, уговаривал и умолял.

— Я тоже... всю ночь молиться буду! И двоих нас услышит Господь, если об одном просить будем! Моя жизнь — это три ваших! И всю мне ее отмолить нужно! Сил хватит ли! Прошу вас! Ступайте домой и обратитесь! Обещайте мне!

Алексей, наконец, высвободился, поднялся.

— Я обещаю вам, отец, что сейчас пойду домой...

Тут он прервался, глаза засветились скрытой радостью.

— ...всё уже темно, да? Значит, я полечу! Я буду лететь и думать над вашим советом. Большого обещать не могу!

Он начал торопливо прощаться со священником, глаза у того были полны слез, и он уже больше ничего не говорил, и только крестил несчастного, и что-то шептал.

Когда за Алексеем захлопнулась калитка, священник уже стоял на коленях...

Ночь была теплая и темная. На холме стоял человек и не видел был никому, кроме самого себя. Еще, может быть, видел его Бог!

Ни звука не было в ночи. А вокруг притаилось дремавшее человечество, и снились ему сны о грехах. Всё уже было! Был убит Авель и распят Христос, а убийство и распятие были забытые человечеством, как забываются детские шалости. И человек на холме под звездным небом, сын Адама, был лишь образом и подобием Адама — Адама, а не Бога, потому что о Боге он уже ничего не знал сам, а тому, что знал понаслышке, верить не мог!

Ночь была теплая и темная. Дремавшее человечество скулило во сне, как собака, обманутая в куске хлеба. Человек на холме слышал этот скулеж, но сочувствия не испытывал, он уже не принадлежал к тому человечеству, с которым разделяла его теплая и темная ночь.

Человек вглядывался в глубину звездного неба и думал:

«Допустим, есть нечто, обобщающее эту бездну материи и пустоты, имеющее в самом себе смысл всему разобщенному миру. Я могу представить его, как некий имманентный разум, я могу назвать его Богом. Но что такое Я — пылинка от пылинки, какой контакт может быть у меня с тем, что можно предположить под именем Бога?! Как нужно сократиться и упроститься этому Нечто, чтобы заговорить со мной на одном языке, моими жалкими понятиями! Человеку легче установить контакт с амёбой! Тут хоть есть некий общий принцип бытия... белок и прочее. Нелепа сама идея Бога... а я летаю!

Но довольно! Я отказываюсь больше ломать голову! Пусть теперь этим займется человечество! Завтра оно узнает обо мне! Я нанесу оплеуху одновременно и науке и религии! Ни опыты, ни книжные черви не спекулируют на мне! Пусть ползающие завидуют летающему! Летать! Летать!»

Он отбежал назад от края холма, разбежался и, вытянув руки вперед, ринулся вверх. Опьянение полетом овладело им, и больше не было никаких мыслей, никаких проблем и противоречий. Он не чувствовал своего тела, было только сознание самого себя, словно был он теперь тем, чем дол-

жен быть от рождения, — бессмертной свободной душой, не отягощенной никакими заботами плоти. Жизнь его стала полетом, и другого смысла в ней не было!

Счет времени был потерян. Он летел и знал, что никогда не устанет, как не может вечное устать от бессмертия. Машинально менял направления и не думал о том, куда летит, далеко ли...

Должно быть, прошло много времени. Неожиданно исчезли звезды, невидимые тучи перекрыли их. Он забыл, с какой стороны они должны быть. Исчезло ощущение верха и низа, вообще исчезло ощущение пространства. Земля и небо исчезли. Подъем и спуск потеряли всякий смысл. Он обнаружил себя стоящим, но где была земля, вверху или внизу, слева или справа, — пространства не было. Страх, никогда ранее не испытанный, ледяным панцирем сковал сердце. Отчаянно он начал метаться из стороны в сторону, но сторон оказалось больше, чем четыре, больше чем шесть, сторон оказалось столько же, сколько мыслей о них. Он закричал, дико и отчаянно, но человечество, даже если оно и было где-то рядом, спало и не услышало его крика. Он понял, что потерял землю. А без нее, как оказалось, невозможно жить! Бог дал ему крылья, а земля отказала в при-тяжении...

Задохнувшись от крика, он всей данной ему силой полета кинулся куда-то...

Всю ночь отец Вениамин провел в молитве и слезах. Обессиленный, к утру задремал на полу перед иконостасом. Разбудила его соседка, что обычно в седьмом часу приносила ему молоко. Обеспокоенно спросила, здоров ли батюшка. Потом рассказала, что беда случилась в деревне. Человека убили ночью. Доярки утром шли на ферму и увидели. Молодой такой, красивый, говорят...

— Где? — крикнул священник так, что напугал женщину.

— Милиция с району приезжала, забрала.

С удивлением смотрели проснувшиеся жители деревни на священника, почти бегущего по улице с развевающимися по ветру волосами и бородой.

Деревенская фельдшерица оторопела, когда к ней ворвался священник. Он не поздоровался.

— Скажите, вы видели его?

— Кого? — еле выговорила девушка.

— Юношу... убитого...

— Видела, — ответила она, не понимая, чего от нее хотят.

— Что с ним?

Она наконец обрела дар речи.

— Не знаю, так, как будто он с самолета упал... весь разбитый...

Когда вбежал в свою квартиру, дверей не закрыл, у порога не задержался, с размаху упал на колени перед иконостасом и захлебнулся в рыданиях...

1968—1970 гг.

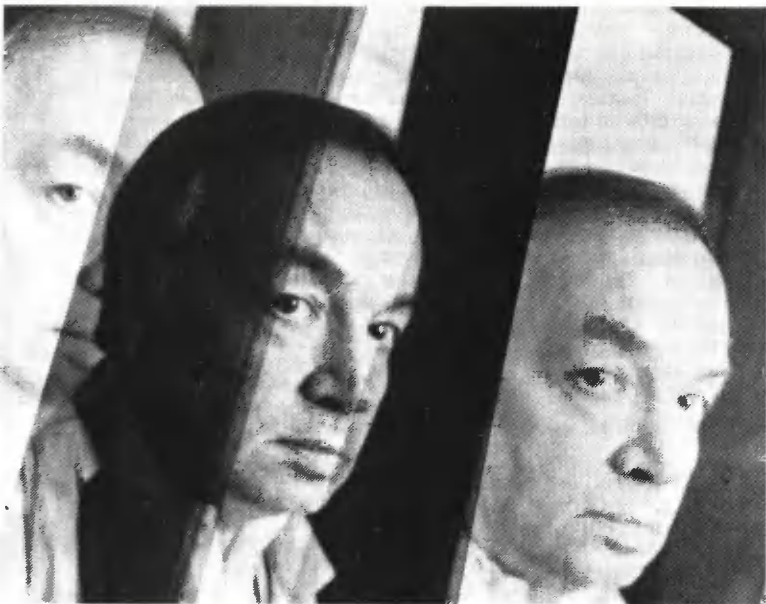


Фото Юрия САДОВНИКОВА

**Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ**

РАПСОДИЯ РАСПАДА

I
Я вышел в сад. Из сада
плыла а окна фасада
рансодия распада
а деревьях нолуночных,
в незыблнмых громадах
наращивала мощность
рансодия распада,
во рвущей сердце грусти,
а критической нагрузке
бетонной эстакады,
а несущихся свободах
в твоей душе разъятой,
в стремительных разводах,
а отпущенных солдатах,
в напрягшихся границах,
в общественных гранитах,
распавшихся в круинцы,
в самоубийствах, а клипах,
и в дулах автоматов
в футлярах из-под скринок,
в призывах Газавата,
в откачках в Зарубежье
летела центробежно —

На небе след смычковый от Омска до Невады,
и на душе вечерней...
Сыграй мне, Ростропович, рансодию распада,
виолончель алеченья!
Сыграй без исключения Ростроповичнаду
художника и черни.
Ты, как мулатку в зале, к себе поставишь задом
виолончель алеченья.

я навещал вас ночью, в года, что нет ночнее.
Влекли неодолимо
тяжелый подбородок, что схож с виолончелью
и гневная Галина.

В пуленепроницаемом окне рассвет тонорщится.
Влеку нас, Ростропович.
Не из страны — из тела — уход и возвращенье,
виолончель влеченья!

Молчала за оградой
критическая масса,
распутица расплаты.

Меж основоположников
толпа искала ложников,
шла рабская топтада,

Сыграй людские души, играй небесный почтаеник,
расправу после «браво».
чего же в душах больше — Бога или подлости,
Слава?

Мсти, Слава, за все бездны, за шаткий нуть без поручней.
Отмщение — в прощеньи.

Уводит нас небесною тропею Ростроповича
виолончель влечевая.

Не след виолончельный!
На синем чулке неба
спустившаяся нетля.

Она не виновата!
Просто душа совпала
с рансодней распада.

В несущихся утратах,
а сместившихся сатранах
полураспад Урарту,

в непонятых свободах
наращивала коду
распадняя распада.

II
Вошел я а дом обратно,
чтоб эту коду вырубить.

в телепрограмме выборов,
в распутных кадрах Вырубовой,
в божбе нартаппарата,
ревела хит-парадом
рансодия распада.

Сидела у экрана
критическая масса —
единым сонным глазом
от Омска до Кавказа —
следила за свободами
и жаждала распрааы,
подзарядив в стаканах
мистическую воду.

— Зачем все это строили?
Чтоб после разрушали?
— А из чего бы строили,
когда б яе разрушали?!

— Дави интеллигенцию!
Из вани рвались а дебаты
их дамы в полотенцах
на лбах, как Арафаты.

А малые арфята
на прутниках балконов
играли палкой ноты.

Спасите ваша тушя!
Связь живота и зада
Затягивайте туже.

Заткните уши ватой!
— в стремительно растущих
подростках на нитратах,—

отваливались плитки,
разваливались семьи,
шаталось государство,

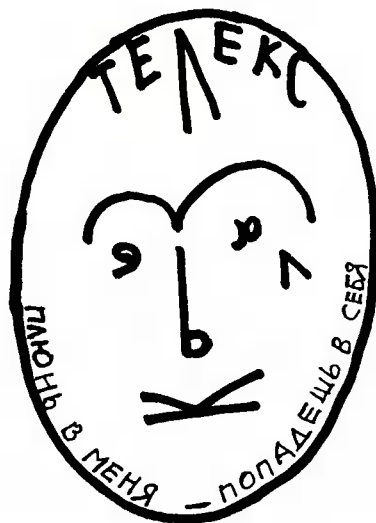
**Вошел в тебя. Ты рада!
Но тебя в тебе не было**

потом на общем пляже
на лежачке дощатом,
раскинув руки ляжешь
классически распята.
не Сын а Дочь Господня
плывешь водой опасно
В смысле креста сегодня
у нас — эмманация

Из этого-то хода
неслись клочки свободы,
великий дух народа,
и нодлый дух народа,
и Скрап и Мерседесе,
и скрипка Милосердия —
немногими разнознана,
но а каждом нарастала
всеобщая рапсодия
распада.

**Вдруг, как и встарь, предшествует
рансодия распада
новейшему Пришествию
Господнего раснитья?**

Лирическое зеркальце,
в тебе надежда зебрится,
уроду ты — коверкальце,
ребенку — солнцезайцельце,
красавице ты сердцельце,
где смотрит Аль-Рашид.
В тебя плевали, сверкальце,
топтали, били, скверкальце,
гоголевское зеркальце,
тебя не разmozжить.
Что нагадаешь, зеркальце?
Чай, чайнику — ул. Герцена,
мальцу — глаза прищельцыны,
киношникам — Брижжит...
Небьющееся зеркальце,
о чем твой телекс, зеркальце?
А разобьется зеркальце,
то разобьется жизнь.



Рембо перед зеркалом

РЕМБО ОБМЕР
ЗЕРКАЛО ПОЛА КРЕЗ
ОВИР КРИВО
ТЕЛЕКС СКЕЛЕТ
А НА НЕБЕ...

Казнь Сухаревой башни

Симеону Полоцкому

Я
башня
Сухарева
боярышня
суриковская
несущившаяся
текитеки сукровица
убиенная мазуриками
с ромбами и кубиками
На Сухаревой башенке
Иван Великий женится
в Москве землетрясение
как брачная кровать
сдайте яйца сооружению
на белке хоромам
сто лет стоять
Иван Великий женится
на Сухаревой башенке
яе строитель Чеглоков
красные дороженьки застелить велите!
почему ж повалены миллионы толп?
.....

По Сухаревой башне рыдай, Иван Великий!
Над Москвой белеет овдовевший столп.

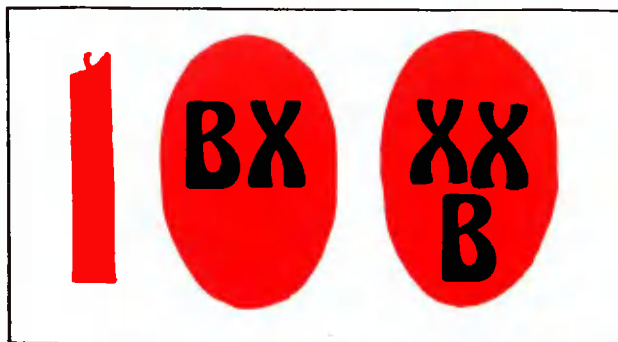
Кукурьеза

вкрались опечатки
в кукурузные ПОЧАТКИ
на полях как в лавочке
вязанные ТАПОЧКИ
кукурузные КОРОНКИ
зубы в сто рядов
НО РОККИ...

КУКУРУЗА куку хрущу
ЗА РУКУ УКушу

КУКУРУЗА
не дается
УКАЗУ РУ
ководства

К столетию Велемира Хлебникова



Нимбы

Бросками кроля в темном море,
когда плывешь ты на закат,
с тобой, как вспышки ореола,
круги брусничные стоят.

Куда ты ни переместишься,
какую мне ни шлешь беду —
я видел диски аметиста.
Я плыл с тобою в их свету.

☆☆☆

Тенистый парк. Твои плеча.
Знакомства первая притирка.
И за стеною из плюща
звук теннисного мяча —
как откупоренная бутылка.

КАК ТЫ КРИЧИШЬ САДОВАЯ СКАМЬЯ
 ИЗВЕЗАННАЯ КЛАДЬ ВАМИ ХАМЬЯ
 МАРИНА БЛЯ... СИХ МЫСЛЕЙ ОКРОМЯ
 БЛИНОВ + Ж + КРАМЕРОВ СЕМЬЯ —
 КТО ЗЕБРОЙ ОТПЕЧАТАЛСЯ В СКАМЬЮ?
 АПОМИНЕР ЗДЕСЬ РАСПИВАЛ КАМЮ
 И ВСЕ СМЫВАЯ РЕЙКИ ВНИЗ СТРУЯТ
 КАК ПО ПОРОГАМ СЕЛЬСКИЙ ВОДОПАД
 И ВНИЗ СПОЛЗУТ ВЛЮБЛЕННЫЕ ЗАДЫ
 ПО СКЛОНУ ДЕРЕВЯННОЙ ТОЙ ВОДЫ
 СЛЕТАЕТ ЮНОСТЬ БЫВШАЯ ЛЮДЬМИ
 СЕЗОННЫМ КОМПАЙРОМ СКАМЬИ
 ЗИМА ВЕСНОЙ СМЕНЯЕТСЯ В САДУ
 Но почему когда я ни ПРИДУ
 НА ТОЙ СКАМЬЕ МЫ ТЫШУЛЕТ СДИМ
 СДИМА ТЫ Я БОЛЕЕ СДИМ

Тени

Тень отбрасывает предмет.
 Тень отбрасывает людей.
 Сноны темного света с асфальта
 Отбрасывают ноги, белую юбку,
 наглые губы.
 Квадрат отбрасывает кубийство.
 Что отбрасывает
 двойная тень со стены,
 предшествующая нам?
 Истины нет. Есть тень,
 отбрасывающая людей,
 чтоб отбрасывать новых.
 Я отбрасываю тебя.

Надпись на книге
 Георгию Адамовичу
 Обдираючи аденоиды,
 сострадаaniem ночь омоючи,
 в час всемирного одиночества
 прокричу стихи Адамовичу...

Нью-Йорк — 1972 г.

13 строк

Рейс твой за горами затерялся.
 Садилось солнце. И наискосок
 луна всходила. Буря приближалась.
 И две дорожки а волнах загорались —
 как будто две пружины от матрасов —
 одна — стальная, а другая — красная.
 Оан сбивали дьяволу белок.
 Я уходил вдоль берега. Напрасно.
 Они за мной. От них не отмотаться.
 Крутилась пара винтовых дорог.
 Я лег на спинку. Душен был несок.
 Из ресторана доносились танцы.
 Играла «Салмонеллу» группа-рок.

ИЗ ЖИЗНИ КРЕСТИКОВ

— Чемпион Икс
 переплыл Стикс.
 — Крестик-с...

Пути

На проселочную глину
 отсыревшая земли
 отпечатывает шипу
 в виде зубчиков Кремля.

Беспредельная Россия,
 что за ангел иль ОРУД
 эту дактилосконию
 на дорогах разберут?

По кому дорога гонит?
 Кто раздавлен, недвижим,
 на московском небосклоне
 отпечатком этих шин?

Поэхо

Тютчев проросстил
 мыслящий тростинки.
 Я бы уточнил —
 мыслящий инстинкт.
 Эхо погрустит —
 мыслящий транзит.

В тумане моря

Абхазия — как Ориноко,
 Зеленая на голубом.
 Гуляет нарень одинокий.
 Что ищет он в краю родном?

Его не занимают музы.
 Что он ищет, золотой?
 — А автомат системы «Узи»,
 будто а «Узи» есть покой.

Гражданка

Уходят солдаты в гражданку.
 На рынках оружие в цене.
 Задравши Лады как танки,
 гражданка летит по стране.

Вражда зарождается в семьях.
 Пытают людей утюгом.
 За что нам такое отмщенье?
 Свобода и голод кругом.

Приметы? Бон у ОВИРа.
 Я белый нашел во дворе.
 Неужто под лозунгом мира
 к гражданской несем войну?

Иван ТВАРДОВСКИЙ

СТРАНИЦЫ ПЕРЕЖИТОГО

Здесь, в этом маленьком поселке, я встретил девушку. Предшествовала этому чистейшая случайность: уходя на работу, я как-то прихватил с собой мое первое письмо к маме из Нижнего Тагила, чтобы по пути забежать в отделение связи и отправить его заказным. Возле молодежной сотрудницы почты в тот момент сидела ее подруга. Их беседа, естественно, прервалась, я подал письмо и заметил, что взгляд девушки на конверт был весьма внимательным, как и на самого отправителя. Всего две-три минуты и задержался я там, но, получив квитанцию, слегка поклонился и сказал: «Спасибо!», а уходя — «До свидания!». Вот с этого-то и началось мое знакомство с той самой подругой сотрудницы почты. Сначала встречи были беглыми — когда я шел то на работу, то с работы, со своей неизменной лопатой на плече, обутый в лапти. Мы обменивались приветствиями и только. Но однажды эта девушка, идя с прорабского участка и поравнявшись со мной, сказала: «Здравствуйте!» — и, улыбаясь, добавила еще о том, что теперь знает мою фамилию: «Вы Иван Трифонович Твардовский. Фамилию я узнала еще тогда на почте, а имя и отчество мне сказала табельщица из погрузбюро Анихимовская».

— Ну вот и прекрасно! Смело просить вас назвать ваше имя, и мы будем добрыми знакомыми!

— Моя фамилия Романова, зовут меня Маруся! Будем знакомы, и первенство по идее принадлежит мне! Согласны?

Мы пожали друг другу руки, продолжая идти. У подъезда одного из двухэтажных домов она остановилась: «Здесь я живу вместе с сестрой, — указывая на окно квартиры, сказала, — если пожелаете — приходите, пожалуйста!»

Поблагодарив за любезное приглашение, я ушел к себе в общежитие. Про себя, между прочим, пытался определить, кто она есть. Хотя, в сущности, это никакого значения не имело, я искренне был рад моей встрече, тайно мечтал о настоящей дружбе, о счастье, о прекрасной и долгой весне и всех земных радостях, которыми так вот щедро может одарить судьба, — мне было тогда двадцать три года...

В связи с тем, что прибыл я на стройку одновременно с группой освободившихся из лагерей и в общежитие поселился вместе с ними, то так само собой получилось, что к этой категории жителей поселка я и был причислен, то есть к тем, кого если не в глаза, то про себя называли «колонистами» или «лагерниками» и считалось, что, дескать, надо подальше от них. Собственно, по этой причине терять мне было нечего, и я не старался где-либо доказывать, что, мол, «не за того принимается!» — был убежден, что человек познается в делах и ничто другое не может играть важной роли.

Как-то свободным вечером я наконец вознамерился побывать у своей милой знакомой, которую я называть стал Машей — мне казалось, что так теплее и ласковее. Мы уже часто встречались, Маша многое успела мне рассказать о себе и о судьбе своей семьи. Жила она со старшей сестрой и семилетним братишкой, занимали в комнате лишь один угол, поскольку здесь жили еще три подобных им семьи, с той лишь разницей, что две были супружескими парами. На душе там приходилось не более двух квадратных метров площади. Видя такую тесноту, становилось не по себе, казалось, что так жить могут только отверженные, несчастные люди. Так жили уцелевшие спецпереселенцы на восьмом году со дня ссылки.

Маша Романова была спецпереселенкой. Она родилась в 1917 году в семье крестьянина Тюменской области. В 1931 году эта семья была раскулачена и выслана в район строительства Уралвагонзавода. От голода и болезней в 1932 году умерли отец, мать, сестра отца и младенец — девочка. Маша и ее старшая сестра Прасковья на похоронах не присутствовали — их не отпустили с работы, и для них осталось неизвестным, где, как и кто хоронил их родных. Все это было чистой правдой, и когда я услышал рассказ Маши обо всем, что пережила она в ссылке, то она стала мне родной и самой близкой навсегда.

В начале апреля я был назначен десятником погрузбюро. Произошло это не по моему собственному желанию, но вот — произошло. Дело, может, в том, что за сравнительно короткий период в не столь многочисленном коллективе я дважды был премирован за работу в необычайно сильные морозы — температура понижалась до 43—45 градусов. Таким, видимо, образом я стал приметен у администрации и был приглашен к начальнику стройконторы, в его кабинет. Учтиво поприветствовав, он предложил мне присесть поближе, в кресло, и начал наш разговор примерно так:

— Простите, вас как звать, товарищ Твардовский?

— Иван Трифонович.

— Ну так вот, Иван Трифонович, мне известно о вас, как о хорошем и дисциплинированном рабочем, и есть, значит, соображения назначить вас на должность десятника погрузбюро. Что вы можете сказать по поводу такого моего предложения?

Честно говоря, такое предложение было неожиданным. Любые встречи с начальством для меня ассоциировались с чем-то неприятным.

— Попробуйте! — продолжил он. — Мне кажется, и я надеюсь, дело у вас пойдет.

Нелишне вспомнить, что в те годы даже неполное среднее образование было далеко не у всех, так что и должность десятника представлялась никак не меньше, как должность среднего техперсонала, шла по категории ИТР. В столовых имелись отдельные места, и не должен был такой «ответственный» находиться в общежитии вместе с рабочими. И конечно же, не должен был носить лапти, быть небрежно одетым, словом, он должен был быть заметным, помимо всего, и своим внешним видом. И ни в коем случае не держать себя запанибрата с людьми, находящимися под его руководством. К счастью, все это мне было известно — калачом я был уже достаточно тертым.

Новым начальником железнодорожного отдела был назначен инженер Богинский Сергей Андреевич. С именем этого человека связаны самые светлые дни моей работы в те годы на Урале, вплоть до призыва меня в июне 1940 года на службу в Красную Армию. С первого дня знакомства я увидел в нем серьезного, но очень общительного человека, умевшего быть требовательным и щедрым на внимание, на бескорыстную помощь как по службе, так и вне ее. Безусловно воспринимал несправедливости по отношению к спецпереселенцам, сочувствовал, что в гражданском правовом отношении они оставались ущербными многие годы. «Не могу понять, — говорил, — почему эти трудолюбивые люди низведены до положения форменного рабства?! Ведь это позор социалистическому обществу!»

7 июля 1938 года, «надев свое лучшее платье», как сказал поэт, мы с Машей отправились в центральный поселок — на Вагонку, чтобы зарегистрироваться в загсе. «Мы должны быть только счастливы!» — эти слова вертелись в нашем сознании сами по себе.

Регистрация брака свершилась без осложнений: я предъявил паспорт, Маша — полученную от комендатуры справку, служащая бюро загса произвела запись, поздравила с вступлением в брак, пожелала быть счастливыми.

Свадебного застолья предусмотрено нами не было. Чтобы хоть немного придать торжественности нашему задушевному счастью, зашли в ресторан, что, кстати, был тут же рядом, в одном из временных сооружений, заказали почему-то (скорее всего по незнанию) бутылку какого-то розового ликера, что-то из съестного, этим и закончили наше интимное застолье. Первым, кто нас поздравил, был инженер Богинский Сергей Андреевич. От него же нам было дано разрешение поселиться в комнате бывшего начальника железнодорожного отдела.

Вряд ли нужны подробности о начальном периоде нашей семейной жизни. Должно быть понятным, что у невесты-спецпереселенки не могло быть какого-то припасенного имущества, была она, по существу, совершенно неимущей. И де-

ижных средств у нас нашлось лишь на покупку двух стульев, примитивного кухонного стола, самой дешевой кровати, кое-чего из необходимой посуды. Вот и все, чем могли мы обзавестись для начала. Но мы были счастливы тем, что так вот, самостоятельно, без каких-либо вспомоществований вышли из затруднений. Собственно, мы не были каким-то исключением — так же примерно начинали и другие только что поженившиеся супруги.

Все у нас как-то ладилось, как могли, улучшали и украшали мы наш быт. И так славно было на душе, что свела нас судьба, и, казалось, весь мир стал краше и добрее. А тут и радиоприемник приобрели. — слушали и не могли наслушаться, засиживались до глубокой ночи. И был случай, когда в один из таких вечеров по радио выступал поэт Михаил Васильевич Исаковский, автор той самой, тогда еще только появившейся песни «Катюша». И помнится, что свое выступление он начал словами: «Родился я на Смоленщине...» Это было так трогательно для меня, слышать голос земляка, которого случалось видеть и быть с ним рядом, — сердце мое сжималось.

В мае 1939 года у нас с Машей родился первенец. Мы перебрали множество русских мужских имен, чтобы окончательно решить, каким именем назвать нашего крошкуссына, — остановились на имени Валерий. Я должен был поехать в загс и выполнить эту святую обязанность родителей. Зарегистрировать новорожденного.

Войдя в помещение загса, я обратился к сотруднице с просьбой.

— Давайте ваши документы! — были ее слова, когда я присел.

Документы у меня были приготовлены, и я подал свой паспорт, справку от комендатуры на имя жены Марии Васильевны и справку из больницы о рождении ребенка.

— У матери новорожденного паспорта нет — она спецпереселенка, — объяснил я, не предвидя, что из-за этого может не состояться акт регистрации, и поспешил добавить, что вместо паспорта у меня есть справка от комендатуры.

— Нет, нет! — вспыхнула сотрудница. — Что вы! Регистрацию новорожденных спецпереселенцев производит только комендатура НКВД! Мы не можем ее подменять!

— Боже мой! Как же так?!

— Ничего не знаю! Новорожденный — дитя спецпереселенки и по положению должен быть зарегистрирован по группе спецпереселенцев.

Наверно, не смогу я передать, что в те минуты происходило во мне, в моем сознании. Я готов был рыдать и проклинать все и вся. И свое имя — тоже. Я не знал, как и что сказать жене, придя домой! Упрекнуть тем, что она родилась у родителей, которых сталинская репрессивная машина загнала в могилу? «Что же делается на нашей земле?» — думал я.

Скрыть от жены то, чем закончилось мое посещение загса, я не считал возможным и только боялся, как бы не возникло у нее подозрение, что я могу испытать разочарование от того, что мы стали супругами. Она не знала, что сам я тоже был таким же спецпереселенцем и в полной мере познал положение изгнанника. Однако открыться ей в этом я не спешил — не хотелось огорчать ее: никто пока об этом не знал, приехал я в Нижний Тагил добровольно и была еще надежда, что все уладится само собой. В дальнейшем, правда, Маша узнала, что семья Твардовских была в ссылке, но узнала не от меня и потому тоже не сказала об этом мне.

Пока я добирался до дома, все думал, как лучше объяснить Маше, что регистрация не состоялась. Пришел к тому, что сказать нужно только правду, но ни в коем случае не выражать огорчений. Словом, суметь не придать случившемуся серьезного значения: говорить, что есть же Сталинская Конституция, где сказано ясно, что сын за отца не отвечает и самоуправству хода не дадут. Было похоже, такой прием мне удался — заметных беспокойств Маша не выразила. Решил я еще поговорить с Богинским, в надежде, что он подскажет, как лучше поступить.

Богинский терпеливо и внимательно выслушал меня, искренне посочувствовал нам с Машей и, пораздумав, пришел к выводу, что допущено нарушение закона о правах граждан: «Ну, раз дело приняло такой оборот — обещаю тебе покопаться в юридических справочниках и не позднее завтрашнего дня, надеюсь, буду в курсе законоположений».

На завтрашний день Сергей Андреевич сказал следующее: «Справочники я пересмотрел и убедился, что есть смысл отправить письмо товарищу Сталину. Это же черт знает что происходит: новорожденного зачислять в списки ссыльных!

Нет, нет! Я напишу такое письмо товарищу Сталину, что местным мудрецам не поздоровится! Ты перепишешь своей рукой, отвезешь на почтамт и сдашь заказным на имя Генерального секретаря ЦК ВКП(б) — Иосифа Виссарионовича Сталина. Тут, брат, никто не рискнет вскрыть. Вот так, дорогой мой!»

Письмо Сталину было написано Сергеем Андреевичем и прослушано мной в чтении самого автора. В подлинности передать содержание того письма, конечно, не берусь, но были в нем и вера, и любовь, и надежда, и просьба прислушаться с отеческой заботой и мудростью Великого вождя и учителя, чтобы преградить попираание конституционных прав граждан ведомой им Великой социалистической страны.

По наивности моей, помню, я не мог удержаться и самым честным образом ронял слезу, потому как не мог и мысли допустить, что такое письмо не возымеет действия даже на окаменевшее сердце.

Переписал я письмо своей рукой, старательно, ни боже мой, не допустил никаких ошибок в тексте и сразу же помчался на городской главпочтамт. Надеюсь, читатель поймет, что конверт с адресом «Москва, Кремль, Иосифу Виссарионовичу Сталину» в те годы любого почтового работника вводил в оторопь.

— Самому?... переспрашивали и ждали подтверждений, не ошибка ли это.

— Так, так точно, товарищу Сталину! — отвечал я на полный серьез, хотя было и чувство риска.

Около трех недель я ждал ответа на мое письмо Сталину. дождался... нас посетил представитель комендатуры НКВД. Он дал понять, что «...ответ на письмо в Москву получен из области в адрес районной комендатуры...». Назначил день моей явки в комендатуру, имея при себе документы для регистрации новорожденного.

— Вы теперь убедились, что писать в Москву бессмысленно, — сказал представитель НКВД с показным чувством вершителя судеб, — комендатура правомочна решать на месте любые вопросы. И не повторять впредь подобные действия — для вас же будет лучше.

Комендатуру я нашел на поселке Пихтовка в одном из барачков, где и встретил уже знакомого представителя НКВД. Принял он меня, как человека в чем-то провинившегося, с покровительственной улыбкой, какую может позволить себе сильный к слабому.

Показал мне мое письмо, возвращенное с приколотой служебной запиской с грифом «Секретариат ЦК ВКП(б)...», адресованной Свердловской областной комендатуре НКВД.

Эта моя встреча с комендантом на поселке Пихтовка закончилась тем, что мне было вручено свидетельство о рождении сына Валерия. На этом документе стояла треугольная печать с текстом Нижне-Тагильской комендатуры НКВД. И хотя не было упомянуто, что мать новорожденного является спецпереселенкой, но факт регистрации в этом учреждении сам по себе оставался несмываемым клеймом на имени сына, и это меня томило и жгло мою душу: нам было отказано в самых элементарных гражданских правах. Эти душевные раны мы хранили в глубокой тайне — не посвящали ни родных, ни знакомых, знали из опыта, что откровенность не приносит в таких случаях ничего, кроме неприятностей.

С начальником железнодорожного отдела, Сергеем Андреевичем Богинским, складывались у меня самые добрые отношения. Обнаружив во мне интерес к познанию принципов нормирования труда и то, что я мог свободно пользоваться логарифмической линейкой, он предложил подготовить меня на должность нормировщика. Я был очень рад его вниманию и начал энергично знакомиться и изучать основные слагаемые элементов различных работ. Сергей Андреевич был удивлен результатами моих стараний и высказывал мнение, что я вполне могу справиться с обязанностями нормировщика отдела, что, между прочим, вскоре и произошло. Воодушевленный этим, в моем представлении, успехом, я не остановился: прошел трехмесячные курсы повышения квалификации, где узнал много нового об основах планирования, статистике, бухгалтерском учете, сметных работах, экономике производства. Все это благотворно влияло на мое сознание и помогало преодолевать чувство подавленности.

В сентябре 1939 года я получил отпуск. Еду поездом к брату Константину на Ставропольщину. Настроение хорошее. Конечно, я знал о событиях в Польше, но еще не думалось об испытаниях, предстоящих нашему народу.

В Москве была пересадка, встретился я с братом

Александром в Большом Могилевском переулке в доме (в районе Арбата), где он тогда жил. Брат обещал посидеть насчет билета и сделал это — закомпостировал в особой кассе, имея на это какие-то права. Но прежде чем я отправился на вокзал, он дал мне познакомиться с новым изданием «Страны Муравии». «Это пока лишь сигнальные экземпляры, займись, почитай», — сказал он, — а вообще, знаешь, увезешь Константину, давай-ка я надпишу». Он взял книгу и хотел было идти, но приостановился и сказал: «Пойдем, кабинет посмотришь!» Мы прошли по передней прямо, повернули в какой-то узкий коридорчик и вошли в квадратную комнату, где стоял его письменный стол и очень много, как мне тогда показалось, книг на полках вдоль одной стены. Я был удивлен и спросил: «Неужели можно все эти книги прочесть?» Он улыбнулся: «Прочесть... Не прочесть, а изучить, по-настоящему их знать нужно!» На титульном листе «Страны Муравии» он написал: «Брату Константину Трифоновичу с пожеланием всего доброго. М. 14.09.39. Александр».

— А это вот — тебе! — И вручил мне книжку «Дорога» с похожей надписью.

В кабинете мы задержались, присели.

— Засиделся я, Иван, в этом мрачном склепе, солнце сюда не заглядывает, — начал он. — Крайне надо бы «проветриться». Вот уже и полнота, чувствую, начинает появляться. Да, кажется мне, что обстановка в мире складывается опасная: фашизм топчет польскую землю, а это же совсем рядом. Кто знает, что мы можем ожидать? Ну, а как ты там живешь? Говоришь, женился? Не внял моему совету не спешить? Ну что ж... лишь бы все было хорошо. И сын уже есть? Поздравляю, поздравляю! Как назвал? Валерием. Понял. Ну, а меня можешь поздравить с вступлением в ряды Коммунистической партии. И, понимаешь, я не просился, — продолжал он. — Считал и верил, что должен быть час, когда мне скажут: «Иди к нам!» И оно, такое время, пришло.

«Страна Муравия» для меня уже не была свежей новостью — читал, кое-что помнил наизусть и с особым интересом читал то, что попало из написанного об этой поэме. Но тут под руками было новое издание, и я наугад раскрыл книгу на 8-й главе и пробежал по знакомым строчкам до «И мальчик, точно со слепым, идет по праву руку с ним». Мне вспомнилось кое-что из знакомой истории, и я перевернул еще страницу: «А вот откуда ж ты теперь, Илья Кузьмич, бредешь?» — «Бреду оттуда...» Я сразу представил образ отца, слабого братишку Паалика, и тут брат, неся на подносе чай. «Заглянул? — спрашивает. — Ну, скажи: остается, — приложив палец к виску, — что-нибудь?»

— Да как же нет? Очень даже остается! Можно сказать — осталось! Но это в общем, о всей вещи я говорю. А скажи мне, о чем я мог вспомнить, читая вот эти строки?

Он посмотрел, на чем я остановился, и: «Понял! — говорит. — Батю нашего ты вспомнил!» Тогда же я сказал брату, что, мол, читая «Муравию», встречаю обороты речи главного героя, отдельные слова и образные сравнения, которые очень живо напоминают мне отца. И «То конь был — нет таких коней! Не конь, а человек», и «Трулля — трулля — трулля-щи! Пропил батька лемеша...», и всякие «Как хватит, хватит...», и «бубочка», и «шмякнул», и сама песенность отдельных мест — от отца у тебя. Ведь стоит только вспомнить, — говорю я брату, — как отец, возвращаясь из поездки, начинал рассказывать что-либо про лошадей, а такое случалось не так уж редко, то именно как-то так он и говаривал: «...нет таких коней! Не конь, а человек!» И дело не в областничестве, хотя говор у него был смоленский, но, однако ж, какой-то именно ему присущий.

— Да, — ответил он, — отрицать такое не буду, в его речи много было интересных особенностей.

Провожая меня на вокзал, он был молчалив, но вот вдруг:

— Ты понимаешь, я замечаю, что в народе есть что-то тревожное.

На вокзале он задерживаться не стал, попрощался тепло, еще раз напомнил передать Константину его приветы, затем крепко так сжал мне руку и тихо сказал: «До свидания, Ваня!», оставил меня, и тут же я потерял его из виду.

Прибыл я на Расшиватку темной непроглядной ночью, какие только и бывают в южных степных районах. И так плохо все сложилось: темень крошечная, местность незнакомая, до хутора оказалось что-то более двадцати километров, и никто меня не встретил.

Но вот дождался-таки утра, узнаю, что неподалеку есть

элеватор, и чтобы уехать, надо быть там: из станиц и хуторов машины с зерном идут на элеватор. Молодой шофер соглашается взять меня.

Мы въехали в хутор Фельдмаршальский, единственная улица которого протянулась на несколько километров, и по всей улице — стаи белых кур. Подъехали к правлению колхоза имени С. М. Буденного, и здесь, не успев еще соскочить с машины, я услышал женский голос: «Иван Трифонович! Добро пожаловать!» Это была Евдокия Кононовна, жена Константина.

Видела она меня впервые, как и я ее, но без ошибки опознала, узрев некое сходство с братом. Константина я увидел издали, он шел с арбузами, остановился, всмотрелся и — ношу прямо на землю, широким шагом — навстречу нам.

Здесь должен сделать небольшое отступление ради любопытных подробностей, за что прошу читателя извинить меня.

Старший наш брат оказался на Кубани, освободившись из заключения, где отбыл три года за побег из района спецпоселенцев. Кубань встретила его не приветливо. В нескольких местах, куда он обращался насчет работы, получили отказ: лагерная справка срабатывала не в его пользу. К тому же и вид его не внушал доверия: одет был в обноски, обувь совсем негожая. «Что делать? Куда податься?». Было от чего голову повесить...

Это произошло летом 1935 года в городе Армавире.

Случайно, где-то в пути ему подарили книгу Н. Островского «Как закалялась сталь». С этой книгой он не расставался и носил ее постоянно при себе. Неудачи с устройством на работу так измотали его, что, будучи уже на грани отчаяния, он решает пойти в управление ОГПУ, чтобы узнать «от самого главного», что ему остается делать и как быть, если нигде не хотят принять на работу.

В присмной ОГПУ спросили, кто он есть и по какому вопросу хочет обратиться.

— Я не знаю, кто я есть. Хочу видеть начальника, который мог бы ответить на мой вопрос.

Начальник заинтересовался странным посетителем и неловко привел его к нему в кабинет.

О дальнейшем брат рассказывал так: «Когда я вошел в кабинет, начальник откинулся на спинку стула и несколько секунд смотрел на меня молча. Молодой, лет, может, тридцать. В петлицах «шпала», ремни, значки. Ну все как и должно быть — начальник. И вопрос ко мне: «Что вас заставило прийти к нам?» Отвечаю, что так и так, мол, не с добра, ясно... Не знаю, как мне дальше быть и куда деваться. Куда бы ни обратился насчет работы, отказывают. Посмотрите мой документ и скажите мне: кто я такой есть? И стал доставать из грудного кармана свою справку, а книга-то в руке у меня, засуетился: туда-сюда, из руки в руку и — раз ее на стол, а он: «Стоп-стоп-стоп! «Как закалялась сталь»! Где вы смогли ее найти?»

И вот сразу я почувствовал совсем другое внимание ко мне.

«Вы любите книгу? Вы читающий?» — спрашивает. «Да, — говорю, — книга для меня — самый близкий и самый надежный друг».

Посмотрел на мою справку, несколькими вопросами коснулся судьбы. «Ну что ж, Константин Трифонович, — сказал, — не попробовали ли вам устраивать свою жизнь... в колхозе? Я могу сейчас же позвонить в Прочноокопскую — это совсем рядом, за рекой. Кстати, есть там и кузница, и дело может пойти на лад. Как вы?» «Я — с радостью! Спасибо!»

Книгу «Как закалялась сталь» я ему подарил.

В большом, построенном не без выдумки доме некоего кулака брат занимал лишь небольшую часть из двух комнат, причем одна из них была складом зерна, полученного на трудодни. И сразу мне стало ясно, почему на улице хутора так много кур — у всех колхозников некуда было девать зерно.

— Вот так, Иван, и живем, — начал Константин. — В зэрис купаемся, а денег — ни гроша! Правда, продать можно, но надо везти в горы, к черкесам, а для этого нужен транспорт, а его-то и нету. Приходится ждать, когда освободится колхозный, да и тогда, опять же, не вдруг его получишь: нуждающихся много, и... — он махнул рукой, — да что это мы... Пойдем-ка, подолью я тебе водички, тебе с дороги надо освежиться, а ты, Дуся, делай что положено в таких случаях, — улыбнулся, — басни — баснями, а дело — делом.

Я гляжу на брата и вспоминаю строки из стихотворения

«Братья» Александра Трифоновича: «Что ж ты, брат? Как ты, брат? Где ж ты, брат?» Вижу, понимаю: положение пока незавидное.

Под тутовым деревом, у крылечка, вода в разных посудинах: в бидонах, бочонках, ведрах... Брат поясняет, что вода у них — вопрос не пустячный, что пресной в местных колодцах нет, привозят откуда-то за несколько километров, а поэтому собирают дождевую. Но дожди выпадают не так-то часто, и благодатный, казалось бы, край имеет свои минусы. Но местный, степной житель, отмечает брат, ничего такого не скажет. Он приспособлен, степь — его родная стихия, нет пресной воды — есть кавуны, а то и подсоленная вода идет за первый сорт. А нас, приезжих из России, они здесь считают «кацапами», которым только и «жить в лесах да лапти плести». «Это, знаешь, от их прежней казацкой вольности удерживается: «Мы — казаки!»

Но вот Евдокия Кононовна просит к столу. С искренне сердечным вниманием она спешит объяснить, что это, мол, лишь пока, наскоро, для начала, что по-настоящему — немного попозже, а сейчас «пожалуйста, пожалуйста!». Она вся в движении и старании выразить свое гостеприимство, и это ей удается вполне, а я, со своей стороны, достаю из чемодана припасенный для нее подарок, брату передаю «Страну Муравию» с приветом и добрыми пожеланиями от Александра Трифоновича и на стол ставлю бутылку токайского вина. В этот момент, слушая слова благодарности Евдокии Кононовны, я смотрел на Константины — в его руках была «Страна Муравия» — и замечал на его лице отрешенность от всего сиюминутного. И хотя длилось это, может, только одну минуту, в ней нельзя было не заметить скрытую тайну в отношениях между моими старшими братьями. Разгадать ее я не мог, но во мне клубились всякие, забегавшие в прошлое мысли...

Прочтя на титульном листе дарственной надписи, без риска можно сказать — прохладного содержания, в которой, на мой взгляд, очень не хватало одного слова — «Дорогому», он передал книгу жене, а сам встал и молча прошелся по комнате, нервно дотрагиваясь одной рукой до подбородка, держа другую на бедре, но тут же встряхнулся и, слегка кашлянув, присел к столу.

— Ты о чем. Костя, зажурился? — спросила Евдокия Кононовна.

— Э-э, Дуся! Тут совсем другое... Давайте выпьем по чарке!

На вопрос Евдокии Кононовны брат не стал отвечать за столом, видимо, не хотел при жене касаться глубоко личного. Однако он не выказал себя и чем-то огорченным — оставался радостно настроенным и нашу беседу направлял на безобидные воспоминания об отце, о жизни ушедших и о всем таком, что может заполнить вакуум в непосредственном общении.

Мы вышли на улицу, и брат начал рассказ.

— Поиимаешь, Иван, как бывает порой, невыносимо больно сознавать свое положение... — говорил он. — Живу, как видишь, в нужде, как безродный пришелец, а в душе я — истинный патриот, и когда случилось читать мне «За тысячу верст», то и передать тебе не могу, как это стихотворение меня тронуло! И надо ж было Александру так точно передать голос души! Только сказать: «За тысячу верст от родного порога проселочной, белой запахнет дорогой...» или: «Ольховой, лозовой листвою запыленной, запаханным паром, отавой зеленой; Картофельным цветом, желтеющим льном и теплым зерном на току земляном...» Ну как тут не заносит сердце?! — продолжал он. — Вот она, жизнь и поэзия жизни! Но Александр — поэт, и ему дано все, чтобы голос его был слышен миллионам! И, конечно же, я рад, что он одарен щедро, но... ты знаешь, вот уже почти десять лет, как от него не получаю ни строчки, ни слова. Но нет, я не совсем точен¹. Вот как было. — Он прервал свой рассказ и заметил: «А хутор-то у нас позади... Вот она, и степь, перед нами! Но это, пожалуй, и хорошо, что в степи оказались: мы двое в степи, никто нам не мешает. Так вот, слушай! Был такой период, еще в Прочноокопской. Там я так доработался, что обносился до самого края. И вспомнить неловко: штаны в дырах, и кальсонов на мне не было. Ну, а чтобы как-то их зашить, подлатать, представь, просто не было возможности куда-либо укрыться от людских

глаз, — штаны ведь надо снять. Вот и уходил я в степь, чтоб никто не видел меня. И, понимаешь, оказалось, что если уйти подальше, то полная гарантия, что никто тебя не видит, а ты — наоборот, хорошо видишь, что близко никого нет. Вот, брат, какая беда у меня была.

Выход, конечно, нашлся не так-то сразу. Выручила меня теперешняя моя жена — Дуся. Но тогда-то она не была моей женой, да и знакомой назвать ее не мог я. Рассказал ей, что вынужден уйти из колхоза, на время, чтобы поработать где-либо за деньги. Да и о том сказал, нет ни рубля, дескать, на первый же день. Дала она мне денег и сказала: «Будут — отдашь, а не отдашь — тоже не велика беда». Да ведь и у нее же, я понимал, это были не деньги — копейки, сбереженные великим терпением. Вот тогда и поехал в леса Усть-Лабы, на заготовку дров. Она же, Дуся, и посоветовала мне так сделать. Так вот и стала она дорогим для меня человеком — другом, о котором начал думать с волнением...

Утром следующего дня, кажется, это было 17 сентября, мы узнали из газет, что Красная Армия начала освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину. Это было столь значительное событие, что наши беседы приняли совсем иной характер: ожидать можно было самого непредвиденного, и я затерялся к своей семье на Урал.

Это были первые дни похода Красной Армии, и новостями жила вся страна. Пока все происходящее еще не давало повода для больших тревог.

Осенью 1939 года строительство закончилось. Железнодорожный отдел был передан в ведение предприятия. Таким образом из строительной организации я был автоматически переведен в транспортный отдел завода оборонной промышленности. А это означало, что меня непременно обяжут пройти пересформление, где вновь придется заполнить анкету с множеством уже известных мне вопросов: социальное происхождение, причастность родителей, связи, отношения и прочее, и т. д., что неминуемо может закончиться так же, как на «Можерезе». Не делаясь даже с женой этими мыслями, я постоянно чувствовал тяжесть несправедливости и душевной угнетенности, не видя даже в отдаленности выхода из этого заколдованного круга судьбы.

Но неприятности и несчастья подстерегали нас не только по месту работы, но еще и в самой семье. Маша стала замечать, что наш маленький Валерка не совсем здоров, что с головкой у него что-то неладное — было ему уже семь месяцев от роду, пора бы ему уже и сидеть, но мальчик с трудом поворачивал голову, не мог ее удерживать прямо. Внимательный осмотр доктором закончился тем, что он не исключал водянки мозга, а это означало самый неблагоприятный исход.

— Болезнь неизлечима! — сказал этот уважаемый человек. — Такие дети живут только до двух-трех лет, а если и больше, то как инвалиды детства.

Вот в таком безысходном положении, терзаясь своей беспомощностью, прожили мы, наверно, дня два. По радио передавалась какая-то статья об удивительном человеке, профессоре Свердловского мединститута, хирурге Лицком. Рассказывалось о почти невероятных случаях в его практике, когда безнадежно больных он возвращал к жизни. И мелькнула у меня мысль: «Не попробовать ли обратиться к этому профессору-хирургу, и если уж и он не в силах будет приостановить течение болезни, то хотя знать будем, что мы сделали все, что могли». Решили отправить письмо в Свердловский радиокомитет.

Прошло не более недели, и ответ нам пришел: из радиокомитета сообщали, что мы можем поехать прямо в клинику, где профессор Лицкий примет и обследует ребенка. Был указан адрес и день возможного приема. В те дни января 1940 года морозы стояли небывалые, минус 40—45 градусов, но ничто нас не могло остановить.

Профессор Лицкий был уже тогда довольно пожилым человеком, высокий, медлительный и сдержанный в высказываниях. Выслушал нас очень внимательно, обратил внимание на незарастающее темя у младенца, после чего сказал: «Да, у него водянка мозга».

В заключение он сказал, что гарантии на успех операции он дать не может, но если мы будем согласны, то может положить на исследование и операцию. Мать должна оставаться при ребенке.

На вокзале в Свердловске я увидел большое количество людей в одежде, как-то резко отличимых от привычных наших. Оказалось, что это была большая партия прибывших из западных областей Белоруссии и Украины. Этих

¹ В журнале «Сибирские огни» №№ 2—3 за 1988 год опубликовано 27 писем А. Т. Твардовского к брату Константину. Первое из них датировано 1951 годом, то есть в 1931 году в течение 20 лет переписки между братьями не было. (Примечание автора.)

людей было так много и все они свободно ходили по вокзалу, казалось, что все их интересовало, но понять сразу было трудно: то ли они были рады, что оказались на Урале, или же просто присматривались к новой для них обстановке. Мне показалось тогда, что выглядели они, в своей вполне добротной одежде, совсем не бедными людьми, хотя при них не замечалось какого-либо багажа. Кстати, среди них было много евреев и поляков. Их везли в Нижний Тагил, на стройки.

Возвратясь домой, я встретился с Сергеем Андреевичем Богинским и услышал, что он увольняется.

— Почему так решил, спрашиваешь? — ответил он мне вопросом и продолжил: — Ну, во-первых: положение «зама» меня не устраивает. Во-вторых: есть еще некоторые причины, но об этом... Да, а тебе, скажи, разве спецчасть не предложила заполнить анкету?

— Да, Сергей Андреевич, предложила. Я заполнил.

— И о том, что жена из...

— Что вы, Сергей Андреевич, хотите сказать?

— Так ясно же, что и о чем! Что она — спецпереселенка!

— Нет, об этом не сказал.

— Вот! А мне уже известно, что из этого поселка планируют переселить спецпереселенцев, километров так за 40, кажется, на станцию Ива, что по дороге на Нижнюю Салду! Вот так, дорогой мой Иван Трифонович! И хотя меня все это ни в коей мере не касается, не хочу работать там, где существует система выискиваний всяких там «опасных», «чуждых» и прочих «неблагонадежных».

Этот диалог произошел на квартире Сергея Андреевича. Пришел я к нему, чтобы как-то развязаться от своих мятущихся мыслей в связи со столь серьезной болезнью сына, а получилось, что лишь добавил еще огорчений к тому, что было. Сергей Андреевич был в плохом настроении и, казалось, занят был мыслью о чем-то еще не совсем решенном. Вот он было замолчал, задумался, слегка барабанил пальцами по столу, тут же встряхнулся, оживился и выпалил: «Иду на «Коксохимстрой»!» Рассказал о том, что предлагают ему должность начальника планового отдела, что сожалеет, что раньше об этом не подумал... Как стало известно позднее, уход его был не по собственному желанию.

Для меня не было большой новостью то, что Сергей Андреевич упомянул о возможном перемещении спецпереселенцев из поселка оборонного завода и что меня это может коснуться. Мне об этом официально и не было известно, но предчувствия подобных мероприятий властей меня не покидали.

В один из особо морозных дней января 1940 года мне случилось быть свидетелем того, как шофер автобуса отказывался отвезти сотрудников дирекции завода на представление балаганного цирка. Свой отказ шофер мотивировал тем, что мороз в тот день удерживался на отметке минус 45—48 градусов и были у него опасения разморозить радиатор. Представитель же дирекции (ни фамилии, ни должности его я не знал) никакие доводы шофера во внимание не принимал, был возмущен отказом шофера, настойчиво требовал выполнить его приказ. И тут черт меня дернул вмешаться в этот эпизод: я посмел поддержать шофера.

— Что же вы так безразличны к справедливым доводам водителя? Для вас, что же, никаких законов не существует? — сказал этому представителю дирекции, одетому в добротное меховое пальто. И тогда весь свой неуправляемый гнев он обрушил на меня: «Ах, так! Как ваша фамилия?! Твардовский?! Очень кстати, что вы попались мне на глаза! Завтра же придите в отдел кадров завода!»

Автобус, кажется, в тот памятный день не был отправлен, но мне на другой день в отдел кадров пришлось-таки пойти.

Начальником отдела кадров завода был некто Лебедев. Тот самый человек, кто предложил мне: «Завтра же!» Конечно, было ясно: член ВКП(б), из сотрудников НКВД, разговоры могли быть только краткими и непременно на «вы», как это и практиковалось. К этому времени заводоуправление размещалось в новом, только что построенном здании, где мне еще не приходилось бывать, но вот я вошел в это здание, в первый и, по существу, в последний раз. Лебедев был у себя. На мое «Здравствуйте!» он откинулся от письменного стола и произнес мою фамилию вопросительно: «Твардовский?» и сразу же сообщил: «Мы получили ответ из Смоленской области на наш запрос о вас. На основании чего предлагаем вам подать заявление на увольнение с завода. Мне меня понятно?»

Просить этого человека, объяснять ему о сложившихся

тяжелых обстоятельствах у меня в семье я не нашел в себе сил, да вряд ли и могло это что-либо изменить — взгляд его не обещал сочувствия.

Положение мое очень осложнялось, и было от чего приуныть. Что касается работы, то в Нижнем Тагиле в те годы никакой проблемы с устройством не могло быть — город со всех сторон был окружен стройками, и безработица никому не угрожала. Однако была проблема с продовольствием. Период войны с Финляндией заметно отразился на снабжении городов Урала — в магазинах мало что было, за хлебом стояли в очередях чуть ли не с полуночи. Не могу забыть, что, уезжая к жене, я не мог купить самый скромнейший гостинец, без чего просто стыдно было прийти на свидание, именно в больницу. Но что тут скажешь, если так оно было.

Приближалась весна 1940 года. Жена и сын были уже дома. После операции мальчик, казалось, чувствовал себя лучше, хотя уверенности у нас не было, что беда миновала.

Работал я теперь на «Коксохимстрое» в группе аналитической отчетности планового отдела, где начальником был Сергей Андреевич Богинский. Мы переселились в поселок треста «Коксохимстрой», который и назывался «Кокс». Это был барачный, запущенный поселок, до предела перенаселенный, так что для нас едва нашлась комната-развалюха в приземистом бараке, в которой, видимо, никто уже не соглашался поселиться. В ней не было «живого» места: дверь, окно, стены, потолок, пол — все избито, изношено, обшарпано до крайней степени. Но куда было нам броситься, если таковы твои права — согласились, не нам было условия ставить. Так вот, молча, не оглядываясь на любопытных «зевак» — где их нет? — мыли, скоблили, как могли латали, сохраняя терпение и супружеский лад, дабы не впасть в уныние, не утратить веру в свои силы.

В двадцатых числах июня 1940 года я получил повестку из военкомата. Я был обязан явиться 26 июня на призывную комиссию. Мне шел уже двадцать шестой год — случаи подобных предписаний бывали и прежде, но заканчивались обычно тем, что на действительную службу меня не брали, и это меня немало огорчало.

Точно к указанному времени я явился в райвоенкомат. Но на этот раз, после медицинского освидетельствования, мне был задан вопрос: «Есть ли у вас репрессированные родственники?» Я ответил, что из родственников таковых нет. Но указал, что жена из спецпереселенцев. «Так жена ведь — самый близкий родственник!» — сказал один из членов комиссии, и тут же было дополнено, что я призываюсь для прохождения действительной службы.

Жена была опечалена. Она сразу же представила, какое бедственное положение ожидает ее без меня: ребенок нездоров, пойти работать — надо сдавать ребенка в детские ясли, но больного туда взять не могут. Денежных сбережений у нас не было, запасов продовольствия тоже. Все деньги, которые я получил при увольнении с работы, я оставил, но это не было выходом из положения — уходил не на месяц, не на два... Тяжело было на душе.

Много нас было, таких же, как я, не прошедших вовремя действительной военной службы. Многие из нас были в возрасте 25—28 лет, имели семьи, работали на самых разных, порой ответственных должностях и теперь должны были учиться и беспрекословно подчиняться своему прямому начальнику, который мог быть лет на пять-шесть моложе подчиненного.

Наш эшелон был отправлен лишь вечером 27 июня. Под Ленинградом стало ясно, что везут нас на территорию, где совсем недавно шла война с Финляндией. Конечной остановкой стал город Сортавала, где на окраине, с его северо-западной стороны, в чистом поле, был разбит палаточный лагерь. Здесь мы были обязаны жить до осени, проходить курс молодого бойца. Осенью, после принятия присяги, в составе группы сослуживцев я был откомандирован в местечко Вяртсиля и зачислен в Первую роту 367-го стрелкового (пехотного) полка.

Служба проходила напряженно. Именно в 1940 году в Красной Армии была значительно повышена требовательность: обучение проходило в обстановке, максимально приближенной к боевой. Совершались походы с полной боевой выкладкой, проводились тактические учения в полевых условиях, даже в зимний период с ночевками в лесах у костра. Командир роты старший лейтенант Ребров отличался исключительной требовательностью, взыскательностью, даже бесцеремонностью по отношению к красноармейцам. Получить взыскание за самый пустячный проступок было обычным делом — никому никаких снисхождений.

Особо заметных следов прошедшей военной кампании в тех местах не было, городок не был разрушен даже в малой доле — он сохранился вполне чистым, даже нарядным. Но, в общем, мы очень мало знали о той зимней «незаметной» войне с Финляндией 1939—1940-х годов, в нашем сознании еще жила вера, что, если завтра враг нападет, будем бить врага на его территории... «малой кровью, могучим ударом...».

22 июня 1941 года. В этот день был я в карауле и с четырьмя до шести часов утра стоял на посту у склада. От армейских казарм склад находился примерно в пятистах метрах, и мне хорошо было видно, что в начале шестого часа от казарм мчался галопом красноармеец-связной, держа на поводу вторую лошадь, для командира. Мне показалось странным, что связной был в неполной форме — на нем не было гимнастерки, а только натертая белая рубашка. Через несколько минут заметил, что в казармах и около происходит необычайное оживление. Вскоре сменились часовые, и я узнал, что Германия напала на Советский Союз и уже бомбили Киев. Все боевые подразделения полка оставили казармы. Наша рота заняла указанный участок обороны, рыли окопы, хотя еще не было ясно, откуда можно ожидать противника. Обзор, однако, держали в сторону границы.

Первые три дня мы не слышали ни единого выстрела, но на четвертый стало известно, что финны напали на пограничную заставу, которая была в десяти километрах от расположения нашей части по прямой, через болото. Иных путей к заставе не было. В тот же день одно отделение нашего взвода ушло на помощь заставе. Через сутки из посланного отделения вернулись пятеро. Они рассказали, что к моменту их прихода застрада была уже занята финнами, что они их встретили автоматным огнем, и четверо из наших были убиты, одного своего товарища, раненного в живот, несли примерно половину пути, но по просьбе самого раненого оставили на маленьком болотном острове, так как раненый решительно не хотел, чтобы его продолжали нести, просил оставить ему гранату, а самим спешить в подразделение и рассказать обо всем, что произошло.

Это сообщение нас потрясло: оставить своего раненого товарища в одиночестве на гибель — этого никакими объяснениями нельзя было оправдать.

Но война показывала нам свое жестокое лицо.

Наша рота в полном боевом составе была послана в район погранзаставы с задачей выбить из нас финнов и овладеть заставой. Путь туда, равный нескольким километрам, лежал через болото и две небольшие речки в зыбкой, болотной местности. Продвижение было медленным и трудным: более двух часов мы шли, поднимая под себя мшистую глэдь дикой, тундроподобной равнины. Шли молча, и, наверное, каждый из нас был охвачен гнетущей мыслью: мы приближаемся к заставе, к коварному противнику, находящемуся в более выгодных условиях, чем мы.

Впервые обозначилось начало возвышенности, поросшей мелколесьем и кустарниками, за которыми просматривались хвойные деревья, с прогалом по верхней части возвышенности. По цепи передали остановиться. Когда все поднялись, была поставлена задача развернуться и продвигаться на возвышенность.

Широким фронтом по команде «Вперед!» мы начали продвигаться, предполагая, что где-то неподалеку находится погранзастава, занятая финнами. Один из сержантов как-то незаметно выдвинулся вперед, послышался выстрел и надрывный крик: «Я ранен, товарищи!» Мы увидели его лежащим, он сбивчиво объяснял, что видел финского офицера, который опередил его выстрелом и успел скрыться. Последовала громкая команда «Вперед!». Мы достигли вершины, где уже начинался крутой склон, залегли. Противник молчал. Впереди крутого спуска вновь начиналось болото, и вряд ли нужно было нам продвигаться вниз по крутому склону, прежде чем уточнить обстановку. Но наше командование никаких уточнений не предприняло, мы начали спускаться вниз. Вот тут-то и открыл противник плотный автоматный и минометный огонь по нашей роте, припавшая нас, как гвоздями, к крутому откосу, оставаясь невидимым и неуязвимым — наши ответные выстрелы были непроизводительными и, как говорили, в белый свет. Три четверти состава роты осталось там, на той возвышенности, среди диких болот. Добрая половина была ранена, но спасти их мы не могли.

После этой трагической встречи с невидимым противником не оказалось среди нас ни командира роты старшего лейтенанта Реброва, ни политрука роты Вовка, ни команди-

ров взводов. Вышло нас из этой «операции», по первым подсчетам, сорок два человека из примерно ста шестидесяти списочного состава роты. Оставалось загадкой, где были командир роты и замполит. Никто из оставшихся в живых не видел их во время неудавшегося боя, и мы не знали, как нам быть дальше. Выйдя на дорогу неподалеку от первого места обороны, мы решили послать кого-нибудь в штаб полка, чтобы дать знать командованию о том, что произошло, и получить какие-либо указания. Один из нас согласился выполнить поручение. К вечеру того же дня он возвратился и рассказал, что в штабе полка увидел командира нашей роты лейтенанта Реброва и замполита Вовка. Они были отстранены от командования ротой.

Под командованием младшего лейтенанта Кормишина наша группа отходила в направлении Сортавалы, преследуемая финнами. Мы останавливались, занимали оборону, оккупывались, но после непродолжительного сопротивления вновь вынуждены были отходить, неся потери в живой силе. На одном из рубежей обороны наша группа была частично усилена приписным составом, но положение оставалось критическим, и создавалось впечатление, что мы действовали вне связи со старшим командованием, мы не получали ни боеприпасов, ни пищи.

В районе местечка Харлу остатки нашей роты были присоединены ко второй роте, где командиром был старший лейтенант Жаров. Здесь нам разрешили немного отдохнуть. Вдвоем со старшим лейтенантом Жаровым мы отошли метров на семьдесят и расположились в каком-то маленьком домике, где старший лейтенант прилег на полу, чтобы немного поспать, а я стал подзаряжать диск его автомата ППД. Не было слышно никакой стрельбы. Но прошло всего минут двадцать, я только что успел подзарядить диск автомата и принялся осматривать свою винтовку, как услышал тихое пыхтение мотора. Взглянув в окошко, я так и обомлел: в каких-то пяти — восьми метрах от домика медленно двигался, разворачивая башню, пятитонный танк со свастики. Не помня себя, я бросился к задремавшему старшему лейтенанту, успел сказать, что рядом танк противника, и он все понял — схватив автомат, пулей выскочил из домика в заросли. В это же время застрочили финские автоматы по домику, сыпались стекла и пыль, а я еще не успел собрать свою винтовку. Прижавшись к стене, лежа на полу, я не мог сообразить, что делать. Стрельба продолжалась, и где-то рядом слышались чужие слова и стуки в дверь, которую тут же распахнули, и я увидел двух или трех финнов с автоматами наготове. Это случилось 16 июля 1941 года.

В точности я не могу рассказать о том, какими мыслями я был занят в те первые минуты моего пленения, когда, крича и толкая меня в спину стволом автомата, финны вели меня лесом. Видимо, не было во мне ничего, кроме страха и видений неминуемого конца, сожалений о том, что из прежних надежд ничто не свершилось, что так напрасно потрачены годы.

Показалась дорога, и это обещало надежду. Навстречу проезжали солдаты на велосипедах, резе — на мотоциклах. Они на ходу бросали своему сослуживцу, похоже, слова приветствий или вопросов, притормаживая, в упор всматривались в пленного: «большевик?» И было до боли унизи-тельно чувствовать себя в положении пленника. Полтора-два километра шли дорогой, прежде чем свернули к подворью небольшой крестьянской усадьбы. Под купой березок были военные, дымились кухни, стояли две рыжие лошади, за столом сидели офицеры. Как оказалось, среди них были говорящие по-русски, и мне было сказано: «Можно сесть», — когда я был еще в пяти-шести метрах от стола. Через несколько минут привели еще одного пленного. К нему подошел офицер, говорящий по-русски, и я слышал, как этот пленный на очень плохом наречии недостойно рассказывал о положении в Красной Армии, показывая обувь, где почему-то действительно подошва у носка была оторвана. Его не стали слушать, велели сесть рядом со мной. Привели еще одного пленника, очень полного, похожего, на мой взгляд, отнюдь не на рабочего человека. Ему тоже указали место со мной рядом. Грубостей и жестокостей финны пока не проявляли и совсем не спешили расспрашивать о чем-либо из войсковой жизни. Через некоторое время я был отправлен во временный лагерь.

Свою истинную фамилию я не назвал, заменив ее другой, схожей в звучании, — Березовский. Сделал так из опасений, чтобы никак не могли се использовать во вред родственникам.

В этом лагере мне пришлось быть только двое суток.

Затем я был отправлен на металлургический завод. На этот раз этапировали нас пешком, под конвоем, со служебными собаками. Шли всю ночь, не отдыхая. Конвой был очень строгим: ругань и угрозы висели над нами непрерывно: «Рюсса, пер-р-киле! Са-атана! Юмалаутаа!» На завод мы пришли утром, где должны были разгрузить металлическую стружку с железнодорожных платформ. Что это была за работа, описать трудно: от немыслимо сцепившейся и слежавшейся массы остерегающихся стальных спиралей мы должны были голыми руками отрывать ком и сбрасывать его с платформы.

Лагерем для этих военнопленных было временное сооружение типа навеса с оттороженным из тонких досок отделением для кухни. Все это вместе с примитивной будкой для туалета было обнесено ограждением из колючей проволоки.

Поваром вызвался некто по фамилии Кунаев. Утром мы получали 300 граммов ржаных галет (на весь день сразу), 20 граммов сахара, пятнадцать граммов масла, два раза в день по пол-литра ржаной затирухи. Но, в сущности, это никакая не каша, а просто баланда из муки, которую можно было пить без ложки. Продуктов было явно недостаточно, чтобы жить и работать по десять часов.

Как-то после десятичасовой работы на солнце, в один из августовских дней, придя в лагерь предельно усталым, я зашел на кухню и попросил воды. Вышло во мне все внутри. Повар не дал мне воды, хотя вода строго не учитывалась. Я не мог представить, что свой же человек может отказать в нескольких глотках воды. Я схватил стоявший там же ковшик, быстро зачерпнул из бочки и стал пить, но повар вырвал из моих рук ковшик, выплеснув воду на землю. Я не стерпел, толкнул повара, назвав его подлецом. Как мне казалось, на этом эпизод и закончился. Но нет. Когда прошел час ужина и поварки и все улеглись друг возле друга ко сну, вдруг слышу, что меня разыскивает начальство лагеря в лице самого фельдфебеля. Ну, естественно, в таких случаях было положено явиться и сказать: «Господин фельдфебель! По вашему... такой-то... явился».

Фельдфебель был суров, зол и желчен. В минуты гнева он бывал ужасен — в нем все клочкотало. С трудом произнося русские слова, он сказал:

- Это правда, что вы ударили повара?
- Правда, господин фельдфебель.
- Вы зна... помнил, что вы есть военнопленный?
- Да, господин фельдфебель, помнил.
- Почему ударить повара?
- Я очень хотел пить, я попросил, но повар не дал... воды, я не выдержал...

Он астматически прохрипел, задохнулся и медленно сказал:

- Я хотел вас застрелять, но вижу вы говорили правду... потому застрелять вас не буду.

Прошло недели полторы-две, и один из военнопленных совершил побег. Не могу даже представить, где, в какой момент он успел быть вне наблюдений охраны, никто этого не заметил, и никто не знал ни по имени, ни в лицо самого убежавшего. Поднята была тревога: нас пересчитывали с таким ожесточением, с такой поспешностью и негодованием, что, казалось, вот-вот застрочат автоматы по этой перепуганной, вконец затруханной массе изможденных рабов.

Бежавший был задержан на второй день. Неподалеку от лагеря его держали в бане, где, надо полагать, били нещадно. Вечером, перед заходом солнца, всех нас построили в две шеренги. Фельдфебель появился с переводчиком и, остановившись метрах в десяти от пленных, не поднимая взгляда, объявил через переводчика:

- Бежавший пойман! Из Финляндии никто не может убежать! Каждый, кто будет пытаться бежать, будет пойман и расстрелян!

Затем привели раздетого до белья бежавшего, чтобы показать, что он действительно пойман. Нам было приказано войти в сарай. Минут через пять прозвучал выстрел.

Почему же пленные в сотню человек не пытались выразить протест, почему все молчали, не посмели сказать ни единого слова? Неужто все эти люди были подлецами? На такой вопрос я не знаю, что ответить. Видимо, людей подавил страх — каждый боялся того, что палач не пощадит любого, выдернут из толпы тоже и бог знает что могут с ним сделать. Ведь это было начало войны, Красная Армия не могла сдерживать натиск врага, и слухи об этом доносились и в лагерь для пленных. Враг торжествовал и глумился, и надо понять тех, кто в первые дни войны оказался в плену: умереть, конечно, каждый имел возможность, даже нахо-

дясь в плену. Но вот мне не пришлось видеть таких, кто решился бы подставить себя под автоматную очередь, не принеся этим никакой пользы Родине.

К осени на автомашинах нас перебросили в селение под названием Тохмаярви. Здесь был кирпичный завод, принадлежавший частному предпринимателю.

Отношение к пленным здесь было значительно мягче: мы были на виду у тех немногочисленных финских рабочих, которые относились к нам довольно сочувственно, а потому и охрана вела себя более терпимо. Находясь на работе, мы могли встречаться с финскими рабочими, но никто из нас не знал местного языка, как и сами финны — русского; контакт был очень затруднен. Я приходил к выводу, что надо всеми доступными средствами изучать финский язык. Впереди была полная неизвестность, а стало быть, при любых обстоятельствах знание языка могло играть очень важную роль. Где бы только ни звучала живая речь, я с предельным вниманием вслушивался, стараясь понять и запомнить хотя бы отдельные элементы разговорной речи.

Здесь, на окраине селения, специально для пленных была построена небольшая казарма и отдельно — кухня и туалет. Все это было обнесено ограждением из колючей проволоки с вышками для охраны. Внутри казармы — нары в два яруса. Площадь казармы была равна примерно ста метрам — не более одного квадратного метра на человека, что дает представление и о санитарных условиях.

Здесь же, в Тохмаярви случилось «ЧП», повлекшее большую неприятность. Двое пленных рискнули зайти в дом местного жителя и попросить чего-нибудь съестного. Как рассказывал сам хозяин дома, просьбу их он понял и предложил им кофе с бутербродами. Но надо понять, что такое мизерная финская чашечка кофе для изголодавшегося человека! Она не могла утолить голода. Поблагодарив хозяина, с тем они и ушли. Хозяин не вышел их проводить, а при выходе, где-то там на веранде, они увидели стоящую миску со сливочным маслом и, черт их попутал, не смогли удержаться, чтобы не забрать ту миску. В обиденный перерыв, когда все мы были в казарме, послышался приказ: «Всем быстро выйти и построиться!» На площадке возле казармы стоял озлобленный фельдфебель, немного в стороне — два солдата с винтовками, пожилой мужчина (финн) в гражданской одежде и переводчик, передававший приказ фельдфебеля.

— Внимание! Сегодня двое военнопленных самовольно вошли в дом приват-хозяина, где их угощали кофе. Приказываю: те, кто были в самовольной отлучке и зашли в дом приват-хозяина, выйти из строя!

Никто не вышел. Все замерли в молчании. И никто не знал, в чем дело, естественно, кроме тех, кто отлучался.

— Повторяю! Двое военнопленных, которые сегодня отлучались без разрешения и были в доме частного жителя, выйти из строя!

Никто не вышел и при повторном приказе. Фельдфебель что-то сказал хозяину, и тот пошел вдоль шеренги, всматриваясь в лица. Шел медленно, приостанавливаясь, и... узнал: «Хян! Тямя мисс!» (Он! Этот человек!), — отступил на шаг в сторону, пальцем указал на пленного. Затем прошел дальше, указал на другого: «Он!»

Этих двоих несчастных солдаты выдернули из строя, переводчик потребовал признаться, что заходили в дом, но они не признались. Их завели в казарму, через несколько минут их вытолкнули: под тряпьем у изголовья солдаты нашли ту злосчастную миску с куском масла.

Провинившихся поставили отдельно, объявили приказ: «За самовольный уход и воровство будут отправлены в штрафной лагерь!»

Месяца три-четыре наша группа находилась в Тохмаярви. Затем нас погрузили в вагоны и увезли на территорию Карелии, высадили на станции Пяжисея Сельга, в 1942 году эти места были оккупированы Финляндией. Лесной поселок Пяжисея Сельга не был ни сожжен, ни разрушен, но жителей, оказавшихся в оккупации, было очень мало, и видеть их случилось лишь на расстоянии. Подержав нас около месяца в Пяжисея Сельге, финны были вынуждены перевезти нашу группу в Петрозаводск, в бывший советский лагерь НКВД, который полностью, со всеми лагерными «службами», сохранился. Одновременно в Петрозаводский лагерь прибыла еще группа, и теперь было здесь не менее 150 военнопленных. Всех, кроме лагерной obsługi, водили на оборудование цеха на месте строительства тракторного завода, где финны решили наладить производство березовой чурки для газогенераторных машин.

На этом оставленном Красной Армией строительстве побывало много финских делегаций. Они лазали по объектам, о чем-то судили и ржали, но по всему было видно, что чувствовали они себя временщиками и о каком-то использовании незавершенного строительства, похоже, не помышляли. И было более чем странно, что финны ничего иного не могли придумать, как убрать мешавшие проезду крупные блоки и колонны и заставить пленных копать яму возле каждого блока или колонны и таким образом захоронить их навечно в земле. Каких-либо механизмов для подъема этих многотонных изделий у них здесь не было. Поэтому впрягали пленных в эту дурацкую работу.

Общая картина, окружавшая нас, была крайне гнетущей. Полностью сохранившийся лагерь НКВД, где содержались советские заключенные, теперь, по нронии судьбы, был использован финнами для военнопленных. Но ведь финны — наши враги и поработители. И не они опутывали этот лагерь густой сеткой колючей проволоки, не финнами построен отдельно стоящий БУР (барак усиленного режима) с ограждением высотой в четыре метра и нарами из круглых жердей. Получалось как-то так, что «обитель» мы сами себе уготовили, и тут уже не скажешь, что финны — жестокий народ, а мы гуманисты. Тут и речи об этом не может быть! Дошли до пленных и слухи... о том, что «...у нас нет пленных! Есть предатели и изменники». Куда же еще яснее? Значит, нет нам и возврата на Родину? Или «из плена в плен», чтобы стать лагерною пылью. И мысли такие преследовали меня постоянно, как больного. А может, я и был уже болен, выносливость психики небеспредельна, и симптомы такого финала я чувствовал: солнце порождает непереносимую тревогу и грусть, я часто плакал, вспоминая близких, конечно же, понимал, что судеб, схожих с моей, миллионы... Да что ж из того?

Приехали финские гражданские специалисты и тут же приступили к монтажным работам. Для выполнения тяжелых, грязных и трудных работ они привлекли пленных. Работы эти велись довольно долго, месяца три. Находиться под началом гражданских специалистов было легче и проще, и объяснялось это, видимо, тем, что в своем большинстве финские специалисты были интеллигентными людьми, грубостей по отношению к пленным они себе не позволяли. И, хотя это не меняло общее положение, к нам относились по-людски. Инженер, заметив, что я проявляю интерес к финскому языку, пообещал купить для меня русско-финский словарь и, кстати, слово свое сдержал, за что я был немало благодарен ему. Но, как выяснилось впоследствии, этот благожелательный жест инженера не прошел незамеченным, и ему было-таки указано, чтобы впредь подобное не повторялось. Это я смог понять из объяснений самого инженера: «...узнал лейтенант (луутнант)».

Таинственная фигура в форме финского офицера нежданно-негаданно появилась на местах работы и в самой лагерной зоне. Внешне этот офицер был элегантен и очень красив, но было в его лице нечто холодно-мрачное и отталкивающее. Называли и фамилию его: Хильянен, что означало «Тихий». И так вот было угодно судьбе, что месяца через два мне пришлось оказаться в его власти и на себе испытать весь ужас его должности.

К осени 1942 года организованное финнами чурочное производство начало работать. Пленные вручную кололи топором чурку, дальше она шла в сушильные бункера, а затем, уже высушенную, ее ссыпали в бумажные мешки, грузили на автомашины и увозили. Так и продолжалась эта нудная, изнуряющая шумом и визгом работа...

Я рассказывал о первом дне войны на финском участке фронта совсем не для оправдания того, что оказался в плену, что остался живым. По прошествии чуть ли не полувека, на пороге семидесятилетия, теперь, когда все несчастья оплачены, кажется, самой дорогой ценой, мне совсем не хотелось бы вновь увидеть себя, пусть даже мысленно, узником одиночки Лубянской тюрьмы 1947 года, с ее непременно ночными допросами, вновь выслушать решение Особого совещания, пройти этапом через всю Транссибирскую магистраль, через все пересылки и произволы блатных, вновь увидеть себя в Чукотлаге, везущим на санках ящик с костлявыми трупами, чтобы свалить их в заранее вырытую бульдозером траншею на втором километре от поселка Эгвекино... Очень не хочется вспоминать об этом, но читатель моих первых публикаций напоминает, что хочет знать обо всем дальнейшем.

Один из пленных в этом Петрозаводском лагере, финн по

национальности, был родом якобы из какого-то района Ленинградской области — бывший студент третьего курса лесотехнической академии. В рабочей зоне он исполнял роль переводчика. На втором году пребывания в плену для людей лишь в редких случаях возникала необходимость в переводчике — многие они понимали вполне и на финском языке; но поскольку бывший студент был финном, то для него условия были особые — физически он не работал. Появился он в этом лагере как-то незаметно, его откуда-то привезли нарочным, как переводчика. Мне приходилось иногда беседовать с этим человеком, порой откровенно и доверительно, о том, как прошла молодость, как сложилась судьба, всегда ли человек в силах организовать свою жизнь так, чтобы она была радостной и счастливой... Часто говорили мы о войне, о всенародной трагедии, конечно же, посылали проклятия фашизму и Гитлеру, но вот Сталину — нет, чего не было, того не было, хотя и тогда мы знали о его жестокостях, но остерегались, может, только таили внутри себя. Впрочем, кое-что я мог и рассказать, например, о моих скитаниях в ранней юности, о тех несправедливостях, которые я испытывал все десять довоенных лет, о том, что семья отца подверглась высылке в период коллективизации, и все это лишает меня надежды на возможность благополучного возвращения на родину. Это есть самое страшное, что только можно представить: меня постоянно жгла и бередила душу память об оставленной на Урале семье — у жены на руках было уже двое малых детей, в этом крайне бедственном положении она не могла рассчитывать ни на какую помощь ни от кого, тем более будучи спешпереселенкой.

Шел второй год войны. На финском участке фронта не было слышно об активных военных действиях. Но было всем известно, что кровопролитные сражения продолжают идти на огромных пространствах центра и юга страны — война приняла затяжной характер, и конца ей не было видно. Эта жестокая правда отзывалась в душе каждого пленника укором и отчаянием при сознании полной бессмысленности своего рабского существования.

Советскую листовку с броским заголовком (крупными буквами) «ПОСМОТРИ и ОТОМСТИ!» я поднял на территории строительства. Ниже заголовка художником был изображен распластанный труп зверски убитой девушки: порванное платье, обнаженная грудь, разбросанные волосы, на лице, шее и груди пятна крови. Ниже рисунка две строки текста, призывавшего помнить, что на захваченной врагом территории «...могут оказаться твои сестра, жена, мать...». Сложив вчетверо ту листовку, я сунул ее в нагрудный карман да так и носил при себе. Мне почему-то казалось, что листовка предназначена для партизан, и потому я думал: вдруг однажды партизаны дадут как-то знать о себе и, может, чего не бывает, помогут освободиться из лагеря... Но мысль такая не закреплялась: нас, пленных, держали на работе на очень открытом берегу Онежского озера — препятствие непреодолимое, и укрыться негде.

Листовку я иногда показывал кое-кому из пленных, но заметил, что люди эти остерегаются, боятся. А один раз я показал ее тому «русскому» студенту-финну, с которым случалось беседовать и делиться раздумьями. На следующий же день на место работы подъехала машина-бобик, из машины вышел чиновник в штатском, тут же увидел и подошел к себе студента. Они быстро посоветовались между собой, студент обернулся и, заметив меня, подал знак рукой, чтобы я подошел. Чиновник, бегом на меня взглянув, открыл дверцу машины и сказал: «Олкаа хювяя!» («Пожалуйста!»)

«Приглашение» ехать бог знает куда я воспринял тревожно — обратясь к студенту-финну, успел спросить: «Почему без ведома начальника лагеря, фельдфебеля намерены куда-то меня увезти?» На мой вопрос ответил чиновник... на вполне правильном русском языке: «Господин фельдфебель в курсе дела — ответственность за происходящее несущ, офицер финской армии, лейтенант...» — Он назвал и фамилию, не помню какую.

За рулем был солдат. Чиновник сел на заднем сиденье вместе со мной, но на отдалении и несколько развернувшись в сторону ко мне. В пути никаких вопросов не задавал, ехали мы минут тридцать — сорок, остановились возле здания сельской школы, в какой-то карельской деревне, оставленной жителями. У подъезда школы был часовой, и здесь на виду у часового чиновник меня оставил, а сам вошел внутрь здания. Минут через пять — десять меня ввели, похоже, в бывшую учительскую, где я увидел сидевшего за столом военного в форме финского офицера, кажется, в звании

майора. Здесь же были чиновник, который меня сюда доставил, и другой, которого я увидел впервые.

Предлагая мне сигарету, майор обратился ко мне на финском языке: «Олкаа хювя! Мейяля саа полтаа! Пу-хутте-ко суомеа?» («Пожалуйста! У нас можно курить! Говорите ли по-русски?»)

Поблагодарив за сигарету, я ответил по-русски, что финский понимаю очень мало.

— Хорошо. Мы будем говорить по-русски. Да, вот что, — он взглянул на чиновников, — позаботьтесь, чтобы нам был кофе, и... затем оставьте нас пока одних.

Чиновники вежливо отдали честь и удалились, а майор пристально всматривался в мое лицо, затем предупредил: если он заподозрит, что его хотят обмануть, это может кончиться очень плохо. После этих слов его лицо стало суровым.

— Отвечайте. Вы есть коммунист? Вы были членом Вк Ка Пе бе?

— К моему сожалению, членом ВКП(б) я никогда не был.

— Как понять ваше «к сожалению»? Вы хотели им стать, но не смогли? Что же сожалете, почему?

Такие вопросы ставили меня буквально в тупик. Что мог я ответить финскому офицеру? Видимо, только что, мол, судьба: по независящим от меня обстоятельствам оказался в числе недостойных чести быть комсомольцем, а стало быть, и коммунистом. Или же что вся семья была репрессирована, что это была жестокая несправедливость по отношению к известной части крестьян со стороны Коммунистической партии? Тогда о чем сожалеть? Не знаю, не знаю, как такое понять со стороны, но было, было именно так: я сожалел, завидовал и про себя роптал, как любой из моих сверстников, разделявший такую участь.

Но все это было не главным для офицера. Его волновал вопрос о листовке, попавшей в лагерь пленных.

— С какой целью, — начал он, — вы держали у себя советскую листовку и показывали ее пленным?

Я ответил, что никакой цели я не преследовал тем, что поднял на стройплощадке залетевшую листовку. Листовка для меня — голос борющейся Родины, у каждого есть чувство долга, и об этом никто не должен забывать.

— Кому вы ее передали?

— Листовка находится у меня, вот в этом кармане. Я могу ее показать вам. — Я вытащил листовку из нагрудного кармана и подал офицеру. Листовка ему явно не понравилась, горячая, он тряс ее передо мной, отвергая возможность подобных злодеяний со стороны финнов: «Это не есть документ! Графика не фотоснимок! Плохая пропаганда!»

Наш «диалог» ненадолго прервался, майор встал, тихо обронил «хеткисен вайлле» («одну минутку») и вышел из комнаты, оставив меня одного. Тут же, видимо, по его приказу, в комнату вошел чиновник. Когда он возвратился, то, как бы уточняя, спросил:

— Ваш номер — 603?

— Да, 603, — подтвердил я.

— А теперь вот о чем. Что вам известно о партизанах, которые действуют в тылу финских войск?

Мой ответ, что о партизанах мне ничего неизвестно и что считаю этот вопрос явно надуманным, майора не удовлетворил, и он с наигранной злостью разразился вопросом, еще более провокационным: «Есть подозрение, что вы имете связь с партизанами посредством оставления записок в условленных местах и при содействии местного населения эти ваши записки попадают в руки партизан. Что вы можете ответить по этому поводу?»

— Как можно подозревать меня в том, что пленному, находящемуся под постоянной охраной, вообще невозможно сделать?

Я почувствовал, что задача поставлена любыми средствами уличить меня в связях и пособничестве советским партизанам.

В доказательство моих намерений содействовать партизанам приводилось сожаление о том, что не случилось стать коммунистом, и заявление, что каждый человек должен помнить о долге перед Родиной. Но как-то угадывалось, что, разжигая в себе ненависть, майор не мог полностью подавить сострадание. Он то и дело вставал из-за стола и в глаза уже не смотрел — что-то мешало... «Увидите!» было последнее его слово.

До наступления сумерек меня, вконец подавленного, поддерживали закрытым в какой-то кладовке. Томительное ожидание неизвестно чего именно длилось, может, всего лишь

полчаса, но ведь ты ничем не защищен, сделать с тобой могут все, что кому-то пожелается, так что и минуты кажутся долгими.

Услышав фырканы подошедшей к подъезду машины. Хлопок дверкой... Послышались шаги по ступенькам, по коридору... Еще несколько минут... Меня выпускают, куда-то увозят. Минут через пятнадцать — двадцать подъезжаем к какому-то лагерю. Я различаю в тусклом освещении ограждение из колючки, что-то похожее на вахту, но машина не останавливается, поворачивает и уходит в сторону; метров за двести от зоны она остановилась возле домика.

В комнате размером примерно 4 на 4 метра возле стола с телефоном я увидел того самого лейтенанта Хильянена, которого случалось видеть два-три раза в лагере. Он сидел откинувшись, пога на ногу, правая рука лежала на столе, в левой — дымящая сигарета.

В комнате двое: я и Хильянен. Слышу приказ: «Дальше, еще дальше, к стене станьте (может, не «станьте», может, «стань», не помню!)» Приказывал он резко в повелительно, и я послушно пятился, не спуская с него глаз. И все же я не заметил того момента, когда в его правой руке появился пистолет, — Хильянен уже держал его направленным на меня. Этаким черным, блестящим, настоящим, в чем сомнений не могло быть, и я, находясь под страшным, дьявольским взглядом, окаменел, даже позволил появиться мысли, что шутка здесь не было.

— Повернись лицом к стенке! Повернись! — прозвучало болезненно-истошно, и тут же в унисон с этим диким, нечеловеческим требованием громко, с вспышкой раздался выстрел и повторяющиеся: «Повернись! Повернись к стенке! Посмотри же! Обернись!»

Не знаю, не знаю... может, мне не поверят, что так это было, но я предпочел, коль уж так, — нет, не повернулся я. Я понимал, что убить он меня может и спроса с него не последует, но сделать это, глядя мне в лицо, в глаза, он избегает потому, что боится, что сам сойдет с ума. Так мне думалось в те кошмарные минуты.

В бешенстве он бросил пистолет на стол и произнес такие слова: «На! Бери и стреляй в меня! Стреляй в финского офицера!»

Я, право же, не знал, что сказать: передо мной был другой человек, и сказал он такие слова: «Всю жизнь я хотел быть таким, как ты, но не смог. Я родился в Харькове».

Такое его призвание мне показалось страшным и непонятным, но в тот момент мне не хотелось ничего о нем знать, я промолчал, заподозрив в нем психически больного человека или же наркомана. Выглядел он помятым, сниженным, неловко, опираясь на стол, встал, склоня голову, сказал: «Пойдем! Сопровожу в зону!»

На вахте, передавая меня охране, он распорядился, куда меня определить, то есть водворить, и — можно ли было от него ожидать? — побеспокоился, чтобы дали мне поесть.

Перночевать поместили в барак, похоже, достойном памяти тех «героических» дней строительства ББК, когда з/к предоставлялось право заработать «путевку в жизнь». В узких проходах между почерневших двухэтажных деревянных косяк я нашел шестерых русских военнопленных, предназначенных для отправки куда-то в другое место. Утром, когда мы получили дневной паек, охрана предупредила, чтобы готовились к этапу. Было уже довольно холодно, а на мне была только легкая трофейная английская (может, американская) куртка, и я попросил что-нибудь из верхней одежды. Принесли русскую телогрейку.

Когда нас вывели на посадку, крытая спецмашина уже стояла возле вахты лагеря. Сержант из охраны по списку называл номер военнопленного, на что последний должен был откликнуться, называя свою фамилию и имя, и подниматься в машину. Наконец, дверка глухо и мягко захлопнулась, лязгнув запор, дрожь передалась от мотора, и машина тронулась.

Нас высадили в отдаленной карельской деревне во второй половине дня. С первых же минут было похоже, что финны собираются использовать пленных в разведке. Предстояло познать новые беды: изоляцию, принуждения, штрафной лагерь, а затем по возвращении на Родину еще и дальние этапы в «места, не столь отдаленные», вплоть до залива Кресты на Чукотке. Но об этом в следующей части моих «Страниц...».



Глеб
ГОРБУНОВСКИЙ

☆☆☆

Нам говорят, что мы уже не те...
Не правда ли, смешно? Ведь мы имели дело
не только с временем, с его прозрачным телом,
но так же — с жизнью в страшной тесноте:

в толпе убийц и сыновей труда,
во лжи, в соблазнах, в думах о прекрасном,
в лучах любви, что грела нас, и гасла
на дно сто раз — на миг, и — навсегда.

Нам говорят, что мы обречены,
но разве то, что мы на свете жили, —
не краше вечности, ее бессмертной пыли?
Нам говорят... А мы все ждем весны.

Сорокоуст

Какое сказочное слово —
Сорокоуст! Букет из... губ.
Не смысла груз, не грусть — основа —
мне строй его музыки люб!

Сорокоуст! — рокошет слитно.
Как струны или нравода...
Не поминальная молитва,
а слово, снятое с креста.

Живое, сущее, густое,
колючее — терновый куст,
дыханьем жизни налитое
и жгучим хладом смертных уст.

☆☆☆

Умней сердца ныл, рутинней блеск идей...
Я правила забыл, как жить среди людей.
Я так ушел в себя, в слон былых культур,
себя в себе дробя, — что притушился бур.
Но жизнь свое взяла: весь в наутине дум,
я вышел из угла за дверь — на жизни шум.
Шел дождь. Сквозил рассвет. Лiniaл госноден сад.
Как миллионы лет и зим — тому назад.
Старик — в руке клюка — мелькнул под фонарем.
Лишь запах табака напоминал о нем.

Пустыня

Не то пустыня, что лежит в несах,
где дружат ящерка и черенаха,
где саксаул на скрюченных ногах
танцует в пыльной буре праха.

Не то пустыня, что течет водой
земных морей и океанов,
где чайки мечутся, где рыб косяк густой,
и корабли связуют страны.

Не то пустыня, что сияньем звезд
оповещает жителей Вселенной
о том, что в небе есть немало гнезд,
а в них — крупницы вечности нетленной.

Пустыня то, где нет любви уже,
где даже музыка звучит некстати:
она — в твоей измученной душе,
лишенной милости и божьей благодати.

☆☆☆

Над нами заря небывалого цвета,
в просроченных красках — остывший мятеж.
Сегодня — не время великих поэтов,
а время великих утрат и надежд.

Умеют деревья заламывать руки,
а дикая стена — подавать голоса.
И наши молитвы похожи на ругань —
ведь мы позабыли, что есть небеса.

Смирись, — говорю я оглошему сердцу.
В бульоне наук цененеют сердца.
Вот восточка с Марса... А вот по соседству
в промозглой нарядной раздели жилья.

Налево дорога, направо дорога, —
два прежних, на выбор, пред нами путн.
А ты, обижаясь на дьявола с богом,
без них собирался до смысла дойти.

Последний пациент

В. М. Бехтерева

В валенках из сливочного фетра,
в мягком габардине цаета зла,
в осинках, случившихся от «ветра»,
пациент шагнул из-за стола.

Врач-старик, лишенный саквояжа,
ирятал руки, нервно и смешно.
Кротко ждал, когда ему прикажут
приступить... И вот — разрешено.

У врача крестьянская борода,
у больного — жесткие усы.
Бьется сердце у врача нечетко,
у больного бьется, как часы.

— «Раздеваться? Или... визуально?»
— Раздевайтесь... — прошептал старик.
Грозный пациент, вздохнув печально,
на мгновение даже как-то сник.

Осмотрев несчастного владыку,
заглянув бессмертному в глаза,
врач ушел и умер, поелику
в те глаза заглядывать — нельзя.

Врач ушел и умер где-то вскоре.
Врач увидел в тех ночных глазах,
как варилось в черном сердце горе
для народа, испаряя страх...

Улыбка невинного

Уже в дверях прихожей
на фоне тьмы ночной
он оглянулся все же...
Но — вяло, как больной.
Взирая нокаянно
на мир, что посетил,
он улыбнулся странно,
как будто всех простил.
Те двое, что развязно
пришли за ним — к нему,
нокашливали страстно,
мая его во тьму.
Жена, сценив ладони,
теряла цвет лица.
Скринели снегом кони
у мерзлого крыльца.
...По чьей, но чьей ошибке
(измыслить нелегко)
владелец той улыбки
уехал далеко?
Но свет улыбки бедной,
питавшей вдовью сны,
возжег румянец бледный
на сумерках страны!

г. Ленинград



Михаил
КУДИНОВ

Страх

Когда ползучий лникий страх
Достиг н власти, н размаха,
Преступными в его глазах
Все чувства стали, кроме страха.
И начал он вползать в дома,
Стал к душам липнуть, их калеча,
Все связи рвать, сводить с ума
И жаждать крови человеческой.
И кровь лилась... Но налаци
Дрожали сами. Даже плаха,
Казалось, по ночам кричит:
«Нет ничего страшнее страха!»

Попугай

Попугай любил своего хозяина,
Попугай не бил своего хозяина,
Попугай учил своего хозяина
Говорить заученными, избитыми фразами.
Попугай, улета, запирал хозяина,
Попугай, прилетая, выпускал хозяина,
Выпускал из клетки, где, усевшись на жердочке,
Хозяин забывал о душе н о разуме.
И в конце концов вырос клюв у хозяина,
Появились когти н хвост у хозяина,
И тогда он нашел себе тоже хозяина,
И учил говорить его избитыми фразами,
И всем сердцем любил своего хозяина,
Но нередко был своего хозяина,
Потому что характеры у попугаев разные
И хозяева тоже бывают разными.

Босяки

Босяки не ходят босиком,
Босяки обуты н одеты,
Говорят начальственным баском,
Курят дорогие сигареты.
И саночки-то они носят хромовые,
И одежки-то у них не залатаны,
И полны добра заморского хоромы их,
И надежно денежки припрятаны.
Нет, они не ходят босиком,
Ходят по земле, глаза не няча.
Никакого сходства с босяком:
Вид вальяжный... А душа босячья.

Несостоявшаяся эпитафия

Он был доволен своей судьбой:
Украл, попался, назначен судьей.
Бежал нозорно с поля сраженья;
Был пойман, судим, ялучил повышение.
Лишился рассудка, наделал бед;
Был схвачен н связан его сосед.
Состарился, умер, но, честное слово,
Похоронили кого-то другого;
А он был снова назначен судьей...
И судит живых, н доволен судьбой.

Песня без слов

Жили-были басни,
А рядом жили песни,
Вроде бы имели
Равные права.
Но басни зубасты,
Они сказали: баста!
И тут же заграбастали
Все слова.
Осмотрелись песни:
Ни слова нет, хоть тресни,
Хоть лопни, хоть расшлаться —
Кругом голова.
Смотрят песни жалостно,
А басни им: «Пожалуйста!
Лопнуть? Ради бога!
Плакать? Черта с два!
Плакать не положено,
Наш век суров...
А несней стать не сложно:
Песней без слов».

Пятый акт

Все, что любил, все то, чем с давних нор
Так дорожил, все это в миг единый
Вдруг рухнуло. Под корень был топор.
Шел пятый акт трагедии старинной.
Стекала кровь с обрубленных корней,
Неведомо куда несло течение,
И лишь душа еще жила, н в ней
Не страх, не боль, а чувство облегченья.



Владимир
САВЕЛЬЕВ

Казненный поп

Что важнее — быть или казаться?
Связан был с отрядом партизанским
человек, казненный поутру.
В рясе черной на веревке белой
на виду он у деревни целой
чуть покачивался на ветру.
Над сырой землей. Под небом синим.
На кривой кладбищенской осине
он висел как раз на той черте,
где энохой схлестнуты пределы,
нбо там н до войны расстрелы
по ночам вершил НКВД.
Там висел он, где, забыв про норы,
после хриплых самооговоров
радовались ленинцы свинцу.
На виду висел, а не для виду.
Грязная дощечка «Смерть баядиту!»,
сбившаяся на бок мертвенцу.
Голова, свалившаяся косо.
Длинные н спутанные космы
седниною тронутых волос.
Крест нагрудный погнут:
знать, побон,
н не снывшиеся нам с тобою,
человеку вынести пришлось.
Батюшка — он к Богу утром рано
ближе стал на высоту чурбана,
тут же выбитого из-под ног.

Враг насилия ивный, но не главный.
 Местный поп. Священник православный.
 Всебиблейской мудрости знаток.
 «Не убий!» Но не на эту заповедь,
 впрочем, уновали партизаны ведь,
 в ночь нагрянувшие из леса,
 чтоб ответно выказать натуру:
 в щепки разнести комендатуру,
 мстя за батюшку — за связника.
 За посредника в понятие строгом
 более, чем меж людьми и Богом,—
 меж людьми и сутью их земной.
 Меж греховностью и тем, что свято.
 Меж бездумьем, длившимся когда-то,
 и судьбой, предвыстраданной мной.

☆☆☆

Пришел он с фронта победителем.
 А после школьным стал учителем.
 Я помню: сидя на возу,
 он, презиравший околичности,
 при обсуждении культа личности
 культею смахивал слезу.
 Вещал о том мне, как с насеста,
 что до двадцатого, мол, съезда
 сам кое-что соображал.
 Кумекал, мол, слегка по части
 демократичности да власти
 и знал, что все мы не металл,
 что илотью далеко до стали нам.
 Вел победитель спор со Сталиным —
 с ислевшим, но живущим в нем.
 Следивший за эпохой в оба,
 в себе он вытравлял холопа
 непримиримо, день за днем.
 В себе. Во мне. В своем братане,
 что боснком, но при стакане
 на голос забредал в закут:
 культа учителя и вонна
 секла там воздух... Вечно сдвоено
 оно во мне — культа и культ.

☆☆☆

Ильинское, Барвиха да Раздоры.
 Все те же в электричке разговоры
 про колбасу, творог да помидоры.
 Про самоокупаемость затрат.
 Про самовыражаемость одежды.
 Про самовозвращаемость надежды.
 Так что ж ты, наша новизна, и где ж ты?
 Впопад ты ныне или невпопад?
 Случайна ты или не без резона?
 Вполне законна или вне закона?
 Фяли мелькнули за окном вагона
 и Тестовской задумчивая близь.
 Мы сталинским нутем прошли до точки.
 Хрущевские осилили денечки,
 Преодолели Брежнева цветочки —
 до ягодок сегодня добрались.
 Достигли их, с нокоем порывая.
 Вот за окном уже и Беговая.
 В вагоне не порука круговая,
 по мне чужие ныне — что родня.
 И я везу в Москву свои вопросы.
 И под вагоном веселы колеса.
 И над вагоном небеса белесы.
 И земляки мои вокруг меня.

☆☆☆

От бойких журналистов нет отбою:
 идут поодиночке и гурьбою,
 распространяя сигаретный чад.
 Выискивают, что и где сломалось.
 Берут на карандаш любую малость,
 а то и телекамерой трещат.
 Акселераты. Парни и девицы.
 Сутуловаты. Зорки. Смуглолицы.
 Что фабрику, что крохотный ларек
 не скрыть от них ни за какой завесой.

Беда теперь и с гласностью и с ирессой —
 хоть на роток накидывай платок.

Хоть проглоти язык. Хоть зубы стисни.
 Да что ж за моду взяли мы в отчизне —
 сор из избы аж за порог мести.
 Подобные, простите, выступления,
 такие, извините, откровенья
 не здесь у нас, а там у них в чести.

Во всяком случае, бывали прежде...
 А журналисты в будничной одежде
 знай превозносят что-то и крушат,
 и радуя нас этим и не радуя.
 Газеты. Телевидение. Радио.
 От них до полной правды — только шаг.



Денис
НОВИКОВ

Дебют в
ЮНОСТИ

☆☆☆

В ожидании друга из вооруженных
 до зубов, политтратоту знающих тех,
 распевающих бодро о нушках и женах,
 отдыхающих наспех от битв и нотех,
 из потешных нолков обороны воздушной,
 проморганшей игрушечного ируссака,
 не сморгнувшей его голубой, золотушный
 от пространства и солнца, как все облака,
 безопасный, штурмуемый хроникой суток,
 самолетик; из комнаты, где по часам
 на открытках, с другой стороны незабудок,
 пишут считанным лицам по всем адресам;
 из бывалых, и тертых каленою немзой,
 проживающих между Калугой и Пензой,
 но таких же, смолящих косяк впятером
 от щедрот азната, но тоже такого,
 с кем не очень-то сбачаешь Гребенщикова
 и не очень обсудишь стихи, за бугром
 выходящие, но ничего, прокатили
 две весны втихомолку, остаток зимы
 перетерним, раздастся надрывное «ты ли?!»
 но стране, и тогда загуляют взаимы
 рядовые занаса в классическом стиле...

☆☆☆

Часто нишется Бог, а читается правильно — Бох.
 Это правильно, это похоже на выдох и вдох,
 для такого-то сына, курящего ночь напролет,
 все точнее; налет себе чаю, на брюки прольет.
 Все точнее к утру, к черту мнения учителей.
 Вот и черт появился, и стало дышать тяжелей.
 Или это иной, от земного отличный, состав,
 или это то самое, что предвещает Минздрав...

☆☆☆

еще душе не в кайф на дембель
 в гражданском смысле слова гибель
 еще вчерне глотает стебель
 и крепко держит будто ниннелъ
 еще не больно в небо пальцем
 играя с притяжением в прятки
 сырой мансарды постояльцем
 где под матрацем три тетрадки
 предпочитают быть покамест
 но кингам числюсь что ж такого
 что черный калий твой цианист
 веревка белая пенькова.



Анатолий
ПРИСТАВКИН

КУКУШАТА, ИЛИ ЖАЛОБНАЯ ПЕСНЬ ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ СЕРДЦА

Повесть

Рисунки
Вячеслава Лосева

Ночь, как деготь. В сарае темно, и за сараем темно. И темно, и промозгло. Сидим, дрожи продаем. Околели, в общем. Значит, скоро утро: под утро всегда холодает.

А про деготь я вспомнил не случайно, вчера, как в сарай залетели, на него наткнулись, в бочке, в углу. На него и на телегу без одного колеса. А как стали замерзать, возникла шальная мысль: не поджечь ли нам эти деготь и телегу, да и сарай заодно, чтобы напоследок погреться!

Взвейтесь кострами, синие ночи!

Вот именно, кострами, как у этих, у артековцев в кино. Прощальный сбор в конце лета, огонь до неба и счастливые, озаренные пламенем лица.

Взвейтесь кострами...

и т. д.

У нас тоже был прощальный! Жаль, что сами сгорим. Да кому жаль-то? Самим себя, и то не очень. Не велика, как говорят, потеря. Может, какая сердобольная старуха из голявинских поселковых, завидев пламя, и перекрестится: мол, отмучились, окаянные, прости им, боже, их согрешения! А остальные еще с облегчением вздохнут: издохли ироды, туда им и дорога! Жили, небо коптели, как паразиты, так и сдохли не лучше! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Не мой глаз!

А вот и не сдохли еще!

Не сдохли, слышите вы — отцы, матеря, братья, сестры, дорогие папаши и мамыши! Потерпите уж малость, простите великодушно, коли не сразу сгорим. Легавые, что обложили с вечера этот дырявый сараюшко, очень даже крепко берегут нас для вашего же спокойствия. Чтобы спали и не знали ничего, как вы до сих пор с закрытыми глазами да заткнутыми ушами рядом с нами жили. Еще одну ночь переживете, надеюсь. Пока нас менты не схватят. Пока не «обезопасят», так что ли выражаются!

А не схватили до поры, уж извините, потому, что свои драгоценные жизненки, спасенные неизвестной ценой от фронта, для своего и для нашего общего светлого будущего берегут.

У нас, как вы догадываетесь, никакого светлого будущего нет. Мы оторвы, отбросы общества, его дерьмо, экскремент, по-научному. А по-нашенски — говно. Нас пора бы давно на помойку, да только сейчас по-настоящему хватились, когда от нас, как выражаются, вонять стало.

От клопов воняет, когда их давят.

Хотели они нас вчера придавить, да мы им хрен в зубы показали. А как они вытащили свой жестяной рупор, именувый матюгальником, и начали в него кричать: чтобы мы не валяли дурака, а выходили бы по одному, а они обещают нас не бить и ничего плохого нам не делать, так мы, чтобы они берегли внутри себя свой пердучий пар и зазря его не расходовали, пальнули в них из ружья. Тут они и заткнулись. Как пилюлю проглотили. Хоть дробь наша до них, ясно, не достала. Теперь молчат. Ждут рассвета, а может, и помощи какой-нибудь. Они же у нас храбрецы! Когда злые бывают, то семь мух убивают! А на пацанов, вооруженных одной берданкой, идти и рисковать у них запала нет. Тем более, они не знают, сколько нас и чем мы на самом деле вооружены.

Вообще говоря, я сам не знаю, сколько нас после всей этой заварушки осталось. Пятеро. А может, шестеро. Или семеро...

Теперь сидим и кукуем в нашей клетке. Поскольку мы все Кукушата. Так нас в нашем «спец» зовут. И никакой это не символ, а фамилия такая. Причем у всех такая одинаковая фамилия: Кукушкины.

Я гляжу наружу, но слышу, как от противоположной стены ухает от кашля Шахтер, отхаркивает свою шахтерскую мокроту. Он сторожит свою сторону и мучается без курева. Ему тринадцать, он чуть старше остальных, и уже дважды удирал из «спеца», и даже поработал полгода на шахте под Тулой. Его, конечно, разыскали, вернули, и с тех пор он курит, а еще отхаркивает черноту. Отхаркнет, сплюнет на ладонь и показывает остальным, вот он, уголек, который в легких. А комочек харкотины, и правда, черного цвета. Такая-то, говорит Шахтер, свобода от нашего «спеца», от которого не скрыться и под землей. Черного цвета свобода, говорит он. Изнутри и снаружи.

Но лучше там, под землей, чем здесь, на земле. Это-то мы сразу для себя решили.

Журнальный вариант.

Сверчок и Ангел еще с вечера забрались в телегу и до сих пор с нее не слезли. У Сверчка температура, и он громко стучит зубами. Ангел же боится темноты и скучит от страха. Страх этот от прошлого, которого никто из нас не помнит. Никто не помнит, но что-то внутри нас помнит, если нам, как и Ангелу, временами неведомо переносить ночь. Но мы еще притерпелись. Ангел же и в «спеце» ночами не спит, ждет рассвета. Темнота изводит его до тошноты, до обморока.

Рядом с Ангелом и Сверчком Сандра старается их своим мычанием подбодрить. Сандра не умеет говорить, хотя она вовсе не глухонемая. Она все слышит и все понимает. Говорят, что слова, все до единого, она забыла от испуга. Когда же произошел испуг, она не помнит.

Мы вообще странные существа, создания, зашифрованные в какие-то времена, и лишь наше поведение выдаст нашу причастность к чему-то, чего мы не знаем. Спросить же нам некого. А когда нам говорят о нас, то обычно врут.

Сейчас уже можно сказать в прошлом времени: ввали.

По левую руку от меня, почти в углу, расположился мой закадычный дружок Бесик. Зовут его Виссарион, дружки звали Бесик. Ну, а познав кипучий нетерпеливый характер, сразу переделали имя на Бесика. Он у нас заводила, бунт. Не могу вспомнить, но, думаю, все, что сейчас с нами произошло, началось с него. Я не говорю, что это он придумал. Он оказался искрой в пороховой бочке.

Я слышу его шепот, обращенный к Моте:

— Ты ружье зарядил? Ты не забыл зарядить? Дай пальнуть разок!

Мотя караулит у двери. Это самое уязвимое место. Мотя единственный среди нас с оружием. Ружье старое, тульского завода, мы его прихватили в одном доме. И ружье, и патрон-таш. Мотя же вчера из этого ружья пальнул по ментам. Думаю, что стрелял он первый раз в жизни.

Если бы несколько дней назад мне сказали, что Мотя, наш справедливый и мирный Мотя, у которого «все люди хорошие», станет стрелять в какого-нибудь человека, я бы первый не поверил.

Но он стрелянул, и оказалось не страшно. Мы поняли: они нашей стрельбы боятся. А значит, мы будем стрелять еще.

Теперь они там, за бугром, ждут рассвета, будто с рассветом нас легче брать. А по мне, так для их легавого ремесла больше всего подходит именно ночь. Ночь да темнота, как деготь, когда свидетелей нет и когда нам страшно. Не потому ли мы боимся темноты, хотя не все, как Ангел, выдаем свой страх, что остался с той ночи, когда такие же легавые вошли в наш дом, которого мы не помним, гремя сапогами и двигая мебель? И — в дом. И — в нашу жизнь.

И — в наши души.

Мы-то не помним, а души, наверное, помнят. Из них, как харкотина из нутра Шахтера, кусками выплевывается накопленная в нас чернота. И я понимаю Бесика, почему он выпрашивает у Моти ружье, чтобы разок из него пальнуть по ментам. Бесик при появлении ментов цепенеет, а глаза у него становятся белого цвета. Я стараюсь в этот момент быть рядом с ним, иначе он может броситься и даже кого-то укусить. Мотя ружья ему не дает, зная его такой характер.

Я слушаю, как Сандра утешает Кукушат своим мычанием, думаю о Бесике и о Моте, и еще о Шахтере, и вот что мне приходит в голову: что с ночью у нас покоивчено. Больше таких ночей у нас не будет. Никогда не будет. Я точно знаю.

А все ведь началось с появления женщины на исходе дня в нашем «спеце».

2.

Да, да. Все началось с появления этой женщины. Мы из-за кустов ее сразу засекли. Да и как в нашем глухом поселочке, задрипанном Голяках, не заметить нового человека, да еще если этот человек баба, забредшая по своей дурасти в наш спецрежимный детдом?

Из местных, ясно, к нам не приходит никто. Только те, кто у нас работает. Но их немного. Из района тем более не появляются, они давно на нас рукой махнули. Даже местная милиция, которой велено инструкциями за нами следить, не слишком-то себя утруждает. Встречи с нами и на улице не сахар. Даже не сахарин. А в нашем осином гнезде и подавно.

...А женщина появилась у нас под вечер, худенькая, как подросток, с короткой челкой, в берете. В это время мы делили в кустах молодую картошку, вырытую на чужом огороде.

Мотя, который делил, выглянул да засмотрелся, нам его обратно за штаны втягивать пришлось. И Бесик, и Шахтер

посмотрели. Остальные не стали. Они о картошке думали.

— Фартовая, — определил Мотя и почему-то засмеялся.

— Сумочка у нее фартовая, — уточнил Бесик. Он еще раз высунул голову и добавил: — Держит сумочку... Как в гости пришла... Графуния... Нуты-футы, пожки гнуты...

— Сорвать, — сказал Шахтер.

— Срезать, — уточнил Сверчок.

— Слямзить, — предложил Корешок.

— ...Была ваша, стала наша...

И уж намостырился Бесик божать наперерез красоте, чтобы эту, теперь мы все видели, легкомысленно повешенную на ручку сумочку изъять, то есть говоря их языком — национализировать, сумочка прямо-таки просилась к нам, она сама хотела, чтобы ее скорей изъяли, но остановил Мотя.

— Замри, Бесик, — произнес спокойно. — Замри, не бсись. А если руки чешутся, то чепи добровольцем еще раз за картошкой! — И пояснил для непонятливых: — Это ведь не прохажывая на улице, чтобы у нее на ходу подметки рвать. Она же, небось, к директору идет. А вдруг она новая воспитательница? Вместо Захаровны, что сбегала? Или — надсмотрщица? Или — повариха?

— А вдруг она чья-то тетя?

Это последнее, про тетю, особенно всем понравилось.

Захотали, заблели, надрывая животик, а Корешок заголосил на высоких тонах, вызвав новый приступ смеха:

— Здра-а-сте... детки... Я ваша тетя!

Мы корчились, мы умирали от нашего юмора. А юмор заключался в том, что никогда, за всю историю существования нашего режимного «спеца» ни одна тетя еще к нам не забредала. Хотя бы силой кто загнал. Но, правда, легенды были. И, как всякие легенды, невероятно живучие, были о том, что раз в сто лет случаются такие невероятности, как появление в детдоме дальних родственников, а то и тетя (тетя!), которые, вот чудеса-то, дав какие-то там обязательства, гарантии, расписки, могут взять племянника, родственника дальнего и вытащить его из нашего гиблого места, из наших Голяков, и увести в какую-то другую, неспецрежимную жизнь.

Легенды легендами, но еще ни разу ни один Кукупонок в глаза тех залстных родственников не видел, и надо понимать так, что не увидит. Потому и зубы скалили, и животики надрывали, изображая друг перед другом встречу с фантастической, с мистической, с космической тетей.

— Ах, тетенька, зд-д-ррас-те! А мы-то заждались! Мы-то заждались! Никак се-дня и не ждали, разрешите, те-я-нька, сумочку подержать! Ах, какой костюмчик, особенно кармашки... Милашки-кармашки. а в кармашечке-то что? Кошелечек в кармашечке-то. Что вы, те-я-нька, сказали? Был кошелечек? Может, и был, а теперь, те-я-нька, нет конпелечка, и браслетика с руки нет, и цепочки с шеи... Ах, те-я-нька, за что мы обожаем тетечку, что приезжают они к нам при полном параде... В таком виде и отпустить жалко... Но отпустим, как не отпустить, кто же тетеньку, родственную душу-то, долго станет держать... Только не рыдайте, не плачьте, не убивайтесь, а то мы сами заплачем от жалости! Ах, вам кошелечек жалко. А нам, думаєте, не жалко, но мы же берем и не плачем, мы же суровы! Ах, вы, те-я-нька, платочек лишь просите... Так нет платочка-то, его давно сперли и унесли... Кто спер, если бы узнать! Но вы не бойтесь, те-я-нька, утрите рукавом слезы, мы его найдем! Найдем! Найдем! Обормоты, шакалы, говноеды несчастные! Им бы по карманам шарить и наших драгоценных тетей обижать! А вы уж не ждите, те-я-нька, не ждите, родненькая, а уезжайте поскорей, а то они ведь могут и последнее взять. С них, те-я-нька, станет... А если захотите, то и опять приезжайте, мы-то зла не коим, мы всегда тетенькам рады. Так, прощайте, прощайте, красота наша!

Попутного вам ветра... В за-а-а-д!

Так мы веселились, не зная, не ведая, что в той пресловутой сумочке, у той драгоценной тетечки лежит нечто, до поры тайное, ну, скажем, как бомба, которая разнесет весь наш «спец» вдребезги. И его, и нас, всю нашу жизнь в придачу!

Ах, Бесик, Бесик! Не надо было тебя удерживать, когда ты рвался ту красивую сумочку прибрать к рукам. Твои гениальные руки с длинными пальцами, умевшие проникнуть в любое гнездо, чтобы достать яичко, а в любом кармане чувствующие, как у себя дома, должны были тогда это сделать. А если бы они тогда это сделали, то и жизнь наша, может быть, повернулась по-другому.

Впрочем, по-другому — не обязательно лучше.

А между тем женщина, уносившая свою отныне и навсегда кличку «тетенька», прошла в главный корпус и исчезла за дверьми. А жизнь, наша жизнь, потекла своим обычным руслом в заботах о дне насущном: раздобыть съестное и, конечно, дожидаться, дожить до бесценных минут ужина, хоть было заведомо известно, что это будет за ужин: снова затируха с капелькой постного масла и крошечная паечка хлеба. На ужин хлеба давали меньше всего. Верный расчет директора Чушки на то, что к ночи ста спецрежимным питомцам легче добыть, стащить, достать, своровать пропитание, чем, скажем, поутру. Но где достать?

Раскидывая об этом мозгами, в то время как рот делал свое дело, то есть облизывал тарелку, пытаюсь из металла выжать еще одну каплю затирухи, я услышал, как воспитательница Наталья Власовна, по-нашенски — Туся, глуповатая, не злая, не молодая, лет, наверное, тридцати, крикнула, что после ужина всем Кукушатам велят зайти в кабинет директора.

В детдоме знают, что фамилия у нас Кукушкины. Но привыкли и называют Кукушатами, или Выводком, или Гнездом. А если кто попался на рынке, то Стаей, а то и Бандой. И тогда понятно, что речь идет о нас, десятирех. То есть было десять, теперь осталось девять; один, Христик, сбегал месяц назад, а куда — неизвестно.

Новички, узнав о таком количестве Кукушкиных, спрашивают, не братья ли мы, что носим одну фамилию. А если не братья, тут же начинают спорить и доказывать: не может быть, чтобы столько оказалось разом Кукушкиных «не братьев». Мы тогда говорим, что вот, в царской армии, были Ивановы... Седьмой Иванов, так и выкликали. Почему же, говорим мы, Ивановых может быть в армии семеро и даже больше, а Кукушкиных — не может? И ничего на это возразить нельзя.

А что мы не родственники и не братья-сестры, так это и по виду можно догадаться. Бесик у нас чернявый, вертлявый, как червяк, и носатый, а Сверчок, как мухомор, рыжий. Когда он поет, а поет всегда и знает разных песен миллион и еще одну штуку, лицо краснеет от напряжения, и конопатины на нем еще больше вылезают. Зато Ангел, как и положено ангелу, который спустился на землю, тих, курчав, стеснителен, будто девочка. Сандра против него грубовата и крута, зазря что не говорит, но у нее и мычание на окрик похоже. Мотя и Шахтер покрупней, постарше остальных. Но Шахтер мордастый, толстогубий, доверчивый, а Мотя длинный, худой, справедливый, а рот у него как бы создан для вечной приветливой улыбки, дугой, как у Буратино, и у него все люди на земле хорошие. Дружит Мотя с Сенькой Корешком, золотушным и всегда больным. Когда его в наш «спец» привезли, Наталья Власовна, Туся, задала однажды на уроке Сеньке вопрос: что он взял бы для еды от капусты, вершок или корешок? А Сенька, глупыш, растерялся, потому что в ту пору еще не знал, как растет эта самая капуста, и брякнул, что он взял бы себе «корешок». Добрый Мотя вступился за него и выкрикнул, что надо брать «вершок»! Все засмеялись, а клички прилипли, и Сеньку стали звать Корешком, а Мотю Вершком... Тогда еще Сенька Корешок был из Кукушат самым младшим, и Мотя, прям как нянька, обхаживал его. Корешки, да и только. А потом появился последний из Кукушкиных, у которого вообще не оказалось имени. Его прозвали Хвостик. Потому Хвостик, что шесть лет и что последний, и потому, что за всеми, и особенно за мной, хвостиком и ходил! Но многие утверждают, что называли его так после случая, когда у него сзади стал болтаться хвостик, и все заметили, и захохотали, — это глист торчал, который наполовину вылез, прям в дырочку штанов.

Выстроились мы в кабинете у директора: Шахтер, Мотя с Корешком, Бесик, Сандра, я, Ангел, Сверчок, Хвостик. Нас почему-то особенно любят показывать разным комиссиям, когда они приезжают. Не только из района. Из области, а то и из Москвы.

Однажды на машине приехали, все в военном и с портфелями. Выстроили они нас и стали спрашивать, кто о себе что-нибудь помнит: о родителях или о своей жизни, а может, кто-то получал даже письма.

Но мы никаких писем ниоткуда не получали и ничего не помнили. Ну, помнили то, что в прошлом году чуть пожар в детдоме не случился, один из «спец» под трактор угодил, когда в колхозе за брьюком полел. Да только это им неинтересно было. Так мы и стояли, будто глухие с глухими,

уставясь в пол. А они, военные, заглядывали в бумажки, которые «личным делом» прозываются и хранятся где-то у директора под замком, и все что-то бормотали между собой. А потом стали нас к столу выкликать.

Один из военных, курчавый, молодой, сказал мне:

— Надо, дружок, быть доверительней... Раскрепощенней... Мы с вами, видите, как свои...

Никто этих слов не понял, и я не понял, промолчал. А Мотя потом объяснил: это вроде сексота... Мол, скорей стучи на своих, выкладывая, что знаешь, если уж ты такой доверительный, вот они и говорят, что они — свои!

Мы и другие их словечки запомнили.

Один сказал: «Заметна дурная наследственность». Это лысый, пожилой, у него и звезд на погоне было четыре штуки. А другой — бледный, тощий и звезд меньше — ответил:

— Ну и социально опасные. Надо бы режимчик-то ужесточить!

А курчавый, у него всего одна звезда, тоже вставил:

— Режим изоляции от общества благоприятен для их развития.

И тогда лысый пожилой еще сказал, как бы обобщая:

— Как на курорте... Пора для них тут спецремеслуху организовать, чтобы дармовой хлеб не ели. Труд и только труд лечит от классовой ненависти. Вот только почему они в стаю сбились? Почему кагалом ходят? Они сами групповщину свою организовали? А может, их кто научил?

Директор тогда сказал, поправив очки, что мы все Кукушкины и потому ходим вместе. Но никакой организации он не заметил и вообще считает, что это детдому никак не вредит.

По случаю, кстати, высокой комиссии директор нацепил золотые очки. Он их где-то стибрил, и все знали, что в стеклах он старается не смотреть, через них он ни фига не видит. Но уж по торжественным случаям обязательно нацепит. Ибо считает, что в них его свиное рыло выглядит благороднее.

— А вы не задумывались, отчего столько сразу однофамильцев у вас появилось? — спросил курчавый. — Или они сами такую странную игру затеяли, что взяли одинаковые фамилии?

— Да нет, — сказал директор, — они же глупы... недоразвитые они... Разве не видно?

— Видно, — сказал старший, лысый. И посмотрел на Сандру. Вывел ее из строя и вокруг обошел. — Уникальный случай в медицине, — произнес и попросил рот открыть. Она открыла. — Видите, — сказал, повернувшись к своим, — понимает же?

Директор кивнул:

— Понимает, но не говорит.

— Может, она того... Притворяется? Чтобы всех запутать? Такие, между прочим, случаи очень даже бывают.

— Она не может притворяться, дурная потому, — сказал директор. — А фамилия на всех Кукушкиных соответствует документам. Вы же сами убедились.

Лысый и все остальные застегнули свои портфели и на нас не смотрели. А мы стояли и ждали. Чего ждали, понять было нельзя.

— А документы откуда? — спросил лысый, направляясь к двери. Нас как будто здесь вообще не было.

Директор молчал, а тот продолжил, открывая дверь:

— Вот видите... А мы хотим узнать! — И пошел наружу. И все стали выходить, и директор побежал рысцой за ними, и в коридоре в открытую дверь было слышно, как курчавый громко сказал:

— Вы их это... Разведите... Групповщина — штука страшная... Они вам еще дадут жару!

— Конечно! Конечно! — ответил директор. — Немедля разведу! Не волнуйтесь!

Но как нас разведешь, если Кукушкины давно в стаю сбились, и сбились не у директора в кабинете, а на улице, где их по спискам не проверишь. Как-то попытались они нас «развести», даже какую-то лекцию про международный оппортунизм прочитали, на том дело и кончилось.

Комиссия на машине уехала и больше не появлялась. Но и Кукушкины с тех пор больше в наш «спец» не поступали.

3.

Директор, Иван Орехович Степко, носящий между нами кличку Чушка, встретил нас, как всегда, хмуро и велел построиться. Потом он вышел и вернулся с нашей «тетенькой», которую мы засекли на подходе из-за кустов. Тетенька

вблизи показалась нам моложе и была красивенькой. Короткая стрижка, как теперь, в войну, зеленый беретик и кокетливая челочка на лбу. Глаза такие большие, темные, прямо-таки воткнулись в нас, будто милиция, изучая наши физиономии. Ну а мы, конечно, устали и мы выбираем объект неподвижной на руке. Помню, подумалось, что долго эта глупая сумочка не провисит... Тут, в коридоре, ее и срежут, а если до сих пор не срезали, то это от некоторой непривычки перед новым человеком, да еще бабой, да еще красивой такой на вид. Но у нас в «спеце» и на красоту не посмотрят. Красиво лишь то, что можно украсть. Сумочка — вот это красота!

Я отвел глаза и стал смотреть на директора.

Когда нас осматривают, как витрину все равно, мы тоже сперва осматриваем исподтишка осматривающего нас. Потом это нам осточерчивает и мы выбираем объект неподвижной. Для этого как раз годится наш директор Чушка. Он на вид рыхлый, тяжеловесный, с одышкой и нас никого не помнит. Он даже не делает вид, что мы его интересуем. Его интересует только его дом, его хозяйство и его свинство.

У него на другом конце поселка свой дом, двор, а на нем много свиней, которыми мы носим хлебное из нашей кухни. А когда мы это хлебово несем, мы гущу вылавливаем руками на ходу. Но мама Чушки (это как звучит!) — старая ведьма, специально выходит на улицу, чтобы проследить за нами, а видит она на диво далеко. Она вообще, когда мы появляемся у них во дворе для работы, следит за нами и впрямую, и тайком, и мы знаем, что она нас всех ненавидит. Когда она разговаривает с нами, она вместо звуков выдает шипенье, и в глаза она при этом не смотрит. Но и ее сынок тоже никогда в глаза не смотрит. Случись какой разговор, он обращается будто к полу, к столу или стулу, а не к говорящему. Никому их нас не удалось ни разу узнать, какой у него по-настоящему взгляд. Бесик утверждает, что однажды он увидел директора в окно, забравшись на дерево около его кабинета, и будто сразу догадался, что глаз невозможно увидеть потому, что там их нет, а есть две дыры, как в черепахе, в которых ничего не увидишь.

— Он смотрит, как из могилы, — сказал Бесик и хотел изобразить, как это бывает, но ничего не получилось.

— А зрачки? — спросили мы.

— Нет там никаких зрачков! — воскликнул он. — Одни дырки. Я когда увидел, чуть с дерева не грохнулся. Не зазря он их стекляшкой прикрывает!

Теперь он был без стекляшек, оправленных в золото.

Директор сказал, обращаясь не к женщине, а к полу:

— Эти — Кукушкины.

И вышел, громко топая, а женщина осталась. И сумочка продолжала болтаться у нее на руке. Я заметил, что, взбурдаженный такой беспечностью, Бесик прямо-таки потянулся в сторону сумочки, но его одернули: успеется, мол. Больше же ничего интересного не происходило. Думаю, нам всем одинаково тоскливо подумалось, что сейчас вот и начнутся глупые вопросы насчет фамилии, да насчет Сандры и нашего прошлого, которого мы все равно не знаем. Да и знать не хотим.

Но женщина лишь вздохнула, когда директор захлопнул за собой дверь. Лицо ее чуть оживилось. Она сказала:

— Ну, здравствуйте, что ли... Кукушата...

И почему-то засмеялась. Мы вразнобой, все, кроме, конечно, Сандры, ответили ей, кто «здорово», а кто «наше вам с кисточкой»... А Ангел произнес ни с того, ни с сего: «Добре дошли»... И смутился. Потому что это высказало помимо его самого, и он не знал, что это означает.

Женщина тогда сделала шаг к Ангелу и спросила:

— Ты что же — знаешь болгарский?

Мы все удивились и посмотрели на Ангела. А он от испуга помотал головой, удивленный вопросу не меньше нашего. Никакого болгарского он не знал и нигде сроду не бывал. Просто женщина еще не поняла, что у него высказывают сами по себе, будто в фокусе, всякие непонятные слова. Ну, как бы у Сандры ее мычания.

Женщина еще раз, но совсем по-другому, всех нас осмотрела, а на мне, я это прямо кожей почувствовал, остановила взгляд. Даже не знаю, почему я почувствовал, что она не как на остальных на меня посмотрела.

Потом она прошла вдоль строя, а увидев Хвостика, задержалась.

— А ты кто же будешь? — спросила удивленно.

Хвостик не растерялся и, в свою очередь, спросил:

— Мы-то Кукушкины, а ты кто такая?

Женщина покачала головой. Такие, мол, Кукушата, что им, даже самому младшему, палец в рот не клади. Она

полезла в сумочку — мы прямо глазами воткнулись следом за ней — и достала большую конфету в бумажке.

— Держи, — сказала, — Кукушонок! — И протянула конфету Хвосту.

У меня да, наверное, у всех нас сердце екнуло от такого ошалелого подарка. Я прям почувствовал, как в строю все наши напряглись. Никому из Кукушат не приходилось еще видеть наяву настоящую конфету в фантике, мы о ней лишь по рассказам знали. Подумалось, не только, наверное, мне, чтобы Хвостик конфету втихаря не схавал, а поделил на всех. Да она, конечно, всем и предназначена. Не бывает так, чтобы одному человеку, тем более Хвосту, который хвостик от нас и есть, отдали на съедение целую конфетину.

Размечтавшись, я сразу и не заметил, что женщина встала передо мной. Я даже вздрогнул от неожиданности, увидев в упор ее глаза. Она смотрела на меня пристально, не отрываясь. И в то же время это был какой-то ужасно грустный взгляд, вот что еще я сразу понял.

Она шевелила губами, но у нее не сразу произнеслось:

— А тебя... Тебя-то как зовут?

— Сергеем, — я ответил и посмотрел на сумочку: может, и мне обломится за такую мою вежливость конфета?

— Сергей... Кукушкин? Сережа, значит.

— Почему Сережа? — спросил я с вызовом. Мне не понравилось, что она странно произнесла, будто присвоила себе мое имя.

— Серый он! — выкрикнул Бесик, тоже не отрывая своего взгляда от сумочки. Он даже задвигал пальцами, разминая их, как перед работой.

— Как? — спросила она, повернувшись к Бесу. — Серый... Почему Серый?

— Ну, кличка, — ответил я нехотя, поняв, что конфета мне не обломится. Да и вообще долгое внимание начинало надоедать. Пусть бы она с Шахтером нашим поговорила, он бы ей ответил на своем языке. И ни на каком ни болгарском, а на чисто шахтерском, где через слово всякие «мамы» вспоминаются. А может, и «тети» тоже.

Но женщина, кажется, сама поняла, отстала. Как говорят, отцепилась. Взгляд у нее стал задумчивый, а может, даже расстроенный.

— Вот что, братцы, — сказала как про себя, как через силу, и уже не улыбалась. Будто ей стало больно с нами говорить. — Я приехала потому, что... Ищу я родственника... Ищу очень давно, и много я объехала детдомов, приемников...

Она произнесла слово «родственник», и мы тут же, Кукушата, переглянулись: не об этом ли шел разговор! И на тебе! Чудо свершилось!

— Фамилия мальчика, которого я ищу, — Кукушкин, а зовут его Сергей, — сказала женщина и посмотрела на меня. И все на меня посмотрели. Кто с любопытством, а кто с интересом, с завистью и даже со страхом. И лишь я один никак не отреагировал на слова, будто они меня не касались. Но, а правда, касались ли, если на свете тыщи Кукушкиных и многие из них Сергеев... И если Хвостик без имени пришел в наш «спец», то и он в конце концов и другие могут быть Сергеевыми!

Тут вошел директор Чушка и спросил не у тетки, а у пола:

— Ну и что? — как на допросе: что, мол, удалось выпытать.

Наверное, это означало, что он интересуется, хотя и без интереса интересуется, кого тут приезжая нашла? А если никого не нашла, то пора бы ей закругляться, а то ему надоело ждать.

Но женщина, видать, не жила в «спеце», она не поняла прямого намека:

— Простите, — сказала, — я быстро... Я хочу лишь переговорить с Сергеем Кукушкиным. Вы разрешите? — И посмотрела ласково на директора.

А он отупело — когда это с ним так разговаривали! — проследил за ее глазами из-под века и окинул тусклым взглядом меня. Но я его глаз не ухватил. Думаю, что и он меня не увидел. И не прошибла бы его никакая просьба, если бы не умоляющий жест приезжей, которая не сводила с него больших своих странных красивых глаз.

— Валайте, — разрешил он, обращаясь к полу. Но тут же добавил: — Недолго. А остальных... Эти... Из шайки-лейки... Замолкни, и марш в зону!

Словечки «замолкни» и «в зону», мы знали, его любимые. Как ни странно, они не отдаляли Чушку от нас, а, наоборот, приближали, делали почти своим. Это ведь были и наши

слова. Из нашей жизни. Кукушата, несчастливенные свободой, громко покатались к дверям и пропали. Лишь Мотя оглянулся на меня и сделал знак, понятный всем Кукушатам — палец поднесен ко рту — мол, мы с тобой, кричи, откликнемся!

Директор, помедлив в дверях — а вдруг без него не обойтись, — убрался с неохотой из своего кабинета.

Я точно знал, что он будет подслушивать. А может, и не будет, все-таки свинья ему дороже какого-то бессмысленного разговора одного из нас, Кукушкиных, с приезжей и, выдать, сумасшедшей бабой.

Я тоже стоял и глазел на дверь. А куда мне еще глядеть? Меня вроде арестовали, одного из всех, я и стоял как арестованный, то есть терпеливо ждал, что могут со мной еще сделать.

А женщина села в директорское кресло и достала папиросы из той же самой сумочки. Господи, и папиросы там тоже были! Знал бы Шахтер, он сам свистнул бы сумочку, не дожидаясь всяких манипуляций Бесика.

Женщина закурила папиросу и попросила меня тоже сесть. В кабинете был стул.

— Да садись же! Ближе, ближе... Я не кусаюсь...

Я присел на краешек стула, но не так близко, как она просила.

«Ах, тетенька, — не держали бы вы меня...» — подумалось с тоской. Но я сидел и ждал, решив до конца выдерживать всю эту казнь. А женщина курила и молчала.

4.

— Ну, еще раз... Здравствуй, что ли, — произнесла она. — Забыла представиться... Зовут меня Маша... Мария Ивановна, значит.

Я кивнул. Но про себя-то я знал, что не буду никак ее называть. Разве что для юмора тетенькой, и то не вслух.

— Я тебя давно ищу. Кукушкины по многим детдомам разбросаны, а некоторые в ремесленные училища ушли.

Она спросила:

— Знаешь, сколько Кукушкиных оказалось? Больше тридцати! А ты — среди них... Я ведь тебя искала!

«А я тебя не искал», — захотелось ответить. Но я сдержался. Вот если бы директор наш, Чушка, сейчас вернулся бы да приказал очистить кабинет. Я в этом кабинете всего разок и был — это когда военная комиссия с портфелями нас вызывала. Я его весь глазами обшарил, но ничего полезного для себя не высмотрел. Стол, да шкаф, да портрет Сталина над столом. Под Сталиным надпись: «Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбванное плодородное дерево. И. Сталин». Это, значит, Чушка, как садовник, собирался нас по Сталину выращивать. Да не очень у него выходило. У него свиньи по Сталину лучше выращивались, чем люди.

Я прислушался: за окном негромко, но требовательно разнеслось «Ку-ку». Наши просигналили.

У Кукушат, все равно как у птиц, свои, призывные. звуки есть. Мирлобное кукование означает, что ты жив, здоров, чего и другим желаешь. Резкое, быстрое «ку-ку» — знак тревоги, беги на помощь, кто может. И бегут. И еще одно, горластое, протяжное, как зов трубы... Это по любому серьезному поводу сбор.

Сейчас куковали мирно, но как бы и чуть вопросительно, что означало: «Не дрейфь, мы с тобой, мы тебя ждем».

Я оторвался от окна и вздохнул. «Ах, тетенька, — снова про себя попросил. — Не мучила бы ты меня. Да и себя бы не мучила. Давай простимся... Как в известном двоемном фокстроте: «И в дальний путь на долгие года...»

А женщина снова стала закуривать. Я проследил, куда она прежний бычок бросила, чтобы потом для Шахтера пододвинуть. Будет и от тетеньки польза: лишний раз Шахтеру не идти на станцию, не собирать вдоль насыпи окурки. Два полновесных бычка — такая находка!

Она вдруг спросила, я в то же мгновение понял, что этот вопрос у нее давно за щекой лежал:

— А ты правда считаешь, что твоя фамилия Кукушкин? — И так как я продолжал молчать, она добавила сквозь дым: — Тебя не удивляет, что ваше, ну... Гнездо... Ваша стая... Не случайно возникла? Нет?

— А как она возникла? — спросил я тупо.

— Ну, — сказала женщина Мария Ивановна. — Могли, например, вам в распределителе такую фамилию дать. Или...

— Зачем?

— Мало ли зачем. Могли же?

— Зачем? — повторил я, как попка-дурак. Но я дураком сейчас и был.

Тетка не ответила, а снова, не докурив, бросила папироску. А я опять подумал, что бычки у нее остаются роскошные. Шахтеру-то нашему лафа. Хотя я ему сейчас завидую, его свободе, но тоже не зря мучаюсь. Интересно, кто из Кукушат куковал? Трудно по голосу определить, но я почему-то подумал, что это Бесик. Он всегда за меня волнуется. А может, Мотя.

— Я тебе хочу сказать, Сергей... — произнесла она. — Скажать, что фамилия твоя вовсе не Кукушкин!

Тут я должен был спросить: «А какая же?» Но почему-то не спросил. Я знал, все равно она сама скажет. А торопиться мне теперь некуда. Двенадцать лет жил Кукушкиным, могу пять минут еще пожить. Да и не верил я ей.

— Твоя фамилия Егоров, — произнесла она. — А звать тебя и правда Сергей. Сергей Антонович. А лет тебе одиннадцать. В сентябре двенадцать будет. А знаю это все. Сережа... от твоего родного отца... Антона Петровича.

Добыла-таки. Как гусеницей по мне прошлась. И хоть не верил, не мог я ей верить, если хотел дальше жить, но спросил. Себе во вред спросил:

— Вы... Его... Знали?

— Знала. Конечно.

— А где он?

— Сейчас не скажу... Мама у тебя умерла, ты ее не помнишь. Но ты и отца не помнишь?

— Нет, — сказал я. Слова почему-то начинали застревать у меня в горле, мешали говорить.

— Ну да, когда его... Он, то есть, уходил, это в тридцать девятом. Тебе же шесть лет было!

— Он меня бросил? — и рывком я переспросил: — Он меня бросил? Да?!

— Нет, — ответила тетка, вздрогнув. — Нет, Сергей. — Лицо ее было какое-то испуганное. — Он тебя не бросил! Нет! Нет!

Надо было не поверить и уйти. Надо было сбежать, если я хотел еще жить. Но я ждал. Чего я ждал? И зачем мне нужна была какая-то правда, если эта правда все равно опоздала? Лучше бы ее не было совсем. Но вот она, тетка, приехала, тридцать Кукушат счастливо миновала, чтобы именно меня выбрать из тридцати, и выстрелить этой правдой, и убить наповал. А я, дурачок, еще доверчиво ожидал, когда она все это проделает.

— Как тебе сказать... — Тетка полезла в свою сумочку, вынула пачку папирос. Обнаружила, что пачка-то пустая. выкинула, не заметив, что та упала на пол. Чушка завтра придет, кому-то влепит из дежурных за грязь. — Его забрали... Понимаешь?

— На фронт? — спросил я, хотя мог бы вспомнить, что до войны, а это случилось до войны, никакого фронта. наверное, и не было.

— Он ушел не на фронт, — произнесла тетка устало. Ей тоже нелегко давался наш разговор. Я только сейчас об этом подумал. Но если она меня не бросает и разговор не бросает, значит, не все, ради чего она приехала, сказала.

Она поднялась. Поглядела на ручные крошечные часики и сказала, что ей нужно поспеть на московский вечерний поезд, иначе она опоздает на работу. Но она придет. Через несколько дней она придет пораньше, чтобы поговорить еще. Это очень важно для нас обоих. Для меня, но и для нее тоже. Она долго меня искала и не для того нашла, чтобы потерять. Вот что я должен понять. Да, и еще она просит, пока, пока... — все это на ходу и торопливо, — ничего не рассказывать об услышанном своим друзьям. Ну, то есть Кукушатам, которые тут в окно куковали. И директору тоже. Директору в особенности.

— Ему, кроме своих свиней, ничего неинтересно, — сказал почему-то я. Но засек, что тетенька-то наблюдательная, и нашу переключку, как ни дергалась, не пропустила мимо ушей.

— Не знаю, как насчет свиней, но меня он встретил подозрительно, — сказала она, задерживаясь у дверей. — Допрашивал, откуда я приехала, да кого ищу и зачем. Думаю, мог бы и погнать, но я не лыком шита, припугнула его... Так что прошу, если не трудно, говори, что я твоя тетка, понял? Так будет лучше.

Я кивнул. Я не стал спрашивать, для кого это будет лучше. И почему надо говорить тетке? А кто же она тогда на самом деле?

Она будто услышала мой немой вопрос, а может, прочла его в моих глазах.



— Приеду, объясню! Счастливо!

Она протянула мне руку. Когда она встала со мной рядом, я увидел, что она невысока и чем-то похожа на Сандру, будто не женщина, а подросток, который не намного старше нас. Она и руку дала, как у нас лишь умеют подавать, не случайным, а своим друзьям, с выбросом вперед: «по петушкам». И я принял и пожал ей руку. Даже не знаю почему. Кто бы она ни была на самом деле, эта тетка, которая не тетка, но которую буду называть теткой, я поверил, что она не врала, как врут остальные. Но именно поэтому мне стало плохо потом, когда она уехала. А когда мы прощались за руку, я еще не знал, что мне будет плохо. Так скверно, так мучительно, как никогда раньше в моей жизни не бывало.

И она ушла. А я задержал взгляд на портрете товарища Сталина, провожавшего меня чуть вприщур, улыбкой своей мудрой. Вот только про бычки драгоценные для Шахтера, оставшиеся в кабинете вместе с товарищем Сталиным, я почему-то не вспомнил.

5.

Кукушат не пришлось скликать, они сами возле крыльца толклись.

Они же первыми свои новости выложили. А новости такие, что новоявленная родственница под названием тетька благополучно убралась в сторону станции и пошарить ее не удалось. Мотя Вершок не разрешил. И директор тоже не сразу к своим свиньям убрался, все под окном торчал,

прислушивался к разговору. Но Кукушата это дело вмиг расчунали, затеяли у него под ухом песни похабные орать. Особенно Сверчок старался, ну и остальные помогали. Чушка злился, злился, а потом как гаркнул свое: «Замолкни и в зону!» А кто замолкни-то, если никого не видать. Так, чертыхаясь, и убрался.

— Выкладывай, что за тетка? — сказал нетерпеливый Бесик. — Чего ей от нас надо? — Так и сказал — не от меня, а от нас. Затронув из нас одного, затрагивали всех.

Они стояли вокруг меня, Кукушата, и ждали ответного рассказа. Бесик, Мотя, Корешок рядом с ним и улыбающийся Ангел, и темноликая Сандра с ярко-голубыми глазами, и Сенька Сверчок, что надрывал ради меня горло, и Шахтер.

При виде Шахтера я про бычки, оставленные в кабинете, вспомнил. Но я не сразу заметил Хвостика и спросил:

— А Хвостик где?

Но тут он и сам вылез из-за спины и крикнул снизу, глаза его сняли от радости:

— Серый! А тетка тебе по правде родня?

Он смотрел на меня восторженно, может, он решил, что, сидя там, в кабинете с теткой, я объедался конфетами в бумажках.

— Не знаю, — сказал я Хвосту, я не хотел ему врать. Ему и Кукушатам, которые сейчас ловили каждое мое слово. — А твоя конфета, Хвостатый, где? Сожрал?

Хвостик разжал кулак и показал яркий фантик.

— Вот. — Глаза его в темноте прямо-таки светились.

— Сам слопал? — поразился я.

Но тут влез Мотя и пояснил, что конфету они, Кукушата, как и положено, разыграли на всех, а фантик был как доля. Ну Хвостик и выбрал фантик, польстился на обертку. А мне тоже не стали выделять, решили, что я-то без конфет не останусь. «Была бы тетка, — как заявил Бесик. — А конфета найдется!»

— Ну да, — сказал я. — Была бы тетка... — и погладил Хвостика по голове. Это нас с ним обделили конфетой, которой я так никогда и не попробую.

А Хвостик, вот дурачок, обалдел от счастья и не понимал моего огорчения. Он нюхал фантик, который пах конфетой, и тянул его к моему носу: «Серый, понюхай! Понюхай!»

До отбоя оставались крохи, мне хотелось побыть одному. Я повернулся и пошел, а Кукушата, все до единого, и Хвостик, смотрели мне вслед. Я оглянулся, махнул им рукой. Я крикнул: «Потом... Про тетку и вообще...»

Много разных событий произошло в нашем «спец». И самая большая неприятность, которую не ждешь, а если и помнишь, то все равно мысленно от себя отдаляешь, хотя она все равно приходит, как неотвратимость, как наказание: это вшиводавка. Время от времени нас гоняют туда, в камеру, которую, по нашему общему мнению, придумали, конечно, фашисты. Нормальному человеку такая душегубка в голову бы не пришла. Загоняют туда кучей, раздевают догола, а потом прожаривают и нас, и наших вшей. Считается, что так нас избавляют друг от друга. Но вши как были, так и остаются, а вот одежда, и без того трухлявая, заплатка на заплатке, в отличие от насекомых, жары не выдерживает и ползет.

Еще в этой камере нас всех насильно обмазывают черным карболовым мылом. Но это только название, что мыло, а на самом деле это деготь. От него невозможно ни отмыться, ни отчиститься. Даже собаки и кошки обегают нас за версту, а воробы с испуга при нашем появлении бросают свои гнезда. Но самое главное, этот ядовитый, неистребимый запах выдает нас в публичных местах с головой похуже, чем клеймо, которым метили каторжников. Клеймо хоть можно скрыть, а как спрячешь запах, если несет за версту!

Наш Чушка, он же директор Иван Орехович Степко... Я впервые сейчас задумался: а почему он Орехович? Если я от Антоны, он что же, от Ореха, что ли, родился? Так вот, наш Чушка устраивает во время вшиводавки шмоны, и все, что мы не успели заханьрить по заначкам, отбирает. На этот раз у Корешка рогатку нашли, хоть он ее через штанину на пол спустил, но заметили, забрали, изничтожили: порезали на куски. Шахтер свой драгоценный табачок сам в толчок спустил. А глупый Хвостик, спасая фантик, засунул его в рот, за щеку, где он превратился в кашу. Но особенно долго Чушка потрошил почему-то меня. Карманы вывернул и за подкладкой шарил, и в калоши заглянул, я калоши вместо ботинок ношу. Движения у него быстрые, привычно-уверенные, он-то уж знает, где у нас искать! Так и мы ведь тоже знаем. Я, к примеру, ношу с собой книгу под названием История: век будет шарить, но не найдут... А найдут, я все равно ее назубок знаю! Она всегда моя. Впрочем, я понял, ищет Чушка что-нибудь, оставленное у меня теткой, которую он сразу невзлюбил. Да и за что ему любить тетку, которая вмешалась в нашу жизнь, бесконтрольно ходила по «спецу», вела неизвестные, никем не подслушанные разговоры?

Не ради ли этого Чушка и вшиводавку-вшивобойку свою ненавистную, свинная рожа, организовал! Организовал, но ничего, понятно, не нашел от тетки, и не мог найти. Где ему, тупому, догадаться: то, что она оставила, в кармане не лежит. Ни за подкладкой, ни в калоше! А жжет похуже маленькой вошки. И не выжаришь ста градусами, и карболой не перешибешь, которая хуже фашистских удушающих газов! А того тяжелей, что невидимо ношу, и мучаюсь, и доверить никому не могу, даже Кукушатам.

Пока меня обшаривали и наизнанку выворачивали, я мозги наизнанку вывернул в поисках своего начала. А начало мое, судя по всему, находится в распределителе, которого я не помню.

Но вот я сказал: «Не помню», — а ведь что-то я помнил, да забыл. Ну, например, как во втором классе, когда мы уже писать научились и в пионеры готовились — а может, это был уже третий, — нам продиктовали сочинение, где каждый из нас написал, что мы отрекаемся от каких-то предате-

лей и изменников, которых мы не знаем и знать не хотим.

Я еще это слово запомнил: «Отрекаемся», — потому что оно среди ребят смех вызвало... Кто-то переиначил: «Отругаемся»... А другой повторил: «Отыкаемся»... Или «отрыгаемся»... И пошли придумывать, и запомнилось, а остальное из того, что мы писали, начисто забылось. А вот когда бумажки собрали, то нас учитель похвалил, что вот-де мы стали совсем сознательными и, значит, нас скоро примут в пионеры. А у пионеров лозунг такой: «Пионер, к борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!» А мы должны хором ответить: «Всегда готов!»

Тут мы заорали: «Всегда готов!», — и все решили скорей вступать в пионеры.

«Я, юный пионер Союза Советских Социалистических республик, перед лицом своих товарищей обещаю, что буду твердо стоять за дело Ленина-Сталина, за победу коммунизма...»

Выучили наизусть, даже репетировали. как громче и пламенной произнести, чтобы... Чтобы они это поняли, мы и вправду готовы бороться. Только никому наша борьба не была нужна. Это до нас потом дошло.

Пришла «сверху» бумага, где объяснялось, что мы на особом «режиме» и в пионеры мы еще не годимся. Да к тому же гапстуков в стране не хватает и значков-зажимов тоже, и все это дело заглохло. У нас если что делается, то обязательно на века и навсегда. И это тоже на века, то есть навсегда заглохло. Нам только шефов разрешили. И то не сразу.

6.

А началось все давно, когда явились в наш «спец» руководители поселка и стали нам, собрав в столовой, объяснять, как они в качестве благородной помощи безродным, да беспризорным, да запущенным до крайности детям хотят взять над ними, то есть над нами, шефство.

Что это означает, мы поперву и не поняли.

Хоть шефы оказались солидные, нам директор ономся объяснил. Был начальник поселковой милиции по кличке Наполеончик, которого мы и без Чушки знали, что вся его легавая милиция три с половиной инвалида! Был и наш директор школы, который в классе историю читает, мы его Ужом зовем. А на самом деле зовут его Иван Иванович Сатеев. Был еще со станции начальник, который на наших девочек заглядывался, Козлов, и был редактор газеты «Красный паровоз», эту газету очень даже мы любили, она на куруво шла. Чушка ее в кабинете у себя хранил и читал лишь вслух и лишь сам, даже Тусе не доверял читать. Был начальник ОРСа круглый, щекастый, его звали Витя Помидор, который нас якобы снабжал, а он, конечно, не снабжал, а обирал, как ему и положено было, и еще один от поселкового Совета и артели инвалидов и вшейной фабрики.

Я только заметил, что встали они так, чтобы не прикасаться к нашим вещам, и к стенам, и к стульям, чтобы незначай не набрать насекомых.

Да это не только я заметил, но и другие Кукушата, а Бесик, сидевший впереди, не будь дурак, когда понял, что жратвой пока не пахнет, даже нашим собственным ужином, стал громко чесаться и так шумно под боком скрести, что гости вдруг заторопились домой.

Чушка не допер, пытался их удержать. Он по этому случаю нацепил ворованные золотые очки и сказал, что шефство — это дело серьезное, потому что общественность, которая к нам пришла, хочет превратить наш «спец» из гнезда воровского, сомнительной репутации и преступного по своей сущности, и, по общему мнению, просто разбойного, в пролетарскую рабочую ячейку, глубоко трудовую и потому социалистическую. На первый случай, значит, будем мы коллективно на личных хозяйствах названных товарищей шефов помогать, куры там, козы, свиньи опять же... Тут при родном-то словце наш Чушка весь засветился, и очки у него торжественно заблестели.

— А когда же пожрать будет? — спросил Бесик.

— Вы у меня, знаете, где сидите с вашей прожорливостью? — И Чушка показал на свой загибок. Потом посмотрел на шефов, которые ему осторожно улыбались, и рассказал анекдотчик. Про то, как человек с портфелем пришел в магазин, отоварился на целый месяц, ну, хлебом, крупной, селедкой... А потом открыл портфель и стал туда забрасывать свой продукт, а оттуда лишь чавканье раздастся, да громкое, прям на весь магазин! Люди из очереди удивились,

около человека, спрашивают: «А кто это у вас живет там, в портфеле?» А человек отвечает: «Сам не знаю, кто там живет... Но жрет здорово!»»

И Чушка захохотал, довольный своим рассказом. И шефы стали лыбиться, они сразу поняли, что это мы, которые из «спеца», сидим на заправке у директора, то есть в его портфеле, и хоть мы неизвестно кто, но «жрем здорово». Так надо было этот Чушкин юмор понимать.

А мы все, Кукушата да и остальные из «спеца», сообразив, наконец, что дело идет о работе, стали вслед за Бесиком громко чесаться, а иные потряхивали своей одеждой или даже выискивали какую-нибудь вошь, демонстрируя ее и беря ее на зуб, и пристукивая снизу по челюсти рукой.

Поселковое начальство смылось, как говорят, смотало удочки, а шефство с этого дня началось.

7.

Сегодня всех Кукушат послали работать к директору школы, которого в поселке зовут Иван Иванович, а мы так просто Уж. И стихи про него сочинены, уж не знаю кем. «Наш Уж — историк к тому ж».

Отчего именно Уж, мы не знаем, это до нас прозвано. Может, оттого, что весь он длинный и нескладный, как глиста. Но некоторые утверждают, что он неистовый рыболов и обожает ужение. Но тогда при чем тут кличка?

История, которую он у нас ведет, странная, судя по всему, он ее терпеть не может. И кое-как отбарабанил текст о крепостных, реформах и прочем, он открывает свою главную в жизни книгу Сабанеева о рыбах и зачитывает нам наиболее захватывающие места о ловле угрей, лещей и окуней.

Один раз я его спросил:

— Иван Иванович, а кто такой Навуходоносор?

— Кто-кто? — спросил он почему-то, ужимаясь на своем стуле.

— Ну, этот царь, который халдеями правил... Он евреев на сорок лет переселил целым народом... У него все народы каналы строили, ну как у нас Беломорканал... Он их подальше в пустыню в лагерь сажал... А в городе он себе памятников наставлял...

Мне показалось, что Уж от таких моих слов совсем под стол сполз. Откуда-то снизу до меня донеслось:

— Этого не было.

Я удивился, потому что в моей книжке, которая История, это все было.

— А что же было? — спросил тогда я.

— Ничего не было, — быстро ответил он, впиваясь, как в спасителя, в толстого Сабанеева. — Вот что было, — произнес он, задыхаясь, и открыл книгу. — Здесь красота, здесь поэзия! А тебе известно, Кукушкин, что среди преступников, как утверждает милиция, не встречается любителей рыбной ловли?

Кукушкиным он меня назвал безошибочно лишь потому, что он всех из «спеца» на всякий случай так зовет. Легче запомнить.

— Это Наполеончик так утверждает? — спросил Мотя. — Так он и сам не ловит! Значит ли, что он жулик?

— Ну, я же этого не говорил, — мрачно отказывался Уж, демонстрируя тем самым свое явно отрицательное отношение к своему ближайшему соседу по дому.

А Бесик весело добавил:

— Он ловит... Только в мутной водичке нашего брата!

— А у Навуходоносора так прямо убивали, и все тут, — сказал я. — Да он и сам это любил делать, особенно выкалывать глаза! Как говорят, удовольствие получал!

— Ну да! Правда? — спросил Мотя.

— Этого не было! — быстро произнес Уж.

И весь класс завопил:

— А что же было?

— Да ничего не было, — сказал, успокаиваясь, Уж и, вызвав к доске Мотю, попросил его почитать вслух главу Сабанеева о лещах.

При этом он от счастья зажмурил глаза и, вздыхая, произнес:

— Моя бы воля, так я бы вам всем в нашем «спеце» по удочке в руку и на речку, чтобы в жуликов совсем не превратились... Вот будет моя очередь, так и сделаю... В порядке шефства заставлю удить!

Только на этот раз удить не пришлось, и все потому, что Ужу завезли дрова. Ну, то есть их завезли не одному Ужу, но и Наполеончику, и такая история вышла...

Наполеончик, как ему и полагалось, сообразил первый, что к чему, и, вызвав нас для шефства, с нашей помощью перетащил дрова к своему забору. Эти два правила математики: отнять да разделить — у легавых прямо-таки в крови! Вот у кого «спецам» поучиться! Но Уж, не будь дураком, вызвал нас, в свою очередь, и приказал все дрова перетащить от забора Наполеончика к своему падающему забору. Благодаря дровам он и не упал. И хоть жена Наполеончика Сильва честила нас на чем свет стоит, обзывая и разбойниками и грабителями, мы добросовестно, как Тимур и его команда, все, что от нас требовали, выполнили.

На прошлой неделе Наполеончик нам снова приказал водворить дрова на старое место. Уж, на свое несчастье, был в это время на рыбалке. Мы дрова перетащили и даже начали пилить, но пошел дождь, и дрова так и остались мокнуть на улице.

Теперь нас призывал Уж, и мы сразу поняли, какую работу нам придется сегодня выполнять. Мы хором заорали: «На дворе трава, на траве непонятно чьи дрова!» Когда мы, подобно Тимуру и его команде, пришли к дому директора школы, то застали необыкновенную картину. У забора прямо на дровах стоял в позе полководца наш Наполеончик и молча смотрел, как мы направляемся к дровам. Уж стоял у своей очень ободранной, никогда не закрывавшейся калитки и кричал нам:

— Берите, берите, не бойтесь... Это дрова мои, и я за них отвечаю.

Наполеончик был в галифе и нижней белой рубашке, но кителя с погонами не надел. Глядя на нас, а не на директора, он произнес громко:

— Вы что же думаете, я разрешу стащить вам мои дрова? Да я акт составлю и привлеку всех вас как хулиганов к ответственности.

— Он составит, — сказала его дородная молодая жена Сильва, а сын Карасик из-за ее спины показал нам язык.

— Не составит, не составит... — произнес Уж убежденно. — Он не имеет права вам угрожать.

— А вот и составит, — сказала жена Наполеончика.

— Сегодня вы у меня шефствуете, — сказал директор. — И я вам велю перетащить мои дрова к моему забору.

— Их заберут в милицию, — сказала жена Наполеончика. — Вы этого хотите?

— Ну, смотрите, — сказал нам директор. — При вашей безграмотности я вас в школе держать не буду. А я-то еще хотел из вас честных людей сделать!

Мы, все Кукушата, стояли между двумя калитками и слушали, как хозяева переругиваются. Жена Наполеончика, а потом и он сам начали кричать на директора, что он голодранец и пусторукий хозяин, даже грядки у себя не мог вскопать, куда ему еще чужие дрова. Коль ничего своего нет, так и дрова не помогут. А директор уныло, но без пауз долдонил о своем праве иметь по разнарядке посовета дрова, и от тех дров он не отступится, даже если начальник милиции приведет сюда весь свой конвой и заключит его в тюрьму.

— Сажай! — кричал он и выставлял две руки вперед, показывая: вот он готов, чтобы на них надели наручники. — Веди меня на каторгу под кандалыный звон... Но я и там скажу, что дрова были мои... Только мои... И я их лучше спалю тут на улице, но никому не отдам.

Он, и правда, принес бутылку с керосином, спички, и весь извиваясь, сейчас он, и правда, был похож на змею, подошел к тому краю, где стоял Наполеончик, плеснул из бутылки желтый керосин, забрызгав милицейский сапог. Все — и Наполеончик, и его жена Сильва, и Карасик, и мы — следили за его действиями. Разве можно было поверить, что Уж по своей воле начнет жечь собственное добро. И когда дрова все же загорелись, сперва едва-едва, дымом и стреляя, Наполеончик быстро соскочил с кучи и, подбежав на безопасное расстояние к директору, закричал:

— Вот и видно, что дрова-то не твои! Не твои! Да! Потому что своих дров никто бы поджигать не стал! Да! А я по такому поводу сейчас удалюсь в дом и составлю акт, а все, кто видел — при этом он указал на нас, — подтвердят и будут свидетелями твоего позорного преступления! Да!

И он решительно, топая керосиновыми сапогами, пошел в дом и Сильве, и сыну тоже приказал идти.

— Нечего смотреть на уголовника! По нему тюрьма плачет!

А директор Уж вдогонку ему закричал, оскалив зубы и изгибаясь во все стороны, будто на него напала корча:

— Ага! Не понравилось! Бумагу пошел марать! Так марай,

марай! Только не забудь в ней записать, что я жгу дрова, имея на это полное право, так как они мне принадлежат!

Он высунул за спиной Наполеончика язык, потом повернулся и тоже ушел.

Остались мы да полыхающие дрова. Нам бы хоть несколько таких поленьев, мы прошлую зиму мерзли до костей. Но перетаскивать полыхающие теперь уже вовсю дрова мы не могли и, завершив на сегодня шефство, ушли купаться. Думаю, что Тимур и его команда поступили бы точно так же. С речки было видно, как над крышами поселка стоит черный дым. А когда, вволю накупавшись, мы возвращались мимо тех дров, то их уже не было, как не было и забора у директора, он сгорел вместе с дровами.

— А были ли дрова? — невинно спросил Корешок, почесываясь. У него разыгралась чесотка.

На что мы сразу же хором ответили:

— Этого не было!

— А что же было?

— Ничего не было!

8.

Тут прибежала Туся, ахнула, решив, что мы сами спалили эти несчастные дрова. Вот и выпускай нас из-под охраны, мы, того гляди, и поселок сожжем.

Но тут она увидела меня и осеклась.

— Ох, забыла... Тебя же ищут!

— Кто меня ищет? — спросил я, дурачась. — Не собака ли на помойке?

— Тебя, правда, ищут, — сказала Туся. — К тебе тетя приехала.

— Какая еще тетя... Я хотел уже нагубить и тут вспомнил, что, и правда, тетя, которая не тетя, обещала приехать. И хоть обещанного три года ждут, а я так и вовсе не ждал, ибо никому из них, из этих, что вокруг, не верил. Но вот приехала, не обманула. А если по правде, то я вовсе ее не забывал, только сам придумал и сам поверил, что забыл и что она мне не нужна. А теперь не знал, рад я или не рад, что она объявилась.

— Ладно, — сказал я Тусе, — приду. Она где? У директора?

— Нет. Она на улице. Ивана Ореховича сегодня нет.

— И не надо. А лучше бы и ее не надо.

Но тут вмешался Мотя.

— Она хорошая... — сказал он. И другие все стали говорить, чтобы я шел. Может, она конфет привезла или еще чего пожрать.

А Хвостик сказал:

— Серый, ты иди. У нас нет тети, а у тебя есть. Ты потом позови меня, я хочу совсем чуть-чуть около тети постоять.

Я пообещал Хвосту взять его в другой раз, чтобы он постоял около тети, и ушел.

Тетка сидела на крыльце и, заведя меня, поднялась. Может, она ждала, что я брошусь к ней от радости. Но я не бросился к ней и никакой радости не проявил. Я поздоровался и молча ждал, что она скажет. А она будто не замечала моего настроения, была такой энергичной, разговорчивой и все говорила, говорила.

— Вот отпросилась снова и приехала на весь день. И теперь мы можем не толкаться тут, на глазах «спецов» — так их зовут? — а куда-нибудь пойти.

— Куда? — спросил я хмуро.

— А разве некуда? У вас за поселком поле, речка...

— Ну, это далеко, — сказал я. Хотя я-то знал, что для нас это никогда не считалось далеко, мы туда готовы на дно по сто раз бегать, когда отпускают. Я просто хотел дать тетке понять, что мне не слишком охота куда-то тащиться для ненужных разговоров.

Но тетка напрочь не замечала моего дурного настроения. Она весело произнесла:

— Не надорвемся. Ваша воспитательница, Наталья Владова... Ее ведь так зовут?

— Туся, — уточнил я. А про себя добавил: а еще ее дурой зовут!

— Ну, вот. Я с ней поговорила. Она отпускает тебя до вечера.

— А обед? — спросил я. — Кто обед отпустит?

Не было такого случая, чтобы кто-нибудь в «спеце» по своей воле пропустил кормежку. Можно оторваться на станцию или в поселок, хоть за это наказывают. Но не дай бог никому прозевать свою пайку. Пайка — дело священное, неприкасаемое, этого не объяснишь никакой заезжей тетке.

Но она и сама по выражению моего лица догадалась, что разговор ведется о чем-то таком, что не подлежит обсуждению. Это незыблемо, как уголовный кодекс, о котором нам долбят каждый день.

— Но ведь я... Накормлю, — добавила тетка неуверенно.

Подумалось, что мы вообще с теткой на разных языках говорим и никак друг друга понять не можем.

— Ладно, — сказала тетка, поджав губу, и посмотрела на крошечные часики на руке, как их до сих пор не срезали! — Я тебя все равно подожду.

Одолжила, называется. «Можешь и не ждать!» — чуть не сказал, да спохватился. У нее ведь для меня шамовка там какая-то припрятана. Глупо оставаться в «спеце» без обеда по своей воле, но так же глупо отказаться от тетки с ее шамовкой.

— Пойдем, что ли, — бросил ей на ходу, выскакивая из столовой. Нарочно грубил, пусть она не считает, что если она с шамовкой, то я от нее завишу. И она, терпеливо ожидавшая меня, наверное, целый час, подхватила, как девочка, и кинулась догонять, даже не обижаясь на такое мое обращение.

— Ты не думай, — сказал я ей по дороге, — что я пошел, чтобы пожрать на халяву... Я повсе не из-за твоей шамовки, а сам по себе.

— Я так и не думаю, — ответила она. — Но ты меня эти дни ждал?

— Нет, — сказал я правду. — Не ждал.

— А я приехала... И ты, Сергей, знал, что я приеду. Правда?

Я заметил, что она больше ни разу не назвала меня Сережей. Баба, но поддается дрессировке!

— Не знал, — ответил я. — Откуда мне знать, что ты приедешь?

— Но я же обещала!

— Мало ли кто чего обещает!

— Да, правда, — согласилась она вдруг. — А ты не злись. Меня терпеть долго не придется. Я к тебе последний раз приехала. Завтра или послезавтра мы на фронт отправляемся!

Я мог бы спросить: «На какой фронт?» или «Правда? На фронт?», или «Неужели на фронт!» — как говорят по радио и в газетах, когда провозажают на фронт. Но я не спросил и ничего не пожелал. Сейчас воюют все, и девчат тоже гребут, это я знал. У нас в поселке старики и старухи остались. Лишь Наполеончик да директор школы не воюют. Но Уж в финскую что-то у себя в кишках отморозил, он и жрать-то по-настоящему не может, оттого, наверное, он и историю не переваривает... В ней дат много! А вот Наполеончик, тот жрет и не подавится, но все равно не воюет. Да и наш директор Иван Орехович Чушка тоже не воюет. То есть он воюет только с нами, с теми, кто ему послан в «спец».

И я сказал тетке:

— А Чушку не берут на фронт!

— Так он же из надзирателей.

— Из... кого?

— Я думаю, что он из лагерников... Словечки-то у него, я в ужас пришла... «Зона»... «Замолкни»... Он и со мной так разговаривал, что я подумала, вот-вот возьмет и арестует.

— Значит, он не директор? — спросил я.

— Ну, как тебе объяснить. — Тетка шла и оглядывалась на дома. Дома у нас в поселке — деревянные избы, и ей, наверное, было интересно. — Он какой-то сдвинутый... Мрачный... Нелюдимый, так?

Я кивнул. Уж мы-то знали, что он, и правда, чокнутый, а вот как тетка догадалась, она-то его всего один раз видела.

— Потому и не берут, — сказала тетка. Сдвинулся... На работе... А детей охранять с его специальностью ему сам бог велел. Он же говорит: «Шаг влево, шаг вправо...»

— Прыжок вверх — считается за побег! — закончил я весело.

Тетка покачала головой на мое такое веселье и ничего не сказала.

9.

Поселочек у нас крошечный. Раньше он был деревней, а стал узловой станцией, большинство жителей служат на железной дороге. Уже в недавнее время, при нас, построили мастерскую для шитья военной одежды. А в церкви полуразрушенной — говорят, что в какие-то незапамятные вре-

меня там даже жили беспризорные, они-то и ободрали ее, — теперь размещается мастерская по изготовлению колючей проволоки. Мы там бывали не раз, когда нас посылали шефствовать, и даже крутили машину, выпрямляющую проволоку. А огромные мотки готовой «колючки» лежат во дворе церкви на старых могилах и даже на станции. Куда ее столько делают, мы не знаем. Говорят, нужно для загородки, так в одном нашем поселке «колючки» столько, что по экватору можно землю огородить! Впрочем, от этой мастерской всего и прибыли, что моток на память сунешь в карман, а вот в пошивочной — ее именуют громко фабрикой — нам лоскутки разрешают брать для заплаток. А Сандра из лоскутков даже платье себе сшила и в нем ходит.

Мы миновали церковь и фабрику и вдоль линии железной дороги вышли к редким кустикам, за которыми было поле. Но мы далеко в поле не пошли. Присели между насыпью и каким-то деревянным брошенным сараем, на траве. Сияло солнце. Было тепло.

Тетка, которую сегодня язык не поворачивался так называть, в короткой юбочке, в белой кофте была такая молодая, что вся светилась; я даже не представлял, что женщины могут светиться. Она извлекла из сумки полотенце, расстелила его на траве. Потом достала трофейную банку консервов, нож с деревянной ручкой, лук, огурцы, несколько сваренных картофелин и яичек и еще масло, настоящее сливочное в стеклянной баночке, я его никогда не пробовал, но однажды видел у директора Чушки в доме. Но я и трофейные консервы тоже видел издали. Кукушата умрут, когда узнают, чем я тут обжирался! Может, пустую банку захватить на память, когда съедим? У банки и запах такой: понюхашь — и почти сыт.

Но, конечно, про запах это я хватил, от запаха, если честно, еще больше есть захотелось. Я старался не смотреть, как возится тетка, как режет, чистит, она еще и бухарика хлеба достала, но дух от всего, что выложила, разбедал меня до пяток. Даже закружилась голова. И хотя я не смотрел, но почему-то все отчетливо различал и только не мог понять, зачем все это богатство портить, резать, оно и само пойдет, нерезанное: кусай да глотай... И еще такие мысли лезли в голову: откуда так много люди жрать сразу берут? Захочешь, сразу столько не наворуешь... А на рынке если... Это же тыщу рублей надо!

Но сколько терпелка не держит, и она кончается. И в этот самый момент тетка сказала:

— О чем задумался, Сергей? Давай поедим, что ли...

Ели мы недолго, так мгновенно все проскочило, я и не заметил. Одно запомнил: тетка-то почти и не ела... Вот у нее, сразу видно, терпелу много! А я жевал, жевал, смотрю, а уж жевать нечего. И тогда я еще обратил внимание, что она внимательно меня рассматривает, прямо с какой-то жалостью. Мне даже показалось, что глаза у нее блестят, но, может быть, они блестели от лука. Я, когда лук жу, тоже плачу.

— Ну, — спросила она, налив мне в кружку сладкой воды из бутылки. — Тебе про отца рассказать?

— Валей, — разрешил я.

Накормили, напоили, теперь и байки какие можно послушать. Она это заработала. Тетенька. Ни за что ни про что накормил. Да еще просительно в рот заглядывает. Кому такое не понравится?

— Ему было тридцать пять... Антону Петровичу, когда мы с ним познакомились. Мама твоя умерла. Он был один, а ты... Тебя он устроил в садик «на неделю». Ты меня слушаешь?

Я кивнул. Я слушал. Странно только, что это все было как бы про меня, но не про меня. Мама, отец... Садик... Какой садик, если я всю жизнь детдомовский! Ей бы, тетке, моей кормилице, на ухо бы проорать так, чтобы услышала... детдомовский я... Из «спец»... И никаких садиков! Огородников! Я ведь не какой-нибудь сын Наполеончика Карасик... Садик это у него, не у меня!

— Отец твой, Антон Петрович, — сказала тетка ровно, — был, ну как тебе сказать... Он был инженер-конструктор, большая шишка! Несмотря на это, добрый, отзывчивый...

— Ага, — сказал я, вспомнив Мотю. — Хороший человек!

— Да! Хороший!

— Понятно, — кивнул я и стал смотреть в поле.

— Ты что-то сказал, Сергей?

— Нет. Это так, для памяти.

Она задумалась. Короткая челочка на лбу и большие, огромные темные глаза. Отец, который не отец, называл тетку, которая не тетка, наверное, Машей. Еще бы, краси-



вая тетка Маша! Небось увидал Антон Петрович, конструктор, что она еще и консервами со сливочным маслом кормит. Губа у инженера-конструктора была не дура. Как видите, я после трофейных консервов тоже хорошим становлюсь.

— Он в конструкторском бюро, КБ называется, самолеты создавал. А я там же работала, при медчасти. Я ведь доктор, врач, лечу... Ну, и однажды он ко мне пришел... Простудился на своем аэродроме, при испытании. И смеется, говорит, я все не лечу, а ты — лечишь, вот вылетим с тобой, Машка, в трубу... А у самого — температура... А самолет-то военный, его сдавать надо... Но, правда, сдал... Сейчас они везде на фронте, ЕР-пять зовутся, может, слышал?

Маша просительно смотрела на меня. Ей очень хотелось, чтобы я слышал и знал, что они, эти самые, которых в температуре этот... изобрел... сдал...

Я сжалился над теткой ради масла да тушенки и кивнул. Только вот историю про папочку я сам не хуже бы выдумал. Да у нас в «спеце» чуть не каждый второй такое сочинит про папочку-героя, уши развесит... И летчик Талахнин, и кавалерист Доватор, и... Сплошь кругом герои, среди них только конструктора боевых самолетов до сих пор не хватало!

Мне вдруг раскотелось тетку слушать. Я и до этого-то не очень слушал, но слушал. А когда она на мою жизнь такую знаменитость повесила и про конструктора стала заливать, я и совсем слушать перестал. Раздумывал о погоде, о наших шефских делах и о том еще, что середина августа и скоро погонят в школу. Может, даже задремал я в тихом блаженном состоянии не испытываемой прежде сытости и как-то пропустил главное. Меня насторожили лишь последние слова тетки:

— Они его обвинили в том, что будто он... Фашистам свое изобретение, самолет, мол, чертежи... Продам...

— Кто? — спросил я глупо. Ну и олух царя небесного я был. — Антон Петрович? Продам? Самолет?

Маша посмотрела на меня странно.

— Это мне он Антон Петрович, тебе-то он отец!

— А как он продам? Этот самолет?

— Да не продавал он ничего! — воскликнула Маша. — Это они его так обвинили!

— Кто — они? — спросил я.

Маша будто опомнилась, замолчала. Стала оглядываться, сказала:

— А там, за дорогой, что? Речка там?

— Там,— ответил я.— А кто его обвинил? Милиция?

Маша вздохнула и жалобно посмотрела на меня:

— Он же ни в чем не был виноват. Его забрали. А потом они и меня вызвали. Но я говорила одно, что я его лечила. Они мне про какие-то чертежи, а я им про простуду. Они про врагов народа, а я про то, как он температурил... Ну и выпустили. Не сразу. Через три года. Я ведь не была женой ему... Официально... А его увезли...

— Куда? — спросил я.

— Не знаю. Это у них называется «без права переписки». Я пыталась узнавать... Я ходила, спрашивала... А они, значит, меня спрашивают. А кто вы, спрашивают, ему будете, что о нем печетесь? А я им отвечаю, мол, никто... Но у него ребенок остался, так я хотела бы взять на воспитание... И хочу его найти... Не беспокойтесь, говорят, его воспитывают без вашей помощи, и не хуже. И не надо искать. Идите и успокойтесь, займитесь своими делами. А я и так занимаюсь, меня устроили, с трудом, правда, санитаркой в больницу. Это теперь, в войну, когда медиков-то не стало хватать, опять врачом вернули... А тебя так запрятали, что долго не могла следов найти. Тем более и фамилия стала другой: Кукушкин.

— Пойдем сходим к речке,— сказала Маша.

Я теперь ее стал про себя Машей звать. За то, что накормила. Но вслух, конечно, я ее никак не называл. Еще не хватало! Но к речке сходить согласился.

Мы пересекли железную дорогу, а за ней развалины бывшего кирпичного завода. В поле, по тропке среди конского шавеля и куриной слепоты, других цветов, кроме этих, я не знал, мы спустились к нашей речке. Ее Пехоркой зовут. Она и не широкая, и не глубокая, но сравнивать мне не с чем, я другие речки только в кино и на картинках видел. А купаемся мы в омуте и ныряем с дерева, даже саженьками плаваем. Обо всем об этом я стал говорить Маше, но видел, что мысли у нее от этой речки далеко. Она еще рассказанное про Антона Петровича переживала. Особенно как его менты пришли брать... Я представил Наполеончика, и мне тоже стало неприятно. Хотя, с другой стороны, враги и шпионы окопались кругом, их только в нашем поселке не видно. А так в кино посмотришь, так все они нам вредят и вредят. В «Ошибке инженера Кочина» они тоже наше изобретение выкрасть хотели. А вот недавно шел фильм про шахтеров... Артист Андреев вместе с Ваней Курским уголь добывают, прям, как сказал наш Шахтер, очень похоже... Только там, где он работал, никто забоев не взрывал. А в кино двое, значит, один песню поет про курганы и на гармошке играет... Девушки пригожие, на чертей похожие... А сам как Ваню Курского возьмет за горло и не даст ему стахановскую вахту нести, рекорд, значит, поставить... И другой, тот столбики все бил, чтобы все завалилось, ну их, субчиков, и святили. конечно. А Ваня Курский и Андреев все равно рекорд сделали и потом с молотками так гордо в конце идут, с песней... Прям здорово! Как герои!

Мы сидели на берегу, и я Маше кино пересказывал. А она грызла травинку и молчала.

Вдруг она спросила:

— А ты ничего-ничего не помнишь? У нас ведь тоже река была... Большая-пребольшая... А еще мосты...

Я сделал вид, будто пробую вспомнить про большую речку и про мосты. Но ничего я помнить не мог и хорошо знал, что вспоминать мне, кроме Пехорки, нечего.

— Но, может, дом... или трамвай... Около вашего дома... А?

Трамвая я тоже не помнил.

— А еще,— сказала Маша,— ты, и папа, и я пошли гулять на его аэродром, это праздник авиации был... Мы пролезли под колючим забором, и папа смеялся, когда ты задел штанами за проволоку...

Я молчал. Но что-то меня насторожило. Сам не знаю что.

— А потом были парашюты...

— На поле? — спросил вдруг я.

— Да. На поле.

— А сливы были?

— Слив? — спросила Маша растерянно.— Какие сливы?

— Ну, там же продавались сливы... — сказал я.— Или не сливы... Или... не продавались...

— Не знаю... Может быть.— И она, помедлив, воскликнула: — Были сливы! Твой папа в палатке купил и нас с тобой угощал!

А я уже не мог понять, откуда я взял эти сливы. Вроде бы помнил, что проволока и сливы... Ну и еще парашюты... А может, и не было ни парашютов, ни слив, а видел я их в кино?

— Но сливы-то, сливы откуда? — закричал я.

— Твой папа купил,— ответила Маша.

— Да я не о том...

— А о чем, Сергей?

— Не знаю.

Я, и правда, не знал, чего я так взвинтился.

Я сказал Маше:

— Пойду искупаюсь.

— А не холодно? — спросила она.

Я лишь усмехнулся ее страху. На фронт собралась, а того не знает, что мы тут до сентября не вылезем, Бесик жс, как самый бешеный, однажды на спор в октябре залез.

Я разделся за кустиком, трусов у меня нет, и оттуда я спросил Машу:

— А почему ты думаешь, что я в сентябре родился?

— Как почему? — удивилась она. В мою сторону она не смотрела.— Я же была на твоём дне рождения.

— Это когда? — Я спросил так, будто мне неинтересно.

Она задумалась.

— Это было... Да. Правильно. Шестого числа. А тридцать девятого года тебе как раз шесть лет исполнилось. А через неделю его забрали.

10.

Не скажу, что мне так уж хотелось купаться.

В одиночку без ребят купаться неинтересно.

Но, во-первых, я хотел побыть один. Во-вторых... Во-вторых, я тоже хотел побыть один. И в-третьих, и так далее. Чтобы не смотреть на эту приезжую Машу, которая начинала вся слезиться, как только речь заходит о ее Антоне Петровиче.

Вот когда она меня кормила, она, и правда, была красивой. Прямо-таки сияла, как стеклышко, от нее такой теплый-теплый дух исходил, как от деревенской печки, у которой я однажды грелся. Мне показалось, что она и пахла по-другому. А когда стала шпионские всякие дела рассказывать, то вся похолодала, я даже подумал, а не шпионка ли она сама, вот и наш Чушка ее заподозрил, даже у окна подслушивал!

Но потом я решил, что она не шпионка. Шпионы другие. Про них стихи: «...в дверях стоит конвой, и человек стоит чужой, мы знаем, кто такой»... «Есть в пограничной полосе неписанный закон: мы знаем все, мы знаем всех: кто ты, кто я, кто он!» Да и чего, если посудить здраво, шпиону или шпионке в нашем «спеце» делать? Кормить голодного шакала сливочным маслом и консервами? Так нас много таких найдется, за чужой счет пожрать! А тайну или секрет какой военный мы все равно не скажем, потому что мы его не знаем. Да, я так думаю: у нас тут тайн нет! Вот жуликов у нас много. Только это ни для кого не тайна. Разве что для этой Маши.

Я нырнул и, затаив дыхание, подержался за корягу так долго, сколько терпению хватило. Я думал, под водой мыслей не бывает, а только одно — как выплыть и воды не нахлебаться. Но и под водой всякая ерунда по поводу Антона Петровича и Маши скребла мне изнутри голову. Тогда я вылез, попрыгал на одной ноге, выливая из уха воду, а потом скорей натянул штаны. От спешки споткнулся. Поцарапал коленку.

Подходя, увидел, что Маша все собрала, а банку из-под консервов, вот досада, зашвырнула в камыш, ее там теперь ищи-свищи. Да бычок, покурив, тоже выбросила, это я еще из-за кустов видел. А мне она сказала:

— Поди-ка, Сергей, сюда! Да ближе, ближе!.. Ты же ногу раскромсал! Давай быстренько полечим!

И не успел я ойкнуть, как она достала из сумочки пузырек с йодом и ловко, невзирая на мои вопли, раскрасила пятнами всю коленку.

Как я ни отбрыкивался, ни лягался, приггла и отпустила. Руки оказались у нее сильными. Но хоть и сопротивлялся, а почему-то было приятно, что она так упорно меня лечит!

— Ну вот,— сказала удовлетворенно.— Хорошо, что по старой привычке я лекарства таскаю с собой. Ты меня на станцию не проводишь?

— Нет,— ответил я.

— Почему?

— Нога болит.

Это я ей мстил за принудительное лечение. Но ломался я для виду. На станцию с вывеской «Голятвино» во весь фасад мне жутко хотелось попасть, да еще так, законно, под прикрытием Маши. Самим нам туда появляться запрещено. Хотя мы, конечно, появились. Но если там нас излавливали — сажали в карцер, без еды.

Строже карали лишь за побег.

Но именно станция из всех значных местечек поселка нас, шантрапу из «спеца», притягивала больше всего. Тут из Москвы и на Москву проходят поезда, оставляя за собой на грязной насыпи огрызки, объедки, бычки, а иной раз что-нибудь и поинтересней. Бесику однажды повезло, он наткнулся на коробочку с изображением Красной площади и Мавзолея Ленина, а изнутри коробочка была как в кружевах, а запаха был такой... ну такой, какой никто из нас не унюхивал до сих пор! Так что мы вдыхали, поднося к лицу, целую неделю: по очереди! Голова кружилась!

Но Маше я не стал ничего объяснять. Она все равно не поймет. Мы двинулись к станции, но уже не по улицам поселка, а прямо по путям, тут многие так ходят, чтобы сократить дорогу. Маша легко прыгала через шпалы, я едва за ней поспевал. А потом мы пошли рядом, и я спросил:

— Как ты меня узнала? Среди всех?

Это бы надо было спросить давно, хотя бы там, у речки. Тогда бы не скребло шибко в голове. Но вот я представил, что она уедет, а я так и не узнаю, кто же я на самом деле. И будет меня, хоть ныряй, хоть не ныряй, сверлить эта мысль. Лучше уж отмучиться сразу.

Как говорят, спросил — и головой в омут!

Маша не ответила мне. Она молчала и шла. И все молчала. Я решил, что она не слышала моего вопроса, а второй раз уже не захотелось спрашивать.

И вдруг она сказала:

— Знаешь... Сергей... Я тебе и так, кажется, наговорила лишнего,— и сильно при этом вздохнула. И я понял сразу, что она добрая и несчастная. Даже стало ее жалко. Меня вот скребет неделю, и то измочалился, а ее скребет небось сколько лет! — Ведь правда же.— И она опять вздохнула.— Не надо вешать на тебя такие гири.

— Не знаю,— ответил я.

— А я знаю. И приказала себе: «Замолкни!» Так, что ли, выражается ваш директор? «Замолкни» — вот я и замолкла. А ты меня спрашиваешь... Будоражишь...

— Ну, не буду,— буркнул я.

— Почему же ты не будешь? — Она рассердилась. Даже замедлила шаг, уставясь на меня. Вытаращилась так, что я не выдержал, отвернулся. — Я тебе, конечно, отвечу. Вздрыгнет об отце... О твоём, Сергей, отце...

Я молчал, глядя под ноги.

— А узнала я тебя просто... Как же тебя не узнать, господин! Как две капли на него похож!

— На кого?

— Да на отца своего! Я вначале от волнения как следует и рассматреть тебя не успела. Только знала, что ты — это ты... Как он на фотографии! В юности!

Фотографии почему-то меня больно царапнули. Может, потому, что я никогда никаких фотографий не имел?

— А он... какой?

Я не сказал «отец». Не могу я произнести это непонятное, совсем чужое слово.

Тут прогудел поезд. Мы сошли с рельсов, и, пока эшелон — а это был военный эшелон с машинами или танками под брезентом — грохотал мимо, взбивая угольную пыль, Маша мимикой, жестами пыталась мне рассказать об этом человеке. Она показала рукой рост, мол, высокий, потом показала плечи, раздвинув широко руки, а потом нарисовала пальцем колечки на голове, что означало — он курчав... Она гримасничала, изображая, и это было смешно, как в немом кино. А когда поезд кончился, и шум схлынул, и остались лишь легкое позванивание рельсов да клочок бумаги, поднятый вихрем, мы опять пошли по шпалам. Она спросила, заглядывая мне в лицо:

— Ну, ты что-нибудь понял?

Я кивнул. Понял, мол. А чего ж тут не понять. Не такие уж мы придурки, хоть именно такими нас считают в «спеце». Не понял я лишь одну маленькую малость — мелочишку, срундовину, скажем... На самом ли деле этот нарисованный красавчик — мой отец. В общем-то меня прилизать да сфо-

тографировать, я, может, и не таким выйду... И в ширину и в высоту! Да нет, вру! Меня, как ни снимай, да всех нас, кто посмотрит, с первого взгляда определит: этот? дохляк из «спеца»? И не в ширине, и не в высоте тут дело, хоть никакой у нас ширины и высоты от голодухи быть не может. Клейменные мы, вот в чем дело! А тот, что якобы отец, он-то нам на память свое клеймо, если посудить, значит, и оставил. Тем уже, что он был... Если он был...

И тогда я спросил, нас не знают, зачем:

— А сейчас... он... где?

Маша пожала плечами и отвернулась. Я понял, что она снова может заплакать.

— Скоро станция,— сказал тогда я.— Ничего, если я соберу бычки?... Это не для меня... Правда. Это для Шахтера!

— Соберай,— ответила она равнодушно. Потом спросила: — А может, ему дать папирос?

— Вот еще! Он к ним непривычный! Ему заплыванные бычки слаще всего!

Но Маша не поняла моего юмора.

— Ну, какая же разница,— удивилась она и достала из сумки нераскрытую пачку «Беломора» и, ничуть не колеблясь, отдала мне.— Ты сам-то не куришь? Но пробовал, конечно?

— Пробовал. У нас все пробовали. Даже Сандра.

— И как? Дрянь?

— Не знаю.

— Но я знаю. Если бы не заключение... Я бы сама курить не стала. И отец твой, кстати, не курил. Он, знаешь, сладкое любил.

Тут мне стало смешно: дурочка эта Маша, кто же не любит сладкого? Только пусть объяснит, как его любить, если оно нас не любит!

Мы пришли на станцию, и Маша велела мне ждать. Ходила она долго, я успел целую кучу бычков набрать и вдобавок пустую коробку от спичек. И еще военную пуговицу.

Она вернулась и сказала:

— Все сделала. Билет оформила, у нас есть время. Ты есть хочешь?

Вопрос такой же дурацкий, как про сладкое. Кто и когда, покажите мне такого идиота, не хотел бы есть?! Есть можно все и всегда. Беда лишь, никто нам почему-то есть не предлагает. Наоборот, стараются сделать так, чтобы мы не поели даже того, что положено. А впрочем, что нам положено? Может, нам ничего не положено. А если дадут, то захристада. И мы должны быть счастливы, что вообще дают.

Маша поняла по моему молчанию, что сморозила глупость. Она взяла меня под руку и подвела к дверям в ресторан:

— Вот здесь мы и посидим до поезда. Ты согласен?

— Согласен,— хрипло произнес я.

Еще бы не разволноваться: я пересекал незримую черту, отделявшую всех нас, тутошних, голодных и бесправных, от настоящего рая. Так, во всяком случае, это нам представлялось. Затая дыхание, я вошел вслед за Машей, теряясь от большого прохладного зала с мраморным полом и колоннами, с множеством столов, где белели скатерти и что-то на них стояло. Но с испугу я не рассмотрел, что же на них стояло. Я увидел окна с бархатными занавесками, это из-за них, прилипая к стеклам, мы не могли тут ничего рассмотреть; кадки с настоящими деревцами и огромную картину на стене. Верней же, вся стена — это и была картина. А на ней, как живой, стоял сосновый лес, а по лесу гуляла медведица. Я даже рот открыл, уставясь на картину, да вовремя спохватился, рукой сам себе рот прикрыл. Но ведь, правда, такую красоту я видел впервые. Посмотрели бы Кукушата, они бы не так раззавились! Но я им все, как есть, разрисую. Я ведь хоть за теткой спешил, а запомнил подробно, деревья золотые, освещенные солнцем, и одно из них повалено, и медвежонок по нему карабкается вверх. Этот, значит, лезет, а другие рядышком промышляют. Прямо как наш брат из «спеца». Если бы мне сказали, например, что картина зовется «Шантрапа на свободе» или «Шантрапа на промысле», я бы сразу поверил.

Я бы надолго застрял посреди зала, но очухался, когда Маша легонько толкнула меня в спину:

— Давай пройдем к столику. Оттуда ты сможешь все увидеть.

(Окончание следует.)



Лариса
ТАРАКАНОВА

☆☆☆

Как большой к заживляющим мукам,
Как к кровавому поту атлет —
К этим грохотам, гамам и стукам
Привыкаешь с течением лет.

Это тесное братство людское.
Руку вытянешь — чья-то синяя.
Три минуты для сна и покоя.
Встать! Встает трудовая страна.

И встает, и гремит, и горланит,
И в дырявом журчит стояке,
В барабаны свои барабанит,
На родном говорит языке.

А за городом — ровное поле,
Березняк золоченый, грибной
И какая-то чистая воля.
Обернись — пи души за спиной.

Отдохнул? Приготовься к удару.
Мы же в братстве людском как-никак.
Кыш, соловушка! Вот и Ротару.
Вольный дачник врубает «Маяк».

Вольный дачник шумит без предела...
А пока он «врубал» и «бабдел»,
Золоченая роща нустела,
Оскверненный овраг холодел.

И, трепли сокровенные кроны,
Слоппо вестники близкой беды,
Нынче селятся только вороны
Там, где прежде звенели дрозды.

Просто человек

Игнатий Поликарпович мечтал о телефоне.
И вдруг ему приснилось, что в доме телефон!
И он снимает трубку, и думает о Соие,
Поскольку этой женщине весьма обязан он.
А Соия очень рада, она безумно рада.
Она смеется в трубку и говорит «ура»,
И говорит, что нынче достала винограда,
А виноград полезный, внушает доктора.
Игнатий Поликарпович нечаянно проснулся,
Несладко потянулся и вымолвил: — Ну что ж!
Его ждала задача. И он ей улыбнулся.
И вытащил из шкафа старинный макинтош.
А в городе так шумно. И всюду-всюду детки.
И женщина в окошке надменно холодна:
«Наш узел не резиновый...», «В такой-то пятiletке»,
«Сидели бы вы дома», «Вас много. Я одна».
Игнатий Поликарпович был очень терпеливый.
Он тихо поклопился: — Ну что ж, я подожду.

Ведь у него есть Соня, и, значит, он счастливый.
И не такую в жизни умел терпеть нужду.
А в городе так шумно. И все куда-то мчатся.
И жизнь в цветах и красках уносится вперед.
Еще совсем немного, все станет получаться.
Игнатий Поликарпович потерпит, не умрет.
И станет жизнь такая, которая мечгалась,
Когда вставал зарею необратимый век,
И все имело цену, и дружески срасталось —
Турбина и былинка. И просто человек.

Двое

Вот Она — и умиа и пригожа.
Глазки ясны, и бархатна кожа.
Все в ней празднично, весело, чисто
От волос до цветного батиста.
Но зачем она замуж выходит
За того, кто ей так не подходит!

Вот Он — уминый, красивый, свободный,
На любое деяние годный.
Все в нем свежести полно кристальной —
От волос до сорочки крахмальной.
Но зачем он женился на этой,
Некрасивой, смелной, недетой!

Что — Она? Или — Он? Или — все мы?
Только пыль миропой теоремы.
Только некие звездные числа
Темиоты и вселеиского смысла.
Но во мгле центробежного круга
Как мы все ж выбираем друг друга?

☆☆☆

О, чистота, куда ты делаешь,
И ныпче как тебя извать?
— Любимый, я уже разделась.
Мне больше нечего скрывать.
Да, не красавица с обложки.
Простая, как миллионы тел.
На мне лишь мамини сережки.
Скажи, ты этого хотел?
Я первый шаг терпеньем множу.
Я знаю, это мой удел
Служить бесчувственному ложу.
И с платьем п сдираю кожу.
Скажи, ты этого хотел?

☆☆☆

Чего же ты хочешь? — спросила вокруг тишина.
Ты что замыслила, серьезного мужа чудная жена?
Какие такие тебе недодали права?
Сомнениями туго набита твоя голова.

Твои современницы молча идут па завод.
Соседка, кряхтя, семимесячный носит живот.
Ступай в магазин, терпеливо постой за треской —
Расстанься на депь со своей мировою тоской.

Россия, ты скажешь, Россия — большапа страна,
Серьезного мужа серьезно глаголет жена.
Уймись, поднебесье, уймись, молодая листва.
Какие такие нужны человеку права?

Для крика, для брани едва развевающий рот,
Брезгливо глотая бензино-бутан-кислород,
Он женщину любит четыре минуты в году —
Когда она молча на стол выставляет еду.

Чего же ты хочешь? Приди и открыто скажи.
Раскрой свои планы, макеты, листы, чертеж.
Неужто и средств нехватает у целой страны,
Чтоб выправить счастье для каждой отдельной жены?

Все больше металлов цветных, и угли, и железной руды.
И рвет ледокол вековые полуприные льды.
Но где этот остров, закутанный в розовый дым,
Где вольпо, и сладко, и трепетно двум молодым?

И где этот вечер, нисвослаивный шумным векам,
Где вольпо, и сладко, и трепетно двум старикам?
Где эта яичка, куда возвращается вьюнь,
И машет крылами, и плачет багиня Любовь?

Игорь ЗОЛУТУССКИЙ КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?

Полемические заметки

Сейчас, когда Съезд и трансляции со Съезда поставили нас лицом к лицу с правдой (а заодно и с ложью), то рассуждать о публицистике как-то неловко. Не то чтобы нет слов, нет мыслей, но сказано уже, кажется, все, и хотя ложь сопротивляется и на телевизионном экране это видно, как нигде, вал откровенных речей смел прежние статьи и речи, как ветер, общающий дождь, сметает сор с улицы.

Сам Съезд, этот театр времен Горбачева и Сахарова, перекрыл по посещаемости все премьеры, ибо здесь, в одном зале, сошлись старая и новая Россия, сошлись страсти, которые изобразить достойны, с одной стороны, Салтыков-Щедрин, с другой — Шекспир.

В этих условиях помянуть публикации, явившиеся почти год назад, не время. И все же меня не оставляет чувство, что к одной статье мы отнеслись без внимания, проглядели ее, хотя не должны были этого делать. Я имею в виду статью Сергея Залыгина «К вопросу о бессмертии».

Статья эта появилась в первом номере «Нового мира» за 1989 год — в том самом номере, где обещано было напечатать «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, но анонс, оповещающий о его публикации, был снят с обложки журнала.

Между прочим, и статья С. Залыгина потерпела от цензуры: читая ее верстку, я убедился в этом. Сейчас напечатан «Стройбат» С. Каледина — тогда было снято упоминание о нем. Имена людей, повинных в задержании разных материалов «Нового мира», в том числе имя тогдашнего заместителя Председателя Совета Министров СССР Б. Щербины, исчезли из текста. В тексте остался другой министр — министр мелиорации и водного хозяйства Н. Васильев, но он уже, видно, был «обречен», его вскоре отправили на пенсию.

Странно, кстати, уходят на пенсию эти министры. Их с почестом провожают на отдых, им воздается дань благодарности за честно проделанную работу. И это в то время, когда от их «трудоу» стонет страна, а от их «честности» краснеют щеки Фемиды.

Всеной, на очередном пленуме, сто с лишним человек подали в отставку, и ни один (за исключением академика А. Александрова) не сказал: я виноват. Никто ни слова не произнес о том, что уйти надо было гораздо раньше, что делается это поздно, за что, если сможешь, прости, народ, прости.

В старину даже цари постригались перед смертью в монахи. Пусть это происходило на смертном одре, пусть в своем раскаянии они пребывали какие-то часы, их все же терзал страх перед Богом. Они верили, что ответят за свои грехи.

Нынешние Бога не боятся, народа тоже, что же до бессмертия, то видели они его в гробу в белых тапочках.

Именно таких людей имсет в виду С. Залыгин, говоря об утрате благородства, о всеобщем заговоре самооправдания, которым поражены верхние этажи власти.

Взять того же Н. Васильева. Автор статьи столько дурного написал о руководимом им ведомстве и о нем самом, что министру в пору было бы подать в суд. Нет, не подал. Мирно дождался отставки и канул в небытие. То есть во вполне обеспеченное бытие: на дачу, под сень струй.

«Так что же, вы суда хотите над ним? — спрасят меня. — Может быть, приговора, ссылки?» Нет, не этого. Я хотел бы, чтоб вещи были названы своими именами и хотя бы

в сообщении об уходе очередного министра в отставку писали: ушел как несправившийся, как развалившийся дело, как обеславивший себя.

Ведь моральное осуждение нужно не ему (с него как с гуся вода), а тем, кто, может быть, захочет последовать его примеру: употребить миллиарды денег во вред Отечеству.

«И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от божьего суда», — писал поэт. Сейчас Божьего суда как будто бы нет, а людской суд находится под строгим присмотром тех органов, которые десятки лет пестовали таких, как Н. Васильев.

Он — их человек, и своего человека они судить не будут.

Статья С. Залыгина тем и хороша, что она обличает не Сталина, Брежнева и Хрущева (хотя поминает и их), а тех, кто реально держит в руках власть и не собирается с этой властью расставаться.

В статье С. Залыгина есть острые пассажи в адрес цензуры. Что-то цензура из них сняла, что-то оставила. Но факт есть факт: чиновники с красными карандашами по-прежнему решают, что писателю печатать, а что — нет. Знаю это по себе. Моя статья «Крушение абстракций» шла в том же номере, что и статья С. Залыгина. Все было хорошо, пока она не попала в Главлит. Там споткнулись... на Солженицыне. В декабре 1988 года А. Солженицыну исполнилось семьдесят лет, в разных залах Москвы его чествовали, но печать молчала: казалось, такого писателя не существует.

И вдруг красный карандаш обнаружил это имя в моей статье. Он перечеркнул в ней целую страничку. Поскольку меня уже попрекнули, что я в статье ни слова не сказал о Солженицыне (см. «Литературную Россию» от 14 апреля 1989 г.), то я вынужден привести этот кусок полностью: «Расширялись пространства критики, но и они были невелики, хотя на их территорию попали и война (Василь Быков), и лагерь (Солженицын), и мытарства послевоенной деревни (Абрамов, Белов)».

Самым крайним достижением этого направления в шестидесятые годы была проза А. Солженицына, который резко обозначил границы между литературой умеренной, разрешенно-критической, угодно-критической и литературой, не признающей никакой зависимости, кроме зависимости от правды. А. Солженицын подошел к тому, к чему неизбежно должна была приблизиться честная мысль, — к признанию универсального и общего характера произвола системы, его неоправимости для судеб России и, если хотите, тотального поражения перед лицом истории.

Но ему не дали досказать. После «Одного дня Ивана Денисовича», после серии рассказов, один из которых был напечатан аж в самой «Правде», литература госзаказа не смогла более терпеть такого соседства, для нее оно означало полную смерть, и — как говорил Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — «просвещение прекратило течение свое».

Чтоб хоть как-то защититься от произвола цензуры, я послал телеграмму М. С. Горбачеву. В ней я высказал свое отношение к случившемуся. Прошел месяц, и через редакцию мне был передан ответ: «Ваша телеграмма принята к сведению». Как я понимаю, таких телеграмм и обращений было множество, и вот результат: имя Солженицына уже не вычеркивается, более того, за право печатать его ведут борьбу журналы всех направлений. Каждый из них спешит «присвоить» Солженицына, сделать его своим союзником.

Надо отдать должное Сергею Залыгину: именно он первым объявил о желании опубликовать опального писателя. Именно он вел спор с теми, кто не желал этого и препятствовал этому. Человек, внимательно прочитавший статью «К вопросу о бессмертии», поймет, почему он так поступал. Статья эта есть проявление терпимости и внимания к разным точкам зрения. Любимое слово Сергея Залыгина — «вариантность». Имея свой твердый взгляд на вещи, он признает законность любого иного взгляда, иного отношения к вещам. В этом достоинство его статьи, ее интеллигентность.

Публицистика наша чаще всего дает советы, как поправить экономику, стабилизировать рубль, реформировать партию. С. Залыгин ни много ни мало ставит вопрос о бессмертии. Странно, конечно, выглядит этот вопрос на фоне наших насущных забот, но для автора бессмертие не мистическая и онтологическая проблема, а проблема физическая и материальная.

Речь идет о бессмертии цивилизации, культуры, о бессмертии трудов рук человеческих и природы.

У нас не принято говорить о бессмертии, так как, согласно учению материализма, человек смертен. Если и возникает

разговор о «другой» жизни, то его относят в сферу метафор: мы, успокаивают нас философы-материалисты, смертны, но бессмертны наши дела.

Это, конечно, утешительно. но не совсем. Это, так сказать, общий ответ на индивидуальный вопрос. Человек жаждет не общего, а личного бессмертия — такого его природа. Куда исчезает его дух, его душа? Он абсолютного истребления своего «я» признать не может. На этом основывались все религии, все надежды человечества. Без упования на бессмертие жизнь теряла смысл. И сейчас, хороня умерших, мы думаем, что расстанемся со всем, что осталось от человека. Но можно ли похоронить душу?

Сергей Залыгин уклоняется от этой темы. Человечество, по его мнению, должно не только выжить, но и спасти себя. Спасти через спасение природы, ее ресурсов, материальной культуры и цивилизации. «Так или иначе, — пишет он, — но легенда о нашем бессмертии уже рухнула, и «бессмертие» заменено другим словом — «выживание», словом, по существу, позорным для XX века, для всей предшествующей истории человечества». Выживание — это спасение на короткий срок, это отсрочка смерти, паллиатив, сговор жизни со смертью.

«Вечность» как бы перестала существовать, она из философского понятия, окрашенного в розовые тона, превратилась в черную дыру, из которой идет ядерный смрад. С. Залыгин перед лицом этой опасности видит один способ вернуть человечеству бессмертие — стать, наконец, человечеством, общено семей, а не классами, государствами, системами и режимами. Сам страх тотальной гибели должен толкнуть людей друг к другу, толкнуть друг к другу государства, режимы, партии, политиков.

Труднее всего совладать с последними, ибо они уверовали, что политика в мире стоит на первом месте, а все прочее — включая жизнь человека и природы — на втором. Примат политики над экономикой, над духовной деятельностью, над трудом привел к попранию естественности — этой матери всех законов.

Автор статьи хотел бы противопоставить этому логике здравого смысла, реального, а не «выдуманного» мировоззрения. Ибо, как он пишет, «выдуманные от начала до конца мировоззрения — это, наверное, самый большой грех и порок человечества. Мировоззрение должно проистекать из опыта, а опыт ведь нельзя ни выдумать, ни сконструировать...».

Выдуманное мировоззрение создает и вымышленный мир, который бесполезно совершенствовать. «Мы утратили объективное представление о реальном мире, — добавляет С. Залыгин, — но пытаемся совершенствовать мир, нами выдуманный. Который никак не может быть ни социалистическим, ни бессмертным, потому что он — никакой».

Тем не менее старая фразеология на этот счет остается в силе. У нас до сих пор в ходу формулировки: «дальнейшее совершенствование», «дальнейшее развитие», «дальнейшее улучшение». Откройте сегодняшние газеты — они полны этих фраз. От них веет дурной бесконечностью: нет предела мифическим совершенствам и улучшениям. Бесконечно улучшать можно только то, что хорошо сделано, и нельзя развивать то, чего нет, что, как платье короля в сказке Андерсена, просто отсутствует.

Тут уже пахнет бессмертием общих слов, клише и штампов, которые есть не что иное, как бессмертие пустоты. То есть бессмыслица бессмыслицы.

Сейчас наши теоретики бьются над тем, как совершенствовать социалистический реализм, приспособив его к настоящей минуте, реанимировать этот истлевший труп. Ссылаются при этом на Горького, как на человека, который не мог бы благословить «плохой» метод. Но прочитайте напечатанные в журнале «Знамя» (№№ 3, 4, 1989 г.) записки А. Авдеенко «Отлучение» и вы увидите: благословил. Благословил и социалистический реализм, и пролетарскую литературу, и таких писателей, как А. Авдеенко, поставив их над гениями духа, про одного из которых он писал исключительно так: «достоевщина», «карамазовщина».

Прочтите и предисловие М. Горького к первому тому «Библиотеки поэта» — к стихотворениям Г. Р. Державина. Никто, мне кажется, с такой злобой не писал о злобной, этом якобы «неклассовом» чувстве, которое, если отнять у него классовое содержание, свойственно и тарантулам, и скорпионам.

Из простодушных признаний А. Авдеенко видно, какой, в сущности, страшной фигурой был Горький в тридцатые годы. Он уже вошел в роль отца новой литературы, проле-

тарского Льва Толстого, к кому, как и к Толстому в Ясную Поляну, стекались толпы людей. Только Толстой был над царем, его никто не короновал на духовное царство, Горький был посажен на трон Сталиным и К°, зорко следившими за тем, чтоб их избранник вел себя смирно. Кроме того, они время от времени требовали от него санкций на их злодеяния.

Одной из таких санкций стала статья Горького в газете «Известия» от 15 ноября 1930 года. Она называлась «Если враг не сдается — его истребляют». Статья была посвящена процессу над Промпартией, который проходил тогда в Колонном зале Дома союзов в Москве. В ней Горький писал: «Наша техническая интеллигенция состоит из небольшого количества честных, преданных... специалистов, прослоенных множеством гнусных предателей».

11 декабря того же года появилась другая статья Горького — «Гуманистам». Иронизируя над такими «гуманистами», как Альберт Эйнштейн и Генрих Манн, выступающими против преследования людей в СССР, Горький писал: «Употребляется ли ради развития сознания человека насилие над ним? Я говорю — да!.. Культура есть организованное разумное насилие над зоологическими инстинктами людей».

Поощряв этими афоризмами свирепствования ОГПУ, Горький далее осеял своим именем все: и Соловки, и Волго-Балт, и многие романы о рабочем классе, авторы которых, подобно А. Авдеенко, сначала возносились им из грязи в князи, а затем, исчерпав свой ничтожный потенциал, плюхались обратно в грязь.

Ошеломленный А. Авдеенко, не понимая преремены по отношению к нему со стороны «гениального Алексея Максимовича», искренне негодует, восстает на своего кумира, жалуется, но не может понять, что он и такие, как он, были для Горького лишь мифом о «новой» литературе, но он не видел за нею людей.

Союз писателей, созданный Горьким, вел к образованию союза послушных исполнителей воли власти, которые по приказу того или иного наркома (будь то Ягода или Орджоникидзе) готовы были сегодня писать об исправляющихся зеках и ехать для этого в форме чекиста на Север, а завтра — о доблестных донецких шахтерах и менять Север на Донбасс.

Читая статьи Горького в «Известиях», я обратил внимание на контекст, которым они окружены. Газета полна проклятиями в адрес сидящих на скамье подсудимых ученых и инженеров. Все, как и Горький, требуют одного — смерти для виновных. Вторят главе пролетарской культуры и работники искусств города Москвы. «Кто кого? — ставит вопрос Довженко, — пишет в своем отчете газета. И отвечает: — Мы их! Будем последовательны и потребуем запретить им дышать». «После яркого выступления секретаря ВЦСПС тов. Шверника, — сообщают далее «Известия», — собрание, затянувшееся до глубокой ночи... единогласно постановило ходатайствовать перед правительством наградить ОГПУ орденом Ленина».

В списке выступавших есть и Пудовкин, и Качалов, и Мейерхольд, и Таиров. Последний сказал: «Мне стыдно, что в нашей среде, среде интеллигенции, нашлись подобные негодяи».

Трагическая слепота! Чем она обернулась для того же Таирова? Разгромом его театра.

И эту атмосферу раскола, вражды, страха, ненависти поощрял Горький.

Горький — крупная фигура русской истории и уж, во всяком случае, не фантом, как его побочный сын — социалистический реализм. И о нем еще напишут правду, я не сомневаюсь. И это будет горькая правда о Горьком. Будет объяснено и то, почему именно эту фигуру избрали на роль вождя новой литературы Сталин и К°, ибо представить на этом месте Бунина или Короленко я не могу.

Бунин и Короленко не стали бы фотографироваться с чекистами на Соловках, не занялись бы призывом «ударников» в литературу. Горький создал Союз писателей не ради Ахматовой и Пастернака, Платонова и Булгакова, а ради Авдеенко и иже с ним.

Но, сделав это, он, по-моему, ужаснулся творению рук своих.

Я думаю, что наша фантастическая действительность, даже если она будет описана в формах реализма, окажется фантастичней всех фантастических романов, которые появлялись доселе. Для ее изображения не придется прибегать к приемам гротеска и преувеличения — достаточно будет честно рассказать о том, что было.

С. Залыгин пишет, что утопизм свойствен русскому мышлению и, может быть, поэтому оно так легко поддалось сказке о социализме, мечте о всеобщем земном рае, который построится сам собой — стоит только исполнить аксиому Марковского учения. Автор статьи проводит различие между «аксиомами» и «теоремами», считая, что здравому смыслу более близки «теоремы», так как в решении их возможны варианты. Аксиома всегда безвариантна. Она деспотична, она навязывает одно мнение, одну волю, один-единственный путь, не предоставляя истории выбора.

Должны ли мы были пройти через социализм? С. Залыгин полагает, что да. Относя себя к приверженцам вариантности, он в данном случае судит одновариантно, рассматривая социализм как единственную альтернативу капитализму и предпочитая первый.

В понимании социализма и капитализма он стоит еще на старых, классических политэкономических толкованиях этих структур, явившихся в прошлом веке.

Он пишет, правда, что Россия в XX веке «прошла... страшную и страдальческую историю», но тут же добавляет: «Страдания не только убивают и калечат, страдания возвышают...» Варлам Шаламов, сам много страдавший, не согласен с таким утверждением. В том же «Новом мире» (№ 6, 1988), в предисловии к «Колымским рассказам» он с горечью констатирует: «Автор... считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики».

Этот жестокий приговор над страданием в устах не расположенного к какому-либо преклонению В. Шаламова звучит как приговор окончательный. Он оплачен слишком дорогой ценой.

Да, страдания дают знание жизни и знание людей, они помогают понять других и понять себя. Но они и калечат. Они ожесточают, уродуют душу.

Я вспоминаю отца и мать. Нет, не просветлевшими вернулись они после двадцати лет отсутствия, не просветленными. Они вернулись не такими, какими я их помнил в детстве. Да и о самом себе надо признаться, что не возвысили меня ни детская тюрьма, ни детдом, куда я попал после ареста родителей. Так что мне трудно примириться с мыслью, что «через революцию человечество и обновлялось», — как пишет С. Залыгин, — отодвигало сроки конца света».

По С. Залыгину, получается, что другого выхода не было и нет, что в противном случае, при избрании «старого» пути, было бы хуже. Но я не знаю, что может быть хуже того, что произошло.

И еще. О применении оружия, применении силы. Автор статьи уверяет, что использование оружия в революции естественно, ибо им пользуется и контрреволюция. Но что же все-таки стоит впереди: революция или контрреволюция? Или, попросту говоря, кто начинает стрелять первым?

В романе Достоевского «Подросток» Макар Иванович Долгорукий говорит своему приемному сыну, гордому «выноше»: «Предель памяти человека положен во сто лет... И пусть забудут... а я вас и из могилки люблю». Как достичь этой высоты, как сделаться бесчувственным к собственной гибели, чтоб и за чертой смерти исповедовать любовь?

Но именно это завсегдальна нам классика.

Сегодня наши сердца ожесточены, закрыты наглухо, запечатаны семью печатями. Что там из могилки любить ближнего, мы и при жизни не щедры на эту любовь. Так возвысило нас страдание или нет?

Я не вижу в людях этого возвышения, усиления внимания к чужой боли, чужой обиде, чужой беде. Во время войны, скитаясь беспризорником по странам, я это внимание чувствовал. Сейчас оно сокращается, как шагреньская кожа. Народ устал страдать, устал нуждаться, устал от попрашки его достоинства.

Сегодня мы — усталая нация.

С. Залыгин верно пишет, что победа в войне принесла нам, кроме освобождения, еще новое рабство. Да, победа освободила мир от Гитлера, но она и развязала руки Сталину. Победа дала Сталину козырь в его страшных играх по закабалению собственного и других народов. Она поставила нас в зависимость от тех, кого мы освободили. Вслед за В. Гроссманом, обосновавшим эту мысль в романе «Жизнь и судьба», С. Залыгин считает, что победа утвердила в нас веру в «позицию силы».

Ох, как дорого обошлась нам эта вера! Она бросила тень на все послевоенное развитие. Она ввела танки в Будапешт, а затем в Прагу. И, наконец, в Афганистан.

«Нынче бесстрашие духа и совести, — пишет С. Залыгин, — ... в несогласии с реальностью». При всем своем «теоретическом» оптимизме статья Залыгина — дитя сомнения, дитя критики, дитя века. Гордыня вообще не поощряется автором, он скорее склонен поощрить чувство вины, реализм перед лицом поражения. Он смело пишет о «перерождениях» революций, о превращении народа в «население» («обманутая общественность — это уже и не общественность, а только пассивное население, масса»), о том, что «извращения» социализма не случайность («что за странная такая случайность, которая присуща едва ли не всем социалистическим революциям в Европе, Азии, Африке, да как и не в Америке тоже?»), что мы спасаем весь мир, а не спасаем себя.

С. Залыгин видит путь к спасению не через церковь (он признается, что он атеист), не через учение Христа о бессмертии (по его мнению, ставшее догматом церкви), а через реализм, через социализм. Он как бы по кругу возвращается к утопиям старых времен, но делает при этом поправку: рая на земле не построишь, но избегнуть ада можно.

Христианская идея — это идея, возникшая не в окружении Христа, не в головах двенадцати учеников его, а затем учеников этих учеников. Это идея опыта нескольких сотен поколений, это то, что Сергей Залыгин называет «невыводимым мировоззрением». Так может ли с нею спорить теория, не протерпевшаяся на свете и ста лет?

В христианскую идею вошло как знание природы человека, так и знание самой природы, а также истории, времени и пространства. И может ли победить это знание, например, современная физика, даже если она добралась до тайны ядра?

«...Рай человечеству не видать никогда, — читаем мы в статье. — Другое дело — избежать ада. Вот с этой поправкой утопизм нынче необходим, может быть, больше чем когда-либо в прошлом. Социализм — альтернатива такой перспективы, кажется, единственная. Никто и нигде другой альтернативы такого рода пока что не выдвинул. И похоже на то, что се, принципиально другой, и не может быть, что всякое размышление об усовершенствовании человеческого общества никогда социалистических идей не минует. Вот и религия тоже заговорила о христианском социализме, заметим — о социализме, но религий много, причем несовместимых между собой, а социализм — по крайней мере в теории — один, и это тот пункт, вокруг которого можно объединяться в поисках бессмертия всем, кто хочет и кто призван искать».

Мысль очень теоретическая, потому что прежде всего непонятно, что такое социализм; если это тот социализм, который построили, то избави Бог, если какой-то другой, то какой, и есть ли, как говорится, образцы?

Думаю, что не задача писателя выбирать ту или иную социальную систему, его ставка — душа человека, а она исправляется не материальными обстоятельствами, не прикладными идеями, а отношением к той самой идее бессмертия, которая вынесена в заголовок статьи С. Залыгина.

Конечно, экологическое выживание, спасение природы — путь к бессмертию, но именно социализм нанес чувствительные удары по природе, как ни одна из систем, поставив ее на грань разорения. Народ и природа понесли от него потери невозможные. Так неужели же мы начнем возрождение через то, что нас разоряло, что убивало? Нет ли тут теоретического страха перешагнуть через те же «аксиомы», которые автор статьи так третирует? Мне кажется, что есть.

Его жесткая позиция в отношении церкви как инструмента несостоятельного в борьбе за бессмертие может претендовать на продолжение позиции Толстого, отошедшего от официального Бога и признавшего «Бога в душе».

«Бог в душе» не вписывается в концепцию реализма, но это то, к чему вольно или невольно обращается позитивистская мысль С. Залыгина, не удовлетворяющаяся ни чистой экономикой, ни чистой политикой.

В том-то и дело, что политического разрешения кризиса, к которому подошло человечество (кризиса вражды), без духовного сближения нет. И бессмертие природы, и бессмертие человечества зависят от этого, а не от того, что мы плохой социализм поменяем на хороший, плохого лидера — на хорошего лидера.

Нет, видно, человечеству придется учиться распознавать старое, искать в нем опоры и, открыв с его помощью глаза на настоящее, найти в себе мужество сделать шаг назад.

Александр ТЫШЛЕР

О СЕБЕ



Александр Тышлер
и его жена Флора Сыркина
на всероссийском конкурсе 1974 год.

Александр Григорьевич Тышлер — из того активного поколения смелых, ищущих художников, которые пришли в советское искусство с революцией. В гражданскую войну он был красноармейцем, участником оформления князских улиц и площадей к первым революционным праздникам, расписывал агитоезда и агитпароходы, был организатором и бессменным художником мелитопольских Окон УкРОСТА. Потом в Москве наступили годы поисков и обретения своего мировидения в искусстве. Тышлер воспринимал жизнь как нозд. Он мыслит иносказательно, метафорами и символами. Ирония и гротеск, лирика и романтика присущи его картинам, рисункам, скульптурам. Не потому ли он так близко сошелся с поэтами Багрицким и Маяковским, Ахматовой и Мандельштамом, Маршениным и Хлебниковым, Сельвинским и Кирсановым...

Он глубоко понимал и любил их поэзию, а они — его образное гуманное искусство. Он не просто иллюстрировал их стихи и поэмы, а сопровождал неординарными поэтическими изобразительными эквивалентами. В 1920-х — начале 1930-х годов они часто встречались.

Тышлер прожил большую, трудную жизнь. Трудную, потому что имел мужество и твердость никогда не изменять себе, несмотря на все предисказания и директивы властей предержащих, травлю в печати, а затем многолетний заговор молчания в прессе о его искусстве. В 1933 году вышла «основополагающая» на долгие годы книжка О. Бескина «Формализм в живописи». Автор ее с новой силой возобновил прежние иррациональные и занялся «охотой на ведьм». В числе жертв оказались Штеренберг, Тышлер, Удаличова, Древин, Лабас и многие другие талантливые и независимые художники, те, кто принял революцию раньше других, верно служил ей, честно экспериментировал в поисках нового искусства, не шел на поводу конъюнктуры, не писал, но выражению Маяковского, «кого покекштейн».

Все реже и реже экспонировались картины и графика Тышлера. Государство перестало их покупать. Только изредка заходили к нему домой частные коллекционеры. Не на что было жить. Но это не сломило Тышлера. Он продолжал писать картины. Они копилась в единственной комнате художника в коммунальной квартире. Спас его, как и некоторых других ослепших живописцев, театр.

Еще в 1920-е годы его причудливые холсты и рисунки, экспонировавшиеся обычно на выставках ОСТА, поразили воображение многих театральных режиссеров «лица необычным выражением». В одних работах жила песенная романтика гражданской войны, а других — фантастические уличные торговцы шествовали увешанные часами, тростями, клетками с птицами, бочками, как олицетворение времени, труда, изобилия, иллена, в третьих — солдаты-инвалиды вздымались к ночному небу свои протезы а знак протеста против войны. Весь этот мир был необыден, действителен, театрален. Не случайно имелись в выставочных залах Тышлером заинтересовались режиссеры и состоялись знакомство с Мейерхольдом, Диким, Таировым, Завадским и многими другими режиссерами, которые стали приглашать Александра Григорьевича в театр.

Театр стал еще одной звездой таланта художника. Тышлер небогатоно прошел на сцене испытание Шекспиром и создал ашеидшие в историю мирового театра знаменитые постановки «Короля Лира» и «Ричарда III». В его декорациях и костюмах шел легендарный «Чапаев» по Д. Фурманову в театре МГСПС, «Мистерия-Буфф» В. Маяковского в Московском театре сатиры, «Смерть комиссара» А. Миллера и «Они знали Маяковского» В. Катаняна в Академическом театре драмы имени Пушкина а Ленинграде, иерые спектакли первого а мире цыганского театра «Ромэн», «Не только любовь» Р. Щедрина в ГАБТе и многие-многое другие. Проработав в театре тридцать пять лет, он а здесь нашел своеобразный, только ему одному присущий строй. Декорации Тышлера составляли, как нрави-

ло, целостный, независимый от сценической коробки архитектурный комплекс, такую единую декорационную установку, которую можно было бы вынести из театра куда угодно, и она бы не распалась. В этом сказались мечта художника о всенародном театре на площади. Как сценограф, Тышлер неоднократно разделял мечальную судьбу советского театра, терпящего бедствия под эгидой чиновников от искусства, а иногда и личностей самого высокого ранга. Были изъяты из репертуара оформленные художником спектакли-жесты. Кагановичем самолично был запрещен спектакль «Разбойник Бойтра» М. Кульбака в Гос. еврейском театре, и а качестве наказания за неудобные костюмы Тышлера лишили на девять месяцев работы в театрах. Чтобы не умереть с голоду, он продавал свои любимые книги античных философов, редкостные фоланты из своей библиотеки. Всякое случалось. Режиссер А. Дикий пригласил художника оформить «Смерть Тарелкина» В. Сухово-Кобылина в Малом театре. Тышлер ирдумал общую для спектакля сценическую архитектуру-символ. Когда трунина театра увидела эскизы костюмов персонажей в мундирах чиновников, в масках, иногда двуглавых, волков, лисич, хорьков, гиев, хряков и других зверей и животных и макет, представлявший собою огромную металлическую санью с широко раскрытым боком — действе должно было происходить а этом метафорическом просторстве, — актеры академического Малого, не привыкшие к столь смелым образам, дружно отказались от подобного решения. Было и закрытие Гос. еврейского театра (ГОСЕТа) в 1949 году, театра, в котором Тышлер работал много лет, а восемь из них был главным художником.

Правда, его признавали одним из крупнейших советских театральных художников, именно театральных. Живопись, графика и скульптура оставались для него как бы вне закона. Во время юбилея ГОСЕТа в 1939 году его наградили орденом «Знак Почета», в 1943-м удостоили звания заслуженного деятеля искусств УзССР за работу в Узбекском академическом театре драмы имени Хамзы, а иомощь узбекским театрам и их художникам, в 1945 году за декорации и костюмы к спектаклю «Фрейлехс» в ГОСЕТе присудили Гос. премию СССР. Все эти ноности не стали для художника «охранной грамотой» — клеймо «формалист» все нерешивало.

Александр Григорьевич завещал передать после его смерти Центральному музею Революции свой живописный диптих «Вилья» и «Грабли», воссоздающий персонажей оформления революционных празднеств первых лет после революции. В 1980 году автор этих строк лично оновестила дирекцию музея о даре Тышлера. До сих пор никто так и не иришел за картинами «Формалисты». Да, дискриминация художника держится прочно.

Александр Григорьевич любую свободную минуту использовал на то, чтобы побыть со своими любимыми персонажами картин, графики, скульптуры: «Соседями детства», персонажами самодельных театров, русскими скоморохами и кукольнымиками, прекрасными незнакомками, друзьями — нимфами дерева, клоунами... Он был мифотворцем и сам сочинял, писал и рисовал свои легенды. В начале 1960-х возникла его серия «Фашизм» как отклик на возросшую оаность неофашизма. На иолотках появились бронированные чудовища с жерлами пушек вместо глаз, носа, ушей, с клыками и когтями в виде книжалов, хвостами-саблями. Страшный оживший механизм зла, истребления жизни в чем-то оказался очень похожим на «машину для наказания» Кафки. Серии художник исполнил иному, что никогда не бывал уд. летворен одной своей работой и стремился в следующей довершить то, что не вполне, как ему казалось, удалось в предыдущей. Серии иодчас иродолжались долгие годы. То было стремление к совершенству.

Многим зрителям остается непонятен феномен на нервный взгляд страшных композиций, в которых ирекасные женщины и девушки изображены с натюрмортами, кровлями, балаганчиками, целыми домами, саечами, пейзажами на головах. Именно здесь особенно ярко отразилось поэтическое видение художника мира, в котором центром является человек, а все окружающее как бы подвластно ему, кровно связано с ним воедино фантастическими узами и словно одушевлено. Кажется, что стандартные современные дома, будто одовающие девушек своими стандартными массивами в серии «Девушка и город», обретают тепло, излучаемое ирекасными незнакомками. Горящие свечи, льющие теплый свет на головы юных женщин, — олицетворение праздника в серии «День рождения».

Тышлер большую часть жизни проводил у мольберта и в театре. Тридцать пять лет отдало сцене, шестьдесят — станковому искусству. Статьи, отрывки воспоминаний, иисьяа нисал редко. Никакие иросьбы не могли заставить его обратиться к иинге мемуаров. Он говорил: «Я художник и должен заниматься своим делом. У меня очень мало времени, я не вправе отвлекаться».

Может быть, иному литературное наследие Александра Григорьевича невелико. Считанные статьи, заметки о себе и некоторых друзьях.

Рукопись «О себе» была найдена случайно, после смерти Александра Григорьевича, в одном из многочисленных его альбомов для рисования. На двух первых ничего не предвещавших страницах были иарисованы иыленькие форэскизы декораций к одному из спектаклей цыганского театра «Ромэн», относящемуся к 1930-м годам.

Очевидно, что иодустершийся ныне, написанный карандашом текст относится к тому же нелегкому для художника времени. Судя по фразе «но отсутствие места мне не позволяет», автор нисал для какого-то издательства статью определенных размеров. Рукопись не окончена. То ли сам автор в процессе работы над нею понял, что его резкий тон несовместим с публикацией, то ли нам достался один из черновиков, а готовый очерк был иогребен в некоей редакции...

Флора СЫРКИНА

Я родился в рабочей семье. Отец мой по профессии был столяром. Дед и, кажется, прадед тоже были столярами. И братья отца тоже пошли в столяры. Половина моих братьев тоже обрела эту профессию. Правда, последним это ремесло давалось с большим трудом; по-видимому, оно уже вырождалось... Так вот, если представить себе в виде семейно-исторического портрета всю плеяду Тышлеров, вооруженных пилками, молотками, стамесками, рубанками, и меня в их числе, как единственного представителя от художественной интеллигенции, то под таким портретом можно было бы свободно написать: «Художник Тышлер среди ударной бригады сезонников».

Столярики, столярики! Вы уже не пилите, не строгаєте, вооруженные до зубов терпением и ненавистью ваших пилкок и молотков к царизму! Вы не измнили своему классу в двенадцатичасовом труде, в борьбе за хлеб и рюмочку водки. Вы сложили свои кости, как складывался ваш неустойчивый капризный аршин.

А я... как говорят РАПХовцы, торчу здесь пугалом для страны. Отец мой был хорошим столяром. Пожалуй, в вещь, которую он мастерил, он вкладывал много, он подходил к ней со своим пониманием, со своим видением. В работе он не был эклектиком. Всякие рококо, ампиры, модерны были ему чужды. Работа его была проста и конструктивна, и сам он был прост, а по мировоззрению был ужасный безбожник. Это его отличительные черты, а отсюда, как говорят, происходили и все качества.

Мать моя грузинская еврейка. С ее родом я мало знаком. Знаю только по рассказам, что ее отец, мой дед, был в свое время осужден в Тифлисе или в Кутаиси за употребление христианской крови. Это был громкий процесс, по размерам и качеству не уступающий делу Бейлиса. Защищал деда в то время известный адвокат Александров. Он все же добился только высылки деда в Литву, где тот в нужде и одиночестве умер, увеличив своим ростом и большой седой бородой вес земли матушки России.

Мать моя нуждается в более подробном биографическом описании. Если бы люди происходили от насекомых, то можно было бы сказать, что она, безусловно, происходила от муравья. Всю свою жизнь, имея на руках многочисленную семью, она с утра до глубокой ночи суежилась. Порою казалось, что у нее много рук... Изворачивалась, вывертывалась, спасаясь от ударов жизни, она умудрилась сохранить себе жизнь по сей день, воспитав, как могла, восьмерых детей. Из семьи несколько ее членов уже вышло в гражданскую войну, остальные идут в ногу с Партией. А вот я успел даже, по словам РАПХовцев, побывать в буржуазном мире — правда, недолго. Если бы мой отец узнал об этом, он возгордился бы и, вероятно, вообразил бы себя датским принцем...

Себя я помню лет с пяти-шести. Излагая свою биографию, я, сознаюсь, испытываю чувство какой-то неловкости, вернее, застенчивости, как будто я вышел на эстраду перед широким зрителем. Как будто я нахожусь в большом пространстве, и перед огромным количеством зрителей меня заставляют идти не вперед, а пятиться назад. И вот я иду осторожно, боясь обо что-нибудь споткнуться. Я попробую пройтись по дуге времени и уткнуться в шестилетний мой возраст. Этот возраст у меня особенно ассоциируется с 1905 годом. Этот год памятен мне по своему багровому цвету. Я его не только запечатлел в своей памяти, но и пережил. Что может быть ужасней и страшней для ребенка, когда он в испуге просыпается и видит перед собой «букет» улыбающихся городских? Что может быть страшней для ребенка, когда этот «букет»... рассеивается по углам и закуткам, выворачивая наизнанку не только вещи, но и близких людей, которых затем уводит с собою под звуки звенящих шпор и режущий воздух свист нагаек. Страх у ребенка проходит быстро, но отвращение и ненависть остаются навсегда. Барабанная дробь затихла, нагайки снова повисли на казачьих задниках, ехидно показывая свои языки. Жанровые картины прошли по святой русской земле. Были установлены простые, совсем несложные, напоминающие качели натюрморты. Решетки тюрем обрели тройное измерение. Дворянская Россия отмывала кровавые руки. Стало тихо. И вот в этой тишине я помню, как при керосиновой лампе я стою и, задравши голову вверх, смотрю, как моя сестра Соня срисовывает в свой альбом портрет Карла Маркса... Рисовала она хорошо, особенно с натуры. Вот с этого момента я, по-видимому, и был «отравлен» рисовальным ядом.

Сначала я рисовал почти как все дети, но чем дальше, тем я крепче привязывался к карандашу и бумаге, и уже к тринадцати годам я помышлял стать художником.

Должен сказать, что родители мои вовсе не стремились к тому, чтобы я стал юристом или врачом, как это было свойственно другим расчетливо-благоразумным отцам и матерям того времени. Они очень хотели дать мне художественное образование, и в 1912 году, когда мне исполнилось четырнадцать лет, моя сестра Тамара увезла меня в Киев учиться.

В Киеве, в Художественном училище, началась у меня новая жизнь. Деньги, которые я получал на жизнь и учебу, были очень ограничены. Поэтому мне пришлось поселиться в бедной рабочей семье слесаря — знакомого отца.

Когда я впервые появился в среде молодых начинающих художников, я был окончательно побежден желанием стать художником.

И все, что было связано с училищем, производило на меня большое впечатление. Все мне нравилось, даже то, что впоследствии стало неприятным, непригодным и просто чужим. Это училище имело свою, исключительно ему свойственную романтику. В длинных мрачных коридорах, которые имели всего один источник света с одного конца и напоминали опрокинутые колодцы, были установлены по обе стороны статуи. В этом мраке они напоминали мне сбежавших в одно место раздетых и полураздетых нищих с открытыми, ничего не видящими глазами, в душераздирающих позах, протягивающих обрубки своих конечностей. Они как бы звали о помощи...

Совершенно другая картина возникала, когда зажигался свет. Тогда коридор сразу приобретал музейный вид и древнегреческая скульптура во всем своем величии рассыпалась по разным классам, становясь перед аудиторией учеников в позу абсолютной неприкосновенности, отрешенности, со взором, обращенным к самой себе. Она выполняла возложенную на нее миссию: искалечить и уничтожить всякую творческую мысль в молодых живых организмах*. За этими очаровательными белыми спинами бессознательных вредителей стояла сознательная бездарная преподавательская культура**, которая опошляла величественную культуру Древней Греции и восприимчивость будущих молодых художников.

Я вовсе не хочу сказать, что рисование с гипсовых фигур вообще вредно. Но только, если найти верный ключ к пониманию этой культуры, начинающий художник сможет получить определенную большую пользу.

Контингент учащихся в этом училище был довольно пестрый. Там были дети всех наций и классов, начиная с сынов крупных буржуа, разорившихся дворян и кончая детьми мелких кустарей и рабочих. Последних, конечно, было мало. Антисемитизм и национальная вражда разжигались всеми средствами, какими тогда обладала преподавательская верхушка. Я помню, как мне один из преподавателей говорил в присутствии всего класса, что евреев он признает и даже немного любит за то, что у них был такой великий мыслитель, как Спиноза. А я, не долго думая, задал ему вопрос: а как бы он относился к моей национальности, если бы Спинозы не было. Ответить ему на этот вопрос было не под силу, ибо дело было не в Спинозе, а в чем-то другом...

Я аккуратно и честно выполнял программу этой школы так же, как сотни других учеников, но не все ученики понимали, уже кончая училище, что они слепы и бессознательно усваивали ужасающую косность и невсестество. Как это всегда бывает, только небольшая кучка учеников понимала это и черпала настоящую художественную культуру, как говорят, на стороне. В моем художественном развитии сыграли немалую роль два моих товарища, которые были старше меня и по возрасту, и по культурному и художественному развитию. Один из них, Алекс Колониус, был прекрасным рисовальщиком; другой, Марк Вайнштейн — хорошим живописцем. Эти два художника отлично знали не только историю мирового искусства, но и мировую литературу. Они не все любили и ценили. Ими были отобраны их художники.

* Отношение к методу обучения в Киевском художественном училище со временем менялось у А. Т.: в ту пору, когда я писала о нем книгу, то есть в 1960—1963 годы, он с благодарностью вспоминал о том, какую пользу ему принесло штудирование гипсов, как крепко он научился рисовать. (Здесь и далее — примечания Ф. Я. Сыркиной.)

** В те же 1960—1963 годы да и позднее А. Т. вспоминал о большинстве своих учителей в Киевском художественном училище очень тепло.

писатели и поэты, которые служили образцами большой культуры, вкуса. Вот такой клад, выуженный ими из огромного арсенала мирового искусства, я получил от них в вечное пользование. Чувство большой благодарности и преданности им, и Колониусу, и Вайнштейну, живет во мне и по сей день. Как грустно, что эти люди исчезли с подмостков искусства и растворились в жизни!*

Уже февральская революция нарушила прежние устои школы... Швейцары, живущие при школе, нерешительно и с чувством какой-то стыдливости снимали царские портреты. В скором времени экспозиция на стенах изменилась. Здесь поочередно висели Петлюра, потом Гетман, потом опять Петлюра. Лишь Тарас Шевченко со стены никогда не снимался. Но не он, конечно, решал направление политического мировоззрения. Те, новые царьки, считались выше, авторитетней Шевченко. Они, хоть и недолго, но решали судьбу людей. Однако, когда встречали Петлюру, портрет Шевченко снимали со стены, обвешивали полотенцем, затем приравнивали к спинке стула с хлебом, на котором лежали соль и крест. События между тем молниеносно разворачивались, и, когда приходила Красная Армия, крест исчезал, хлеб-соль съедался, и Шевченко снова водружался на свое почетное место.

В февральские дни я ходил с револьвером, выполняя, так сказать, функции милиционера. Но использовать свое оружие мне все не приходилось, и я искал случая, где бы можно было это сделать. Шесть торчащих пуль в револьвере не давали мне покоя, и за несколько дней перед сдачей оружия я все шесть пуль вогнал в угол потолка в доме моих знакомых, после чего меня почтительно попросили оставить дом. Впоследствии я очень пожалел, что при мне не было этого револьвера и шести пуль — я мог бы более разумно использовать их. Было уже в кого стрелять, и, так как стрелял я хорошо, у меня бы еще пять пуль осталось...

Однажды денкины и петлюровцы, объединенные одной идеей, как бы назначив свидание, встретились на Думской площади и, приблизившись друг к другу, тотчас же подрались. Два разных по цвету флага стояли рядышком, но не сливались. В конце концов победителем остался тот, кто был постарше и имел уже достаточный опыт...

На Думской площади было захудалое греческое кафе. В этом кафе художники, писатели и примыкавшие к ним люди искусства и литературы обрели место для встреч. Кафе называли ХЛАМ (художники, литераторы, артисты, музыканты). Ели мы тогда мало. Я так совсем не ел по два три дня, только глотал воздух, но рты у нас не закрывались. Споры на политические и художественные темы приводили нас в особенный экстаз. Резким пятном выделялся один Илья Эренбург. Он был тише своей трубки, которая шипела и булькала. Возле него сидела высокая худая девушка, которая смотрела на него влюбленными глазами. Это была его будущая жена, молодая художница Люба Козинцева.

Когда большевики в первый раз брали Киев, я в это время занимался в студии Александры Экстер. Экстер, испугавшись «варваров-большевиков», удрала в Одессу. Остальная часть ее учеников... разошлись по домам. В мастерской остался я и еще один товарищ. Из красной блестящей бумаги мы соорудили небольшой плакат, написав на нем «Да здравствует Советская власть!», повесили его на стену и покинули студию.

К встрече красногвардейцев многие художники Киева, в их числе и я, готовились усиленно. Помню, как мы оформляли Крещатик... Спустя пару дней после тринадцатидневного боя, когда большевики вошли в Киев, я сидел на огромном митинге в оперном театре. Колорит позолоты и красного плюша этого театра перемешался с серыми шинелями и восторженными лицами. Я сидел на галерке и с птичьего полета жадно слушал речи ораторов. С трибуны выступали А. С. Бубнов, Скрыпник, В. А. Антонов-Овсеев и чернорабочий Раковский, говоривший с большим темпераментом.

Местные власти и общественные учреждения очень хорошо относились к «левым» художникам. Рабочие и красноармейцы, правда, не совсем понимали наше искусство, но они нас уважали за то, что мы тоже идем в ногу с Революцией и несем что-то новое, что мы тоже отвернулись от дряхлого старого. И действительно, все искусство этих бурных и замечательных дней мы героически вынесли на своих плечах. Мы

делали большое и нужное дело, мы делали все, в чем нуждалась Октябрьская революция. Мы были искренни и честны, не в обиду будь сказано другим художникам... Киев большевики оставляли и приходили снова. Эти частые перемены колебали многих художников. Иные из них перебрались туда, где можно было с помощью мещанов и лавочников заниматься чистым и тихим искусством.

Я пошел добровольцем в отряд особого назначения при особом отделе 12 Красной армии. Мы продвигались в самую глубь Польши... Когда на польском фронте был заключен мир, нас частично демобилизовали. Уже после того, как Крымский полуостров был очищен от белогвардейцев, я из газет узнал, что врангелевцы публично повесили в Симферополе многих подпольщиков-большевиков, в числе которых был мой родной брат Илья Тышлер...

Спокойно сидеть на месте я не мог. Я был взволнован и обеспокоен судьбою моих близких и родных. В 1920 году зимой я и еще один мой землячок уехали на крышу вагона и тронулись в путь. После трехнедельной мучительной поездки я добрался до родного Мелитополя. Дома я застал измученных белогвардейскими грабжами и голодом моих стариков. Не увидел я только своей любимой собаки Белки — ее съели...

Советская культурная жизнь закипела и в маленьком Мелитополе. Я был использован как художник по всем видам изобразительного искусства, показал образцы хорошей работы, и этим заставил подтянуться местных художников. Не зная совершенно, что Маяковский делает плакаты Окна РОСТА, я предпринял то же самое в родном городе*. Затем от плакатов я перешел к портретам наших вождей. Писал и рисовал их в огромном количестве не по трафарету, а так, по-честному. Причем сознательно вводил только две краски. Это я делал для того, чтобы оставшая часть художников перестала писать нашим вождям розовые щечки и красные губки. Правда, им было трудно отрешиться от своей стандартной цветовой гаммы, но все-таки значительных побед в этом деле я достиг, конечно, не разговорами, а делом, показав им, как можно двумя красками добиться телесности и формы.

Дни и месяцы шли. Лето сменилось осенью, а меня потянуло в большой город, в культурный центр. И вот в 1921 году я с мешком муки двинулся в Москву. Действительно, двинулся, ибо слово «ехать» никак не подходит для того времени. Устроившись в теплушке, я двинулся медленно, но верно...

Переходя к моему московскому периоду, я чувствую некоторое волнение. Во-первых, есть много живых свидетелей, которые скажут, что я кое-где сбегал, а во-вторых, я очень боюсь, как бы по объему не вышло бы нечто вроде романа «Война и мир»...

В Москве я несколько растерялся. Я прежде всего не знал, что с собой делать. У меня было такое чувство, будто я должен был себя кому-то отдать или куда-то отнести. А иногда мне казалось, что я никому не нужен, и если себя кому-то принесу, то от меня откажутся, как отказываются в ломбарде от негодной вещи. Настроение у меня резко менялось. Оно то понижалось, то повышалось, точно отвечало ритмам громадных городов к приземистых, то высоких московских домов. Отсутствие работы, а главное — то, что я не стою у мольберта или станка, меня ужасно тяготило. Тяготило и то, что я почувствовал себя недоучкой. Когда я бросился за помощью во ВХУТЕМАС, я встретил там анархию и сплошную говорильню. Кто-то кого-то в чем-то обвинял, отдельные персонажи с пеной у рта защищали, в частности, французских художников, уделяя особое внимание Сезанну и... Малевичу. Другие под прикрытием Маркса и Энгельса защищали только себя.

Уже ВХУТЕМАС являлся зародышем будущих трех основных творческих групп. Одна опиралась на западную живописную культуру, другая шла в направлении «Мира Искусства» и Третьяковки, третья не принимала ничего и до истощения халтурила, приписывая только себе термин революционного советского искусства. Но доказать ей это, по моему, не удалось. Трудно сбалансировать настоящее, да еще советское искусство, когда в одной руке держишь кисть, а в другой деньги. Таким фокусом владели только крупные мастера. Они свою кисть умели так крепко держать в своей руке, что никакая стопка денег не могла перетянуть их на свою сторону...

* Колониус участвовал лишь в одной художественной выставке в Киеве в 1924 году.
О Марке Григорьевиче Вайнштейне (1894—1952) существует маленькая статья в Библиографическом словаре художников народов СССР (см. т. 2, с. 147).

* Тексты к плакатам и карикатурам-гротескам писал Макс Поляновский, друг А. Т.



Воспоминание о Ренессансе. 1976 г.

**Из произведений
АЛЕКСАНДРА ТЫШЛЕРА
1898 — 1980 гг.**



**Цветодинамическое напряжение.
Фас и профиль. 1924 г.**



**Лирический
цикл. № 1. 1928 г.**



Махно
перед зеркалом.
1933 г.



Портрет
Анастасии
Степановны
Тышлер.
1926 г.



Фашизм. № 2. 1967 г.

Набат. 1976 г.



Так вот, разочаровавшись в ВХУТЕМАСе, я решил заняться самообразованием у себя на дому. Имея все-таки знание рисунка и общее представление о культуре живописи, я без труда стал заниматься с самим собой. Когда у меня спрашивают о моем художественном образовании и у кого я учился, я отвечаю:

— У всех, а главным образом у самого себя.

Начал я в Москве с беспредметных вещей. Они не были похожи на все те, которые в изобилии были написаны супрематистами. Этим я не хочу опорочить супрематизм Малевича. Его искусство было осмысленным, интересным и нужным. Нужным потому, что он заставил многих художников подумать (немного) о цвете, хотя в супрематизме Малевича и его эпигонов не совсем благополучно обстояло дело с цветом. Но мысль о цвете, конечно, была; и вот эта мысль сверлила мозги. куда просачивалось желание и потребность в том, что основа живописи — это все-таки цвет... На супрематизме могли остановиться и не пойти дальше только ограниченные художники. Должен сказать, что среди, так сказать, левых художников больше ограниченных и тупомозглых, чем среди правых и даже натуралистов. Эти последние все-таки обращались, правда, плохо, с человеческим дыханием и природой. Беспредметники в своей массе не понимали поступательного движения искусства и его повседневной связи с человеком. Желая спасти искусство отчужденное французские художники были значительно умнее. Правда, бытие ихних лавочников не могло определять сознание художников, и все-таки тот же Пикассо, Брак и другие делали и то, и другое, а впоследствии совсем освободились от того. Наши же «леваки» напоминали мне сверж, который где-то в захолустье просидел всю свою жизнь над изобретением алгебры, в то время, как алгебра была давно уже открыта, и ею пользовался весь мир...

Я сам работал над беспредметной живописью, но только для того, чтобы извлечь, вернее, выяснить необходимые для себя знания цвета, формы с тем, чтобы с запасом каких-то знаний двинуться дальше *. И несмотря на то, что я эти вещи выставлал, я никогда не возводил их в несокрушимый закон. Было бы смешно и грустно, если бы лисица не полиняла и не обросла бы снова шерстью. Я так и смотрел на беспредметное искусство, как на освободившееся от наросшего старого и полинявшего, чтобы потом обрести что-то свежее и новое.

Многие из этого сделали соответствующий вывод, а некоторые закисли в натурализме своего мышления и в глухом беспредметном искусстве. И куда они девались, черт их возьми, эти иезуиты, — их даже не видно в АХРР... А может быть, они научились рисовать трактор и издеваются над нашим фарфором и текстилем?

Так вот, когда я вплотную приступил к изучению цвета и прежде всего «снял с него шкурку и вынул косточки», я оставил его в чем мать родила!.. Я его... всего в своем сознании и ощущении обнажил, лишил его определенной случайной для него формы. У меня остался один спектр.

В спектре есть два цветовых лагеря разной напряженности, разного напряжения, ощущаемости и воздействия на глаз, нервную систему и другие виды восприятия. Я окружил себя соответствующей литературой. Особенно мне помогли в этом деле труды Бехтерева.

Красный цвет со всеми его оттенками отличается прежде всего своего напряженностью, синий цвет — пассивностью. Если взять пространственное расположение любых линий и вещей, то можно заметить, что вертикали по отношению к горизонталям находятся в напряженном состоянии. Горизонталь относительно вертикали в более пассивном положении. Поскольку диагональ имеет склонность переходить то в вертикаль, то в горизонталь — в диагональ укладывается одновременно и синий, и красный цвет. Эта несложная, может быть, случайная, не имеющая под собой никакой научной базы классификация все-таки помогла мне развернуть целую серию вещей, которые находятся теперь в Одесском гос. еврейском музее **.

* Все абстрактные картины Тышлера назывались «Цвет и форма в пространстве» или «Светоцветовое напряжение». Эти работы относятся к самому началу 1920-х годов, 1922—1923 годам. Позднее, разбирая старые форэскизы к так и не написанным в свое время картинам, Тышлер вновь написал, правда, уже в другом колорите и другой манере, целую серию абстрактных картин, датированную 1923—1977 гг.

** Когда началась война, бомба попала в здание музея, и все картины, там экспонированные, погибли при пожаре.

А в 1924 году я их выставил на Дискуссионной выставке *. Эта выставка проходила очень оживленно, с большим интересом к ней художников и зрителей, и действительно в дискуссиях. На одной из таких дискуссий по моему адресу сыпались не очень ласковые слова, выступил художник Никритин **, который сказал, что в моем лице русская живопись получила, наконец, настоящего крупного художника и что у меня очень много общего с Рембрандтом. В зале начались хихиканье и свист, мне стало как-то стыдно, и чувство неловкости от никритинских патетических фальшивых слов заставило меня тихонько смяться. Когда я вышел на улицу, я понял, что Никритин просто болтал, а мне нужно работать, работать, работать...

Количество друзей у меня росло, но больше было врагов. Дискуссионная выставка явилась, по существу, тем резервуаром, который нам, ее участникам, дал возможность спустя год подобрать художников для ОСТА ***.

По каким же принципам был организован ОСТ? Дело в том, что состав его был несколько пестрым, но в основе его объединяло желание на базе формальных достижений западной живописи дать новую советскую доброкачественную картину и рисунок. Та миссия, которую на себя возложили остошцы, была ими с гордостью выполнена... Надо сказать, что на остошской площадке не все умели устойчиво стоять...

После серий аналитических вещей я выставил на остошской выставке в Историческом музее большое количество работ, имеющих гротескный характер. Среди них были «Директор погоды», «Демонстрация инвалидов», «Расстрел», большая серия продавцов — палочников, часовщиков и других. Эти вещи вызвали еще большее оживление среди художников, критиков, и зрителей, чем предыдущие вещи. В этих вещах были уже ясно выражены мои искания, моя направленность, мое умение видеть вещи и явления в необычном их состоянии. У моих работ зритель всегда находился в возбужденном состоянии, всегда спорил, а иногда дело доходило до самой обычной трамвайной ругани. Критики и иные писатели об искусстве не старались понять меня. Они хотели, а, может быть, и не могли найти в моих вещах настоящие корни всех этих палочников и часовщиков. Они действительно далеко в карман не лезли за определениями и в скором времени, чтобы показать свою образованность, наградили меня званием мистика. Наградили они меня и такими словами, как экспрессионист, мелкобуржуазный и буржуазный правый попутчик, а под конец я уже, с их слов, попал в контрреволюцию. Как видите, в глазах нашей критики я развивался вполне диалектически. Были и такие «любители сильных ощущений», которые представляли меня не иначе, как сумасшедшим. Но факт моего явно нормального вида убедил их в том, что я весел и здоров, а при случае могу дать пощечину. Но последнее я оставил на случай, когда я действительно сойду с ума...

Единственный критик того времени, который мне много дал, был Я. А. Тугендхольд. И не думайте, пожалуйста, что я пишу о нем не только потому, что о мертвецах нужно хорошо отзываться... Тугендхольд никогда не писал обо мне прежде, чем он возле моих картин со мною изрядно не поговорит. Он узнавал всю подноготную моих желаний, стремлений в живописи, и только после этого он брался за «операционный нож». Правда, он довольно часто срывался, но я это объяснял тем, что он приближался к старости и у него уже начинали дрожать руки...

Живой и сильно бодрствующий Эфрос (речь идет об Абраме Марковиче Эфросе, авторе книги «Профили». — Ф. С.) принадлежит к природе тех «хирургов», которые вовсе не заинтересованы в том, чтобы «большой» ожил, а так, больше для собственного удовольствия оперировал; и все видел в «профилях». Он проявил себя как художник, которому пока удаются с небольшим только профили, а анфас ему, по-видимому, еще не под силу. Будем ждать — у этого критика есть все данные, чтобы смотреть художнику прямо в лицо и сказать ему без ошибки, какой он.

* Разговор идет о 1-й дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства, состоявшейся в Москве в 1924 году.

** Никритин, Соломон Борисович (1898—1965 гг.) — живописец, сотоварищ А. Т. по Киеву.

*** ОСТ — Общество Станковистов — художественное объединение московских живописцев, преимущественно молодых (А. Лабас, Д. Штеренберг, П. Вильямс, С. Лучишкин, Б. Волков, Ю. Пименов, А. Тышлер, А. Дейнека и др.).

Я научился видеть и претворять детали, отдельный случай — они давали мне огромную пищу для работы. Я научился видеть. Воспитывая в себе это, безусловно, необходимое и сильное качество, которым должен обладать любой художник, даже если он пишет только с натуры, я приобрел в свое творческое пользование три важных вида оружия. Дальнобойную пушку, талисман и нечто вроде зеркала, которое отдает только преувеличение. Я научился видеть не только двумя глазами, но и профилем одного глаза мельчайшие несуразности, резко выделяющиеся моменты, особых людей, необычайные случаи человеческого поведения и т.п. Они громоздились в моих ощущениях и сознании и заставляли меня из всего этого сколачивать фантастические организмы, которые читались как реальность, так как они были выхвачены мною из жизни. Моя фантастика не утопическая, она так же реальна, как реален слишком длинный нос Гоголя.

Реальность моих вещей я еще объясняю тем, что при желании всегда можно перенести их обратно в жизнь. У меня нет таких вещей, которых нельзя было бы повторить или, вернее, срежиссировать на живых людях настоящими вещами. Вы заставьте моих персонажей палочников, часовщиков — пройти по улице, и вы увидите, что сначала они будут собирать вокруг себя удивленных. Но они войдут в быт как нечто совершенно обязательное. Я далек от сказки, которая заводит в дебри несуществующего. Я люблю людей, природу, животных. Люблю вещи, которые отражают в себе пласты человеческой культуры, даже если они некрасивы.

Но для своего творчества я не все беру. Я выхватываю то, что мне близко, то, что меня сильнее всего поражает. Созаюсь, я люблю приврать. Я напоминаю сплетника, а иногда лгуна, который, увидев что-то из ряда вон выходящее, спешит скорей поделиться своими впечатлениями и, рассказывая, так все преувеличивает, что возникает нечто не похожее на то, что он видел.

Если вы внимательно присмотритесь к моим вещам всех периодов, то вы заметите, что я люблю вещи во множественном их состоянии. Я не люблю, вернее, не ощущаю одну палку, я их лучше вижу и воспринимаю, когда их много. Одна палка не создает шума, когда их много, вы ощущаете шум. Одни стальные часы — это одно звучание, а когда их много — это уже музыка. Я не говорю о тех часах, которые вызывают полку, а о тех примерно двадцати с одновременно качающимися маятниками, которые создают непривычное для нас состояние. Все это у меня никак не умещалось в одной только станковой работе. Я принужден был эти ощущения поделить между картинами и театром. Должен сказать, что я в театре, утя, конечно, его специфику, оставался тем же. Я не менял своей речи и своих интонаций, я не ходил по чужим и, к тому же, еще и сомнительным следам. В театре, может быть, в силу его более высокого (внутреннего) культурного уровня к моей работе внимательней прислушивались, лучше понимали меня и доверяли мне как художнику, который никогда не подведет. Потом, когда рапповский намордник все больше и больше охватывал лица всех наших театров, мне и в Белорусском ГОСЕТе стало тяжело работать.

Очень хочется сделать беглый обзор конструктивизма в театре, но отсутствие места мне это не позволяет. Скажу только вот что: признавая за конструктивизмом много ценных и хороших качеств, я все-таки его не любил, вернее, не ощущал, не ценил. Вооружившись фанерой, серой краской и необычайным терпением машинистов сцены, на головы которых взваливались все фокусы и премудрости конструктивисты, кроме этого, за душой своей ничего не имели. Это были доподлинные «Чиить, паять!»...

Теперь я перейду к описанию дальнейшего моего художественного роста. О первых периодах моего развития мне легче было писать, так как все вещи, которые я в свое время писал, были тогда же выставлены. Но вот уже несколько лет, как я ничего не выставляю и говорить об этих вещах довольно трудно.

Многие наши художники, перестроившись в двадцать четыре часа, охавали и поносили свои старые работы. Абсолютно уверен, что они это делали неискренне. Это была дешевая самокритика. В чем заключалась особенность искривлений рапповской линии, и почему наше искусство остановилось в своем развитии примерно лет на десять, если не больше?...

Я продолжал работать, особенно когда не был связан с театром или с каким-нибудь другим делом. Работал изо дня

в день, простаивая у мольберта восемь-девять часов. Приготовленные натянутые холсты в купе ждали над собою расправы.

Установленный холст на мольберте со всею откровенностью своей белизны устремлялся своими четырьмя концами на меня. Он терпеливо, не морщась, в натянутом спокойствии ждал своей участи. Мне, конечно, трудно передать то необычное волнение, которое я переживаю, когда впервые встречаюсь с чистым холстом. Та живописная и, главным образом, цветовая концепция, которая складывается в моем воображении до работы, перед чистым холстом разлетается, и от нее ничего не остается. Исчезает и бойкость, которая резвит до работы. (Белый холст наносит удар, белый холст откровенен и прост.) Но этот «пестуший бой» недолго продолжается. В свою очередь, нанося холсту удар за ударом, я постепенно избавляюсь от его белого вида, и он, обретая несколько другой цвет, уже не нападает на меня. Он как бы отступает, уходит вглубь, и я остаюсь победителем тогда, когда все признаки холста исчезают и передо мною стоит плотная ткань живописи. Бывает и так, когда оба «противника», «истекая кровью», теряют свои силы, но об этом говорить как-то страшно.

В своей десятилетней работе я сильно менялся. Каждый последующий период формально резко отличался от предыдущего. Но желание делать советскую тему приходило ко мне гораздо медленнее. В силу своей художественной честности я не мог перестроиться в двадцать четыре часа, как это делали десятки и сотни наших художников. Я понимал, что простая и вместе с тем сложная своим глубоким содержанием советская тема требовала... немалое количество репетиций, особых знаний и сильного технического вооружения. Если в нашей стране так четко и ясно звучит лозунг «Кто кого» и в кольце этого «кто кого» находится наша культурная революция, то как же можно было так беззащитно обманывать себя, страну и нашу партию в то время, когда рабочий зритель буквально шарахался от многих выставок, когда выставки наши напоминали английские производственные каталоги. В это время РАПХ своим сокрушительным голосом кричал, а Перельман подкрикивал, что наше искусство растет и процветает, только вот если бы еще избавиться от «классовых врагов». А этими «классовыми врагами» были я, Лабас, Штеренберг, почти весь ОСТ, Кончаловский, Лентулов, Фаворский и другие...

К своим старым вещам я отношусь хорошо. Я знаю, что потратил на них немало сил и времени, немало творческой энергии. Впустую ли, нет ли? Они кормили свое время, не только меня. А сейчас...

На этом рукопись обрывается. На обороте ее последнего листа рукою Тыслера написано:

**«Искренность
Любовь к своему ремеслу
Знание своего решения»**

Вторая половина 1930-х гг.

Публикация Ф. Я. СЫРКИНОЙ.

Ирина ХУРГИНА

МАНСЭ!

(20 дней в стране, вооруженной идеями чучхе)*



Фотографии М. Сердюкова,
А. Филатова и М. Харлампиева.

«Как учит товарищ Ким Ир Сен, человек, заразившийся низкопоклонством, становится болваном. Если им заразится нация, то погибнет страна. Если эта болезнь охватит партию, — пойдут насмарку революция и строительство».

Ким Чен Ир «Об идеях чучхе»

«Мы сейчас находимся в Пхеньяне, столице Коре́йской Народно-Демократической Республики. Вот с минуты на минуту ждем открытия проводимого впервые в Азии под девизом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!» XIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Открытие проводится на Первомайском стадионе, величаво возведенном на живописном острове Нынна на реке Тэдоп, которая протекает по центру этого города.

Корея — Страна утренней свежести. По пхеньянскому времени сейчас 7 часов вечера... Алеет вечерняя заря над горой Моран и рекой Тэдоп...

Под приветственную музыку выходит на трибуну руководители партии и правительства. Вмиг раздаются громоподобные возгласы «Мансэ!»**, и над стадионом вспыхивают огни от сотни залпов салюта, висят в воздухе маленькие парашютики, воздушные шары...

Молодежь и студенты — это ценные цветы страны и нации, самый потенциальный отряд общества, главные герои будущего.

Настала долгожданная минута!!! Зажжен факел Пхеньянского фестиваля, который впишет славную страницу в историю движения Всемирных фестивалей молодежи и студентов.

Сейчас милые дети Кореи на запряженной на пяти лошадях тележке мчатся в сторону центральной трибуны. Дети спускают с тележки и приносят поклон в сторону центральной трибуны. Дети поднимаются на центральную трибуну и завязывают красный галстук кадровым работникам.

Представители молодого племени демонстративно показывают готовность выполнять свою миссию как хозяева будущего.

В ночном небе фестивального Пхеньяна фейерверк огня. Кругом красивое зрелище. Входят в стадион колоннами юности и девушки в нарядах молодежи и студентов пяти континентов, крепко обнимаются, разделяют радость от встречи и устраивают крупный танец.

«План освещения открытия XIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Пхеньян. 1989. 1. 7.» (сокращенный вариант, стиль оригинала сохранен)

Свою первую ночь в Пхеньяне советские журналисты провели в автобусе. Роскошном японском автобусе, с отключенным кондишном, темными стеклами и удивительно красивыми полосатыми бархатными креслами, такими миниатюрными, что было очевидно: создатели этого чуда техники рассчитывали на пассажиров-японцев или, может быть, корейцев, но уж никак не на вспухших от усталости и разъяренных советских журналистов, обремененных видео- и кинотехникой, фотоаппаратами, диктофонами и тем, что именуется носильными вещами. Советские журналисты сидели в темном автобусе в плотной тишине еще пустого фестивального Кванбока и нервно вздрагивали, когда шофер включал, видимо, для поддержания тонуса, обволакивающую, сахарную корейскую музыку. Кто-то курил у автобуса, кто-то сидел на бордюре еще не созревшего газона.

Советские журналисты бастовали.

Четыре года нам объясняли, что надо поднять голову и ощутить себя независимым, свободным существом. И мы поверили.

Внезапно в автобусе вспыхнули софиты.

— Кто-то спит, а некоторые уже работают, — сказал мой сосед.

Действительно, видеогруппа уже работала.

— Ребята, объясните, что здесь происходит, — попросил человек с видеокамерой на плече, — почему вы отказались заселяться?

— Нас просто надули. Мы приехали сюда работать, условия были известны — номера в гостинице на одного-двоих, транспорт, переводчики, связь с Москвой для тех, кто передает. А получилось, никто нас не встретил, промурыжили 4 часа на аккредитации, теперь привезли на Кванбок и хотят, чтобы журналисты жили по 6 человек да еще в проходных комнатах. Это не условия для работы. Попробовали бы предложить это западникам. Привыкли, что мы все жрем. А мы вот не хотим. Мы требуем или гостиницу, или пусть здесь, но комнаты на одного-двоих. И не проходные.

* Чучхе (кор.) — «хозяин своего тела», опора на собственные силы.

** Мансэ! — традиционное корейское приветствие, буквально означающее: «10 тысяч лет жизни!»

— А что вам отвечают?
— Ничего не отвечают. Говорят, уже поздно. Ночь. Но штаб-то работает круглосуточно. Будем сидеть здесь.
— А кто виноват в этой ситуации — ЦК комсомола или корейская сторона?
— Мы не готовы ответить сейчас на этот вопрос, — раздался мрачный голос с галерки.

Я вышла из автобуса и уселась на бордюр. Вокруг была влажная северокорейская ночь, и огромный стеклобетонный проспект Кванбок злобеще нависал над нами. И тут я увидела большую белую крысу. Она передвигалась какими-то странными шлепками и была похожа на белый носовой платок. Видимо, ей тоже было душно и негде было спать. Потом я вспоминала, что это был единственный представитель животного мира, с которым мне удалось повстречаться в Корее. В Пхеньяне нет ни собак, ни кошек, ни птиц. Правда, есть какие-то странные мошки, которых принимают за комаров. Через несколько дней, когда мы уже свыклись со своим положением, привыкли к лучезарным улыбкам и поклонам корейцев, к тому, что ты всегда под иемеркнущим, бдительным оком, а настоящее пристрастие к тебе и твоим вещам настолько органично и привычно для наших хозяев и друзей, что как-то даже неприлично удивляться, — так вот, через несколько дней, возвращаясь вечером домой и демонстрируя свою карточку собравшимся у подъезда служителям (кто сидит на стуле, а кто на корточках, подпершись и закатав до колена штанины), мы услышали:

— Сейчас будем убивать комарада!

Один из наших любезных хозяев, доброжелательно, но воинственно улыбаясь, производил в воздухе какие-то таинственные движения руками. Пока до нас дошло, что они собираются фыркать в комнатах аэрозолем от комаров, мы, надо сказать, пережили не самые приятные минуты в жизни.

...Когда первым утренним дыханием свежести повеяло с реки Тэдон и первый луч солнца коснулся горы Моран, к крайнему корпусу на Кванбоке подъехал роскошный темный «мерседес». Из него вышел высокий сухопарый кореец в летнем костюме для высшей кадровой прослойки и сдержанной походкой направился к автобусу. Товарищ Ли прибыл на переговоры с бастующими советскими журналистами.

Через час из подъезда появился один из наших коллег и сказал:

— Корейская сторона очень обеспокоена. Это ЧП уже имеет название «сидячая забастовка советских журналистов». Они приняли все наши условия. Но с завтрашнего дня. Надо понять их ситуацию, выйти из автобуса и заселиться до утра в эти квартиры.

Под возгласы: «Опять нас надуют!», «Интеллигенцию губили компромиссы!», «Вот увидите, ничего утром не будет!» — мы вытаскивали из невинного автобуса свои вещи и волоком тащили к подъезду.

Днем нас действительно рассредоточили по одно-двухместным комнатам в этих же квартирах в этом же корпусе на Кванбоке. И включили телефоны, и меняли каждый день полотенца, и дали пять переводчиков, и дали транспорт, с которым все время были проблемы, — ведь выехать в город с Кванбока без транспорта невозможно. Зато товарищ Ли сумел-таки не предупредить нас о генеральной репетиции открытия. Когда мы вместе с фотокорами и кинокорреспондентами ворвались на стадион, воины государства Когурё тянули по земле свои доспехи и оружие, хорошенькие корейские дети устало сидели на корточках перед входом, блестя подведенными узкими глазками (губы и у девочек, и у мальчиков накрашены яркой красной помадой). По полю тащили огромные башины с шарами, подиумы. Репетиция открытия закончилась. Как ни странно, зрителей не было. Оставалось ждать репетицию закрытия, которую 1 июля можно будет дать в номер, как открытие. Так что все смешалось... Через несколько дней после церемонии закрытия фестиваля 8 июля, когда был торжественно погашен фестивальный факел, мы проезжали на машине около острова Ныина, и я увидела, что факел снова горит! Оказалось, до 25 июля ежедневно повторяются церемонии открытия и закрытия фестиваля — факел зажигают и гасят, зажигают и гасят... И вечером колонны грузовиков везут жителей Пхеньяна на Первомайский стадион и обратно. Все должны посмотреть праздник первого в Азии фестиваля, такого рода мероприятие входит в систему идейно-политического воспитания, которому придется самое большое внимание в Северной Корее.

«Чтобы установить общенародную и всегосударственную систему обороны, надо вооружить весь народ и превратить всю страну в крепость... Решающим фактором, вершившим судьбу войны, является не оружие, не военная техника, а высокий политический энтузиазм и революционная самоотверженность военнослужащих и всего народа, глубоко сознающих правоту своего дела».

Ким Чен Ир «Об идеях чучхе»

Разговор по пути к стадиону

Наши переводчики относились к нам по-разному. Но среди них был очень милый студент 4-го курса института иностранных языков Сон, который действительно хорошо говорил и понимал по-русски. Он объяснил мне, что после 11-летки надо поступить в училище, а лишь затем в институт иностранных языков, так что профессиональное обучение растягивается на 10 лет. Сон искренне улыбался нам и хотел помочь. Многие удивляло и изумляло его на фестивале, но с обычной корейской невозмутимостью он не подавал вида. Вакханалия красок, музыки, наций и языков, весьма волнующие наряды и формы, а больше всего, видимо, общая раскрепощенность производили на хозяев фестиваля, подчеркнутую аскетичных, поджарых и одетых с идеологической прямотой, впечатление конца света, а может быть, и начала. Не могу забыть выражения немого ужаса и осторожного любопытства в глазах корейцев, пришедших на открытие фестиваля. На площадке вокруг стадиона собирались все делегации. Пели, танцевали, развлекались, как могли. Чуть в отдалении плотными рядами стояли хозяева фестиваля, придерживаемые своими товарищами в штатском, и, замерев, смотрели, как огромный стог сена кружится в замысловатом танце под громкие звуки тамтамов бенинской делегации.

Поскольку наши переводчики старались отвечать лишь на прямые падежные вопросы, а в остальных случаях предпочитали отмалчиваться, казалось, что так и не удастся поговорить с кем-нибудь из них откровенно. Ко дню открытия фестиваля мы пробыли в Корее уже неделю и, можно сказать, привыкли друг к другу. Поэтому, когда мы шли к стадиону на церемонию открытия через понтоный мост и Сон оказался рядом, я решила, что как раз выдался удобный случай поговорить. Сзади, на удивление, никого не было.

— Сон, а что вы знаете о переменах в нашей стране за последние годы?

— Знаю, — ответил Сон, помолчав.

— А у вас в газетах что-нибудь пишут о том, что происходит сейчас в Союзе?

— Да, конечно, пишут.

— А что?

Молчание.

— Знаете, Сон, то, что мы называем перестройкой, гласностью, демократизацией, это очень много дало нашему народу. Мы узнали о себе то, о чем раньше нельзя было говорить. Это очень важно.

— Да.

— Мы получили возможность узнавать правду обо всем. Ведь раньше вся информация была адаптированной, а теперь прямая.

— Да, я понимаю.

— Не кажется ли вам, что подобного рода большая демократичность нужна и вашей стране? Ведь обществу периодически необходимо обновление, некое вливание свежей крови, иначе может наступить перерождение, даже вырождение. Общество должно быть более открытым...

— А разве у нас закрытое общество? Все, кто хочет, приезжают, мы все показываем.

— То есть вы считаете, что вам на данном этапе ничего менять не надо, вы всем довольны?

— Нет, ничего менять не надо. Может быть, у нас и есть какие-то ошибки, но мы ведь только на социалистической фазе построения коммунизма.

— И вашей прессе не нужна большая гласность, демократичность?

— Я считаю, что нет, у нас достаточно информации. На свете очень много плохого, и знать об этом совсем не нужно. Через несколько дней на дискотеке в клубе ФРГ Сон пригласил меня танцевать.

— Только я не умею, — застенчиво сказал он, — я никогда вот так не танцевал.

«Пхеньян, 1 июля (ЦТАК) * — У подножия сопки Сонмун на горе Тэсон в Пхеньяне пущен в эксплуатацию отлично реконструированный тепличный комплекс «Кимирсенхва». В этом выражено единодушное стремление нашего народа, революционных народов мира лучше и больше выращивать бессмертных цветков «Кимирсенхва» — цветков, славных во всем мире дорогим именем великого вождя товарища Ким Ир Сена.

Новая теплица «Кимирсенхва» поможет всем нашим людям воспитать в себе более глубокие чувства верности и уважения к великому вождю, реализовать свое сокровенное желание круглый год выращивать этот самый любимый, бесценный цветок в каждой семье, на каждом рабочем месте».

«Информационный бюллетень ЦТАК»

Разговор на митинге солидарности

Одной из основных тем фестивальных дней были события в Китае. Все началось с того, что норвежская делегация несла на открытии лозунг «Мы солидарны с китайскими студентами». Эту тему подхватили все североевропейские делегации, Италия, ФРГ, Венгрия. Нашу позицию выразили на брифинге для советских журналистов. Когда спросили, кого имеют в виду, все время говоря «мы», нам ответили буквально следующее:

— «Мы» — это мандат советского Подготовительного комитета. Политическая позиция по Китаю сформулирована на съезде депутатов. Это, конечно, не мешает отдельным товарищам высказывать свою точку зрения. Мы, например, не заметили, что на церемонии открытия кое-кто из наших делегатов стоя приветствовал делегацию Норвегии, которая несла известный вам лозунг...

Но надо сказать, что кое-кто из наших делегатов не только «стоя приветствовал», но и публично выразил свое мнение. Делегат из Эстонии Ивар Поплавски, выступая в тематическом центре по правам студентов, сказал, что официальная точка зрения на события в Китае не есть точка зрения всех советских студентов, ибо сейчас каждый имеет возможность высказать свою позицию. А если мы не будем сегодня говорить о Китае, будем это замалчивать, завтра с нами, например, со студентами Прибалтики, могут сделать то же самое.

И сорвал бурные аплодисменты, как и накануне делегат из Италии Джанни Куперло, который сказал, что нельзя оправдать насильственные действия против людей, даже если они проводятся под флагом социализма, что нельзя расстреливать за убеждения и подавлять индивидуальные права во имя общего благополучия, и призвал принять общую резолюцию фестиваля по солидарности с китайскими студентами.

Эта мысль высказывалась на всех митингах солидарности с китайскими студентами — и в клубе скандинавских стран, куда надо было пробиваться сквозь плотный кордон мерии, кольцом в три ряда, танцующих под народную музыку хозяев фестиваля, и в открытом чхонрейновском ** кафе перед корпусом Италии и Польши, и в клубе ФРГ, где на митинге показывали видеокассету, снятую на площади Тяньаньмэнь.

Вместе с видеогруппой мы приехали днем в клуб ФРГ, хотя не были точно уверены, что митинг состоится здесь. Когда выгружали аппаратуру перед входом, из-за угла показались школьники, прямой, четкой колонной режущие улицу на перпендикуляры. Вот они дошли до следующего угла и остановились, маршируя, размахивая свободной рукой и скандируя речевку. Наш оператор жутко засуетился, отбежал, вскочил на парапет с криком:

— Каждый раз не успеваю их снять!

Дети поравнялись с ним и с невозмутимым видом проследовали дальше — дело прежде всего. А ведь когда проезжаешь по улице в машине с фестивальной символикой, и дети, и взрослые машут рукой, приветствуя гостей, дарят лучезарной улыбкой — действительно дело прежде всего.

На вопрос: «По какому поводу митинг?» — западные немцы ответили:

— Мы выражаем солидарность не только с китайскими студентами, но и со всей молодежью, которая борется за свои права.

Ко мне подошел молодой парень и на неанглийском английском, то есть на таком, на каком мы общались на фестивале, представился:

— Хейко Зибель из молодежной студенческой организации ФРГ. Вы советская журналистка? Я давно хотел с вами

поговорить. Что вы думаете о Северной Корее? Кроме того, что горы красивые, и небо синее, и девушки улыбаются?

— Я тоже хотела задать вам этот вопрос. Вчера меня поразили французы, когда твердили, что здесь все о'кей. Люди улыбаются, они довольны, значит, все о'кей.

— Таким образом, вы мне ответили, да? Вы знаете, многое здесь для нас особенно больно, да и для вас тоже, наверное. Слишком много параллелей с прошлым...

«Пхеньян, 2 июля (ЦТАК) — Международный институт идей чучхе выпустил в свет очередной, 45-й номер своего журнала «Изучение идей чучхе». В номере — труд дорогого товарища Ким Чен Ира «Выше поднимая знамя антиимпериалистической борьбы, мощной поступью войдем вперед по пути социализма и коммунизма». Публикуются также статьи «Человечеству — самый ценный подарок», «Станем лучами чучхе», сообщения об изучении и распространении идей чучхе в разных странах».

«Информационный бюллетень ЦТАК»

Разговор в падающем лифте

В нашем подъезде было два электронных лифта. Они вызывали наибольший интерес и тревогу у наших хозяев. Утро начиналось с того, что хотя бы один лифт стоял на первом этаже, утопленный в подвал, а по нему ползали на коленях, громко и быстро переговариваясь, лифтеры, монтеры, консержи и просто любопытствующие. Хотя в лифте с тобой обязательно ехал один, а то и два лифтера (при этом один сидит на корточках, а другой на стуле у тумбочки с телефоном), лифт мог привезти тебя на любой этаж, отнюдь не туда, куда надо. Он просто жил отдельной жизнью. Однажды я поднималась к себе наверх вместе с несколькими уже примелькавшимися делегатами (с нами в подъезде жили югославы, делегаты из Западного Берлина и венгры). Мы молчали и рассматривали друг у друга аккредитационные карточки, висающие на шее. Внезапно лифт замер и раздалось какое-то визжание. Я посмотрела на табло — мы доехали только до 6-го этажа. Наш лифтер вскочил со стула и принялся нервно нажимать все кнопки. Электронное табло зажглось всеми цветами радуги, и тут зазвонил телефон. Когда лифтер взял трубку, потух свет, а он продолжал в кромешной тьме переругиваться с кем-то по-корейски. И тут что-то произошло. Мне показалось, что меня прихлопнули по голове и стремительно тащат вниз. Я судорожно вцепилась во что-то рядом, лифт зашатало, встряхнуло, и он замер. Зажегся свет, и на табло аспыхнула цифра 3. Мы пролетели почти три этажа и чудом удержались. Я обнаружила, что все еще цепляюсь за плечо своего соседа, который стойчески молчал.

— Простите, ради бога... — пробормотала я. — Вы говорите по-русски? Или по-английски?

— И по-русски, и по-английски, — улыбнулся мой сосед, — я студент 4-го курса филфака.

Я прочитала на карточке «Золтан Ковалевский. Венгрия». И поскольку двери лифта не открывались и мы по-прежнему висели, как гуси в авоське, решила использовать эту ситуацию.

— Сколько молодежных организаций представлено в венгерской делегации?

— 21 или 22. А вообще сейчас уже полгода, как организован Национальный совет венгерских молодежных организаций, вы знаете?

— Да, и поэтому это особенно интересно. Ведь у вас распустили комсомол и официально признали несколько молодежных организаций, да?

— Не совсем так. Не несколько. В МИСОТ входят 27 полноправных организаций и более тридцати организаций-наблюдателей.

— А вы где состоите?

— Это то, что осталось от комсомола, теперь называется ДЕМИС — Венгерский демократический союз молодежи. Одно время был очень популярен Союз молодых демократов, тогда, когда комсомол был в кризисе, очень много комсомольцев вышло из своей организации, в основном студенты. Сейчас комсомол работает на федеративной основе.

— А какой вы видите перспективу?

— Я так четко не могу вам ответить. Сейчас не ясно, что будет. Может быть, будет какая-то ясность осенью. А сейчас лишь зарождается что-то новое. Как вам сказать... Мы можем представить себе демократический социализм, но ведь демократии мы только учимся, а настоящий социализм только ищем...

— Скажите, Золтан, а когда, по-вашему, начался кризис в венгерском комсомоле?

* ЦТАК — Центральное телеграфное агентство Кореи.

** Чхонрен — общество корейцев, живущих в Японии.

— Когда? С самого начала, с 57-го года. До этого было много молодежных партий, например, Коммунистический Союз Молодежи Венгрии. А когда создали одну молодежную партию, она сразу попала в кризис, ведь не было альтернативы...

Внезапно двери открылись, и мы обнаружили, что этаж находится на уровне наших коленей. На этаже на четвереньках стояли корейцы и, счастливо улыбаясь, тянули к нам руки. Мы вылезали, благодаря электронике за то, что остановили свое движение на 3-м этаже, а не в подвале.

«Неизменно придерживаясь линии на строительство самостоятельной национальной экономики, наращивая темпы чучхензации и модернизации народного хозяйства и перевода его на научную основу, мы должны еще больше усиливать самостоятельность и чучхейскую направленность национальной экономики, непрерывно модернизировать технику в народном хозяйстве и вести всю производственную и хозяйственную деятельность на прочной научной основе».

Ким Чен Ир «Об идеях чучхе»

Разговор в Университете имени Ким Ир Сена

В университетском городке было очень пустынно. То ли влажная жара попрыгала всех среди бетонных зданий...

Нас встретили и сразу повели в музей подарков. Наш молодой гид на очень хорошем русском языке рассказывал: — Наш великий вождь товарищ Ким Ир Сен прислал многочисленные подарки университету для развития воспитательной работы. Вот посмотрите сюда...

Огромная мучнистого цвета заспиртованная рыба висела вниз головой в гигантской колбе, вперив остеклевший глаз в пол.

— Это знаменитая Рыба памяти, ее впервые обнаружил наш великий вождь товарищ Ким Ир Сен, поймал и подарил университету.

— А где-нибудь еще обитает эта рыба?

— Да, в некоторых странах обитает. А этот морской лев, — гид указал на чучело бедного зверя в проплешинах, — весит 900 килограммов. Его подарили нашему великому вождю товарищу Ким Ир Сэну, а он подарил университету.

— Скажите, пожалуйста, — я подошла к сопровождающему нас преподавателю Зо Зон Су, — а сколько университетов в Корее?

— Университетов? — Мой собеседник очень удивился. — Один. Но у нас много разных институтов.

— А сколько факультетов в университете, сколько лет учатся?

— 15 факультетов, учатся 4—5 лет, в зависимости от факультета. Всего в университете 12 тысяч учащихся.

— А конкурс есть? И какие предметы сдают на вступительных экзаменах?

— Конкурс один к пяти. Экзамены сдают из шести предметов: революционная деятельность великого вождя товарища Ким Ир Сена, математика, химия, физика, литература, иностранный язык.

— А что вы преподаете? Ставите ли двойки?

— Я математик, программист. Двойки? За 9 лет преподавания я поставил всего одну двойку. У нас очень успешно учатся.

Из музея нас провели в библиотеку. Экскурсовод, тоже на хорошем русском языке, рассказала, что библиотека построена в 1970 году, состоит из 2 миллионов томов, читальные залы вмещают 1200 человек. Читальные залы очень похожи на наши — столы, стулья, проекторы для микрофильмов. В одной из комнат два стола и стулья были покрыты белыми кружевными чехлами, а на столах стояли красные таблички, где золотыми буквами значилось, что 18 апреля 1970 года великий вождь товарищ Ким Ир Сен посетил библиотеку и сидел здесь. Такого рода таблички можно найти повсюду — и в Мангендэском Дворце школьников, и в Народном Дворце 8 февраля, и в Народном Дворце учебы, и в Народном Дворце культуры, и на смотровой площадке Западноморского шлюза в устье реки Тэдон, и в Пхеньянском родильном доме. Нередко табличек две — значит, здесь побывал великий вождь товарищ Ким Ир Сен вместе со своим сыном, любимым руководителем товарищем Ким Чен Иром.

— В картотеке нашей библиотеки вы можете найти для себя любую книгу, в том числе книги нашего великого вождя товарища Ким Ир Сена и дорогого руководителя товарища Ким Чен Ира, — продолжала свою речь экскурсовод.

— А книги нашего дорогого руководителя Михаила Сергеевича Горбачева здесь можно найти? — раздался бодрый голос из толпы советских журналистов.

— А сейчас вы можете поговорить с одним из студентов, — невозмутимо продолжала экскурсовод.

Молодой человек в отутуженной белой рубашке сказал через переводчика, что он занимается на 6 курсе (?!), математик, живет в общежитии. Поднимается в 6 утра, занимается физкультурной подготовкой, ест и к 8 утра идет на занятия. После обеденного перерыва занимается в Народном Дворце учебы — более 6 часов.

— А что вы делаете в свободное время?

— В свободное время? Иногда смотрю научно-популярные кинофильмы, которые касаются моей профессии, робототехники.

— А какая у вас стипендия?

— 30 вон (примерно 20 рублей).

— Хватает?

— Не хватает, когда надо что-то покупать, а пока мне ничего не надо покупать, поэтому хватает.

— Вы питаетесь здесь?

— Да, они все питаются здесь по талонам, — ответила переводчица.

Нормированное, талонное распределение материальных благ органично для корейского варианта социализма. В кафе в бассейне я обратила внимание на конторку у входа — оказывается, сюда сдается сначала талон, а уже затем за свои народные деньги кореец может выпить бутылку пива.

— Вам нравится фестиваль?

— Да, я считаю, это будет самый великий фестиваль.

«Подготовка национальных кадров служит решающим залогом энергичного продвижения вперед революции и строительства. Кадры решают все. ...В учебных заведениях необходимо установить революционную дисциплину, направленную на то, чтобы точно осуществлять программу обучения, а также нужно беспрекословно и последовательно выполнять учебный план и учебную программу».

Ким Ир Сен «Тезисы о социалистическом образовании»

Разговор перед сломанным диктофоном

Этот разговор я привожу по памяти, ибо когда мы проговорили с Альфонсасом Мацайтисом, первым секретарем Коммунистического Союза молодежи Литвы (ранее ЛКСМ Литвы), около получаса, я обнаружила, что мой редакционный диктофон, взятый под расписку, отказался записывать. Альфонсас рассказывал о том, как, работая в аппарате ЦК комсомола, понял, что надо срочно что-то менять, как решил создать в Литве, «распустив» комсомол, самостоятельную молодежную организацию, параллельную ВЛКСМ, со своей программой, с прямыми выборами — и как это с большим трудом, но удалось, о семи альтернативных кандидатурах на пост первого секретаря на выборах (где он победил) и, наконец, о фестивале.

— Вы считаете, фестивали нужны?

— В таком виде — категорически нет. Нужна настоящая серьезная дискуссия о реальных молодежных проблемах, а не помпезный праздник. Это, конечно, замечательно, вывели нас, 600 человек, на 20-дневный отдых. Только зачем? Настоящих дискуссий, споров здесь не было, да и возможности в такой «запрограммированной» программе очень ограничены.

— Да, конечно, при таком размахе не может быть серьезного диалога — 180 стран и 63 региональные организации, 100 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, 15 тысяч туристов и почетных гостей, фестиваль стоил 4 миллиарда 700 миллионов долларов.

— И, кстати, немало и нам...

— Если следующий фестиваль можно будет провести более узко, что ли, «цивилизованно», то Дания предлагает себя в качестве страны-хозяйки.

— Алжир тоже претендует, но решение решили отложить на несколько месяцев. Многие, и наше руководство, понимают, что в таком виде фестивали себя изжили.

— Альфонсас, у нас говорили о вашей встрече с представителями ВФДМ...

— Да, дело в том, что мы хотим войти в ВФДМ полноправно и независимо, так же, как и ВЛКСМ. Хотя я предвижу определенные сложности на этом пути.

— Как вы расцениваете то, что здесь говорилось о китайских событиях?

— Моя оценка — то, что произошло в Китае, не должно происходить нигде, неважно, в какой стране — социалисти-

ческой, капиталистической. Это не демократические методы управления, это не должно повториться нигде. Я солидарен со студентами Китая в том, что мы не должны быть игрушками в руках правительства, должны выражать свое мнение. И именно этого, может быть, и не хватало этому фестивалю, потому что многие делегаты привезли официальную точку зрения правительства, а не молодежи, и это был самый большой недостаток этого фестиваля.

— Что вы думаете о том, что так и не приехала «Международная Амнистия»?

— Это действительно знаменитая организация, которая немало сделала для защиты прав человека. Их приезд был бы, видимо, нелишним в связи с этим эпизодом во время церемонии открытия.

— Вы имеете в виду лозунг о правах человека в Северной Корее, который развернули на трибуне скандинавские делегации?

— Да, и последствия этого эпизода. Я не совсем понимаю, почему «Амнистия» не попала на фестиваль. Это уже, видимо, касается корейского правительства.

«В научно-теоретической области следует настойчиво вести борьбу с реакционной буржуазной идеологией, с оппортунистическими течениями всех оттенков, надежно защищая чистоту идей чучхе».

Ким Чен Ир «Об идеях чучхе»

Разговор в холле тематического центра

Его зовут Феликс Атенсио Гонзалес, он один из девяти представителей индейского населения в делегации Канады. Журналист из Монреаля, работает в индейской газете, которая выходит на французском. Родился в Перу, родной язык — кечуа, живет в Канаде уже шесть лет, больше 10 лет тому назад пришлось стать политическим эмигрантом.

— В чем вы видите будущее индейского населения?

— 50 лет тому назад индейское движение в мире начало расти. Будущее в том, чтобы сохранить индейцев как систему. Понимаете, суть в том, что индейцы имели в прошлом высокоразвитую цивилизацию и сейчас не хотят быть полностью поглощены европейской системой, а она распалась по Латинской Америке. Как вам объяснить? Индейцы входят в нарушенный экологический баланс, ведь мы считаем себя частью природы. Мы хотим оставаться сами собой, не хотим быть ни с теми, ни с другими. Некоторые индейцы сейчас входят в различные политические партии, но мы их называем «промытомозгие», ведь они выступают, как индейцы, а думают уже, как европейцы. Для нас хорошо наш путь. В странах, где большинство индейского населения — Перу, Боливия, Гватемала, Эквадор, — должен быть курс на свободу, это должны быть индейские страны.

— А сколько индейцев в Америке?

— 60—100 миллионов. Точной цифры нет, многие скрывают свое происхождение, хотя мы и отмечены особым клеймом — цвет волос, цвет глаз; мы платим за это дорожную цену. В Канаде есть одна большая организация, объединяющая 500 тысяч индейцев. У индейцев очень разные культуры — от Аляски до Чили, но мы чувствуем себя племенем единым и имеем общего врага — колониализм. Погляньте, ведь здесь нет индейских делегатов от индейских стран и от США нет. Индейские языки под запретом, неофициальны, нет школ — в такой ситуации очень трудно существовать.

— Что вы думаете о фестивале?

— Мы приехали сюда, чтобы выразить нашу точку зрения на жизнь наших народов. Но далеко не всем удалось сказать здесь слово — слишком много участников. Хотя фестиваль нужен — узнают другие точки зрения, другие люди, идеология, религии.

— А что вы думаете о Корее?

— Чтобы иметь реальное представление, надо увидеть реальную жизнь, а не парадную.

«Пхеньян, 8 июля (ЦТАК).— В дни форума тематические центры, эти важнейшие звенья политической программы фестиваля, успешно проводили свою работу в соответствии с идеалами праздника юности мира. Акции тематических центров, начавших свою работу с 2 июля, еще раз ясно подтвердили беспрецедентную масштабность и насыщенность программ XIII Всемирного фестиваля — крупнейшего международного политического форума».

«Информационный бюллетень ЦТАК»

Мы сидели вчетвером: Мартик Айрапетян, мастер участка завода сельскохозяйственных машин из Степанакерта, Зигмунт Капцанс, рабочий-связист с Рижского светотехнического завода, Алексей Протасов, представляющий Ленинградский Интерфронт, и я. Я никак не ожидала от разморенных липкой духотой, корейской пищей и длительным бездельем ребят, такого гневного напора.

— Так, тихо, я не успеваю записывать, по очереди, — пришлось мне их перебить. Суть сводилась к следующему:

— Фестиваль в таком виде нужен только октябратам и пионерам. Нам нужны настоящая дискуссия, споры, чтобы иметь возможность помочь друг другу. А здесь парадалле. К нам подходят, спрашивают, почему вы не высказываетесь, не выражаете свою точку зрения, а мы занимаемся отчетно-парадной солидарностью. Интерес к нашей делегации высок; а мы говорим за столиками кафе. Здесь ведь нет свободной трибуны.

— Но у вас была возможность высказаться на дискуссиях? 8 тематических центров — это немало: «Мир, разоружение», «Антиимпериалистическая солидарность, национальное освобождение и независимость» (я цитирую по выданной нам «Программе»), «Неприсоединение», «Социально-экономическое развитие», «Охрана природы и окружающей среды», «Права молодежи», «Права женщин», «Образование, наука», другие дискуссии, отмеченные грифом «Специальные мероприятия»...

— Да, но на всех практически центрах обсуждается одно и то же, выступают, как правило, представители Азии и Африки, «пробиться» к микрофону не так легко. Устраивать здесь фестиваль было ошибкой. Он не даст никаких результатов. Стиль фестиваля в Пхеньяне не делает ему чести, только принижает фестивальное движение. В таком виде фестиваль ни в коем случае не нужен, он может быть только предметом посмешища для наших противников. Фестивали должны быть демократичными, должны приезжать молодые специалисты, люди, имеющие свою точку зрения, которые могут говорить, свободно дискутировать. Центры должны быть мобильны, не должно быть запрограммированных дискуссий «от сих до сих». Зачем эта показуха? Мероприятия ради мероприятий, не для дела, для «галочки». Да и эти миллионы, которые затрачены, можно было накормить голодающих стольких стран!..

«Пхеньян, 5 июля (ЦТАК).— 5 июля в румынском клубе состоялся объединенный вечер дружбы с делегацией молодежи и студентов Кореи. На вечере молодежь и студенты двух стран обменялись достигнутыми в социалистическом строительстве успехами и опытом, отметили необходимость из поколения в поколение унаследовать и развивать корейско-румынскую дружбу, основанную на глубоких близких отношениях между великим вождем товарищем Ким Ир Сеном и уважаемым товарищем Николае Чаушеску. Молодежь и студенты двух стран рука с рукой, скандируя: «Ким Ир Сен — Чаушеску», «Дружба, сплоченность», унаследовали узы дружбы и сплоченности».

«Информационный бюллетень ЦТАК»

...Когда прошелестел первый свежий утренний ветерок с реки Тэдон и первый луч солнца мягко коснулся горы Моран, трое советских журналистов шли в чуть прореживающейся темноте по ровным дорожкам среди причудливых сказочных деревьев и растений. Это утро, последнее перед отлетом в Москву, они решили встретить в Мангенда, на родине великого вождя товарища Ким Ир Сена. Я обратила внимание на то, что в кроны извилистых деревьев вплетены какие-то веревки. Когда стало чуть светлее, я поняла, что это обычные черные шнуры, как у телефона, например.

Внезапно рядом с нами вырос молодой солдатик с примкнутым штыком и довольно жестко, хотя и вежливо, объяснил, что сейчас к домику нельзя. Приходите в урочные часы.

Когда мы возвращались к машине, вдыхая необыкновенную ароматную свежесть утренней зелени (действительно Страна утренней свежести), то услышали тихое, но настойчивое шуршание. Девочки, по виду школьницы, подметали дорожки крошечными щеточками, которыми мы смахиваем крошки со стола. Ни песчинки, ни пылинки не должно остаться на дорожках, по которым проходит паломники.

И вдруг, в одну минуту, настало яркое утро. Я шла и смотрела на этот удивительный заморский парк, на протянутые к краям черные шнуры.

20 КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

«Свободный микрофон»

Открывая в 4-м номере новую рубрику «Свободный микрофон», мы, честно говоря, не ожидали такого шквала писем и таких митинговых страстей в каждом послании.

Убедительный факт того, что четыре года нерестройки сделали нас гражданами страны.

Мы не отбирали письма по какой-либо одной теме, не разделяли их по принципу «что будет со страной» или «что будет со мной», не делали рубрик, не ставили других более или менее серьезных препятствий на пути свободного голоса «одиноким» человека. Вот эти голоса. Перед вами. Тик слышите!... И ждем ваших новых писем!



Оформление
Дмитрия
КЕДРИНА

...Усердно с первых дней Советской власти из русского человека выколачивали его национальный дух, самобытность. И более всего это проявилось в том, как подменяли христианскую веру верой в идолов нового времени. И учение свое новые боги насаждали страхом.

Много говорят сегодня о том, что в сталинские времена только страх давал людям чувство ответственности за дело свое, что не было от того прогультычиков и пьяниц, предлагают вернуть тридцатые годы.

Я же не к тому призываю: повернитесь лицом к христианской морали. Дело в том, что церковь также говорит о страхе, который должен присутствовать в душе человека, но это живительное начало поступков каждого из нас. Русский крестьянин не о наказании от своего помещика более думал, совершив что-либо противоправное, а о вине перед Господом. И страх становился самоочищающим, исправлял его душу...

Лука МИШИН, 23 года, г. Рыбинск

Считаю, что нельзя, строя гуманное и правовое государство, оставлять в законодательстве смертную казнь. Это — зло. Мы люди и должны оставаться людьми.

Насколько примитивна формулировка — «око за око, зуб за зуб». А ведь по этому закону действует наше государство. Так чего же стоят слова о гуманности и правовой защищенности, если в Кодексе все равно остается смертная казнь?

Какое имеет право общество распоряжаться по своему усмотрению человеческой жизнью?

Когда большинство населения страны требует оставить смертную казнь, я в ужасе. Люди, останемся людьми! Надо жить по-человечески, а не по принципу первобытного стада.

Я против смертной казни. Против! И мне кажется, что это очень актуальная проблема, которую надо как можно скорее решать. И я обращаюсь не к правительству, не к партии, а к людям. Люди, ну как же так можно, вы же сами открываете дорогу узаконенному убийству!

Нельзя этого допустить. Нельзя!

Мария ПРОЦЕНКО,
г. Москва

В Киеве построена спецполиклиника за 12 млн. руб. Народный художник СССР Яблонская, сравнив эту поликлинику с обычной, написала в газету: «Деление нашего общества на касты несправедливо. Выхожу из Четвертого управления Минздрава и призываю других мужественно отказываться от Первой поликлиники» («Вечерний Киев», 19.05.89 г.).

А для остального народа прекратилась продажа простейших сердечно-сосудистых лекарств. На жалобы ответ такой: у нас не хватает валюты. Это обман: «Допущена нехватка лекарств, на которые хвалят части процента от валютных затрат» («Известия», 11.05.89 г.).

В то же время министр Чазов заявляет: «Увеличились поставки сердечно-сосудистых препаратов» («Правительственный вестник», № 9, 1989 г.).

Дефицит продуктов и лекарств в самой богатой ресурсами стране — это следствие спецснабжения. Имея для себя засекреченные от народа кормушки, чиновники небрежно относятся к организации инфраструктуры. Если бы они лечились вместе с народом, лекарства не стали бы дефицитом.

Никто не говорит, когда нормализуется снабжение лекарствами. Если при сердечных заболеваниях не применять сердечно-сосудистых препаратов, то многие просто не дотянут до нормализации. Допущение дефицита лекарств просто бесчеловечно!

П. С. КИРЬЯКОВ, участник
Отечественной войны, г. Киев

Я верю в Коммунизм. Я никогда не верил в тот «коммунизм», который нам обещала Программа КПСС 1961 года. Во мне выработалось стойкое предубеждение к любым программным съездовским материалам. Жизнь богаче узкопартийных лозунгов и формул. Для меня коммунизм не состояние, обещаемое через десять лет, а действительное движение людей, коллективов, человеческого сообщества.

Живые элементы коммунизма проступают и в будущем Западной Европы — Европы без границ, в уникальном гуманистическом потенциале нового латиноамериканского романа, в успехах экологического движения, в достижениях социального эксперимента доктора Святослава Федорова и учителя Михаила Шестинина. Для меня коммунизм не имеет государственных границ, впрочем, как и границ во времени. Разве искания Достоевского и Толстого не обогащали идею Маркса о коммунизме как завершенном гуманизме? Разве расцвет толстовских и других коммун в 20-е годы, пусть не всегда нашей, не марксистской ориентации не был весомым аргументом тому, что человечество выстрадало коммунизм, идет к нему, идет всей предыдущей историей? Коммунизм — это общество нормальных и свободных людей.

В той стране, в том обществе, где количество нормальных людей преобладает, где больше демократии, где наконец общество избавилось от многих своих болезней, то общество, которое может обеспечить всеобщее здоровье в физическом смысле слова, — такое общество ближе к коммунизму, человечности, даже если вы в нем не найдете и метра кумача с революционным лозунгом.

Современный мир не сможет постигнуть и семьдесят Марксов. Мы читаем, как на Западе меняется, революционизируется сфера собственности, управления, распределения, досуга и культуры. Кажется, и у нас дело движется к мертвой точке. Пусть мы делаем шаг вперед и два шага назад, пусть спотыкаемся, но, мне кажется, именно в это время мы стали ощущать себя частью Человечества, частью всемирного исторического процесса. Если на Западе, допустим, в США, рабочие выкупают через акции убыточные предприятия, а потом эти предприятия приносят прибыль, если наши рабочие стали смелее разговаривать с бюрократией, если политики заговорили нормальным человеческим языком с народом — значит, все это «всерьез и надолго».

Я верю в коммунизм, потому что считаю его мудрым и человеческим. Вот только я не могу верить в тот «коммунизм», который сопрягается с насилием. Маркса надо дополнять и дополнять постоянно, не только Толстым и Достоевским, Ганди и Швейцером. Не только. Круг этих личностей до удивления широк, и не хватит человеческой жизни, чтобы объять его.

Я не сужаю все многообразие человеческой цивилизации до коммунизма. Каким бы безбрежным ни было общество, где наконец будет осуществлен принцип «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех», на теле нашей планеты должны быть и иные, некоммунистические, альтернативные миры.

И я призываю — гуманисты всех стран, соединяйтесь!

Александр ЗУБЕНКО,
учитель истории, 33 года, г. Прохладный

Пишет вам ноль. Почему ноль? А потому, что я — никто.

Не:

комсомольский деятель, брейкер, любер, хиппи, мажор, хайлайфист, тэнзэйджер, наркоман, бюрократ, рокер, буддист, христианин, адвентист 7-го дня, духобор, мусульманин, хусовщик — короче, не принадлежу ни к одной известной секте, клану, неформальной организации.

Так кто я? Ноль!

Я не интересуюсь ничем вплотную. Меня интересует все, а может, ничего. Я хочу работать, иметь семью,

детей — меня не тянет и никогда не тянуло ни к одной из известных мне компаний. Но в то же время у меня нет комплексов, я достаточно контактна. Только мне не нужно сто друзей. Мне нужно 10, но верных. А у каждого друга тоже по 10 — итого искомая цифра. И любому из этой сотни я смогу позвонить и попросить помощи. И, если сможет, он придет и поможет. Я — тоже. Я хочу быть человеком. И ноль для меня — точка отсчета. От нуля до плюс бесконечности и от минус бесконечности — до нуля.

Но я не бравирую. Просто я говорю о том, что я тоже есть и тоже имею право на существование.

Я интересна сама себе, потому что я принадлежу не только себе, но и миру, в котором живу. Я сделаю все, чтобы общество не дробилось на индивидуумы, а было обществом личностей.

Общество не обезличенная масса. Я оправдываю свой НОЛЬ как начало бесконечности!

Таня ЕГОРОВА, студентка, г. Москва

Я обращаюсь прежде всего к комсомольцам и молодежи. Я обращаюсь ко всем, кому безразлична судьба перестройки.

Товарищи, ВЛКСМ, как организация молодежи, давно исчерпала себя. Остался скелет — аппарат. Комсомол «разбавлен» поголовным принятием в организацию всех, кто достиг комсомольского возраста. Влияния на молодежь, влияния на своих членов комсомол практически не имеет. Это же абсурд: работники горкома комсомола ищут контакт(!) с комсомольцами-неформалами, панками, рокерами и т. д.

В том-то и дело, что «работают» только аппаратчики, которым за это деньги платят, или создают видимость работы. Я обращаюсь к рядовым комсомольцам: чем могла вам ваша организация, что она вам дала, чему научила? Я предлагаю провести референдум среди комсомольцев, чтобы решить распустить организацию, как это сделали в Венгрии, или провести чистку наших рядов...

Виктор УКОЛОВ, г. Киев

В августе 1987 года я освободилась из колонии. Отбывала свое наказание по ст. 140, ч. 2, срок 1 год 6 месяцев. Я, как говорят, из очень хорошей семьи. Но у меня не было отца. Мой отец умер, когда мне было 8 лет. Своего отца я ни разу не видела, он развелся с мамой, когда мне было десять месяцев. В девять лет у меня появился отчим. Мы с отчимом жили в однокомнатной квартире. Я очень ревновала маму к нему. Когда я смирилась со всем этим, даже начала называть отчима «папой» и полюбила его, как отца, мы переехали на другую квартиру.

Тут все и началось. В моем новом классе была пара человек, которые занимались наркотиками. Ну, и мне стало интересно, попробовала, что это такое.

...Естественно, резко съехала, стала плохо учиться. Мама не могла понять, что со мной происходит. Я стала привождением. Деньги на наркотики я имела. Дед отчима мне мог дать всегда десятку на мороженое, а дед мамы — 25—30 рублей на конфеты. Меня очень любили в семье. Из-за наркотиков стала сильно ссориться с мамой и папой. И в один прекрасный день меня укололи барбитурой (фенобарбитал). Мне стало очень плохо, я чуть не умерла. Мама моя бедная чуть не сошла с ума. Она меня любит. И тогда я ей все рассказала — у меня не было выхода, я слишком влезла в наркотики. В день колола 4—6 кубов «химии» или опия, только чтобы снять абстиненцию, и 3—4 еще, чтобы «поймать кайф».

С подсказки папы мама пошла в милицию. Меня поставили на учет, как наркоманку, а ничем больше не помогли, только обзывали меня и даже несколько раз ударили.

Я обозлилась и ушла из дому к папиной бабушке, но меня вернули. Потом просто стала исчезать на несколько дней, неделя, а то и месяцев. Познакомилась с людьми, которые были старше меня на 25—30 лет. Втянулась в их компанию.

Я познакомилась с женой одного из них. Мы с ней пошли к ее товарищу домой. Когда он вышел, она залезла в шкаф. Там стояли сумки, она взяла их и сказала, что это ее вещи и чтобы я помогла их вынести. Я помогла. Когда я узнала, что эти вещи мы украли, мне стало не по себе. Я долго мучилась и наконец пришла в милицию.

Началось расследование. Меня начали терроризировать, угрожать. Я не выдержала и исчезла. Меня искали, и я пришла, меня упрятали в тюрьму. Потом суд. Все свалили на меня, моей подельнице дали 2,6 года условно. Ей — двадцать пять, а мне — шестнадцать.

Я вышла совсем другим человеком. Я даже плакала сначала, просилась обратно в зону. Я ненавижу всех людей, а тем более власти. Когда я попала в тюрьму, то первый раз в своей жизни я увидела, как издеваются над людьми. Зайдите в Одесскую тюрьму, когда вас не ждут там. Постоянные крики от боли, стоны. Меня тоже там били деревянным молотком, размоченным в горячей воде. Бедные женщины, как они там мучаются, многие болеют по-женски. Я вот до сих пор не могу вылечиться, а мне всего 20 лет. И я не знаю, будут ли у меня дети. Первые у меня никуда не годные. Малейшее что-то, я начинаю кричать, плакать, у меня начинается истерика. Я уже была замужем (после освобождения), мы разошлись через несколько недель после свадьбы. Я начинала кричать, и он не выдержал, избил меня. Мама моя тоже разошлась с Сашей. А теперь мучается со мной. Меня поставили на учет в дурдом. Сейчас я работаю вахтером в ДК портовиков. За время, которое я была в колонии, я отвыкла от ласки, и за то время, что я здесь с мамой, я ни разу не поцеловала ее, я стала грубая, скрытная, все в себе. Мы можем с мамой часами сидеть в одной комнате и не разговаривать. Мне очень тяжело жить. Старые друзья мне еще не дают покоя...

Е. Ш. г. Одесса

Среди тех ребят, которых посылали на войну в Афганистан, были и такие, которые отказывались идти туда. Слышал, будто за отказ идти воевать давали приличные сроки...

К этим «отказникам» можно относиться по-разному. Можно осуждать и клеймить страшными словами «изменник» и прочее, что и делали власти. Но можно посмотреть на поступок этих людей по-другому. Я считаю, что это был мужественный поступок. Если бы каждый, кто понимал, что представляет собой эта война, отказался бы от участия в ней, то эта война просто бы не состоялась. Так как посылать было бы некого.

Игорь ШЕНГЕР,
водитель такси, г. Ленинград

Сможет ли мне кто-нибудь объяснить значение столь популярного сейчас словечка «запахло»? Я смотрела в нескольких словарях, но нигде не нашла этого удивительного термина.

Впервые это словечко я услышала при таких обстоятельствах: еще в 6-м классе пришла домой зареванная и рассказала о своем горе родителям, которые тут же позвонили родителям обидчика. Именно тогда, на следующий день, в классе я узнала, что жаловаться родителям «запахло». С тех пор я родителям не жалуюсь.

Еще пример. Я имела «несчастье» родиться еврейкой. Довольно долго я не испытывала от этого никаких неудобств, но в этом году у нас в подьезде сложилась одна миленькая компания, которая вдруг решила мстить всем евреям, «которые Христа продали». Теперь выходить из дома мне стало просто опасно. Меня хватают за воротник, за плечи, орут «юде!» и много разных гадостей по-немецки и по-русски. На дверях моей квартиры и на стене рядом с дверью появилась надпись «Юде» и «звезда Давида». Родители об этом особо не говорят, но я знаю, что и их эти типы своим вниманием не обходят. Когда мы пожаловались участковому милиционеру, то на следующий день в школе я узнала, что это «запахло». Почему же не «запахло» орать «юде»?

Задали нам в школе написать творческую работу о Наташе Ростовской. Одноклассница попросила у меня перед уроком посмотреть тетрадь, а сама списала все от первого до последнего слова. Потом, на уроке, она сама же вызвалась отвечать. А мне шепчет: «Скажи, что не сделала». Я говорю девочке, с которой сидела: «Если меня спросят, я скажу, что она списала». А мне в ответ: «Не надо делать запахло, скажи, что не сделала».

А списывать и потом выдавать за свое — не «запахло»?!
Надя ШКОЛЬНИКОВА, 9-й класс, г. Москва.

НАША АНКЕТА

Дорогой читатель!

Чтобы делать наш журнал интереснее, ближе к Вашим запросам, очень важно знать, что из опубликованного в «Юности» за 1989 год было прочитано с наибольшим вниманием, что оставило в памяти самое яркое впечатление.

Вот несколько вопросов, на которые мы хотели бы получить Ваш ответ.

1. Что понравилось из напечатанного в 1989 году?

2. Какие темы или имена хотелось бы встретить на страницах журнала в 1990 году?

3. «Юность» получаете

1. по подписке,
2. покупаете в киоске,
3. берете в библиотеке,
4. у друзей?

4. Возраст (подчеркните)

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 1. До 16 | 2. 17—21 | 3. 22—28 |
| 4. 29—35 | 5. 36—45 | 6. 46—55 |

5. Основной род занятий.

1. Учащийся, студент.
2. Рабочий.
3. Сельский труженик.
4. Служащий.
5. Инженерно-технический работник.
6. Учитель, врач, научный работник.
7. Пенсионер, домохозяйка.
8. Другое занятие. Какое? _____

6. Место жительства:

1. Город
2. Село

Спасибо за помощь!

«Юность»



С приходом гласности в нашу страну информационный объем резко возрос. Сегодня люди читают в газетах то, о чем они могли только догадываться или шепотом говорить на кухнях... Но уровень гласности все еще не так высок, как этого бы хотелось. Такой вывод можно сделать, проследив за развитием альтернативных источников информации, так называемых независимых изданий или, другими словами, Самиздата.

Советский Самиздат сегодня — это 323 периодических издания. Из них: либерально-демократических — 149, марксистских — 54, молодежных — 33, христианских — 36, национальных — 39, пацифистских — 4, кришнаитских — 2, экуменических — 4, толстовских — 1. (Терминология дается самими издателями, поэтому для сравнения: «Литературная газета» — либерально-демократическое издание, «Молодой коммунист» — марксистское и т. д.) Если посмотреть на Самиздат в другом ракурсе, то можно разделить весь этот поток на: бюллетени организаций — 98, общественно-политические издания — 132, музыкальные (преимущественно по рок-музыке) — 33, художественно-философские — 54, экологические — 8, юмористические — 5, а также существуют два журнала переводов и два издания для детей. Более 200 изданий выпускается той или иной неформальной общественной организацией, остальные — независимыми издателями, то есть, попросту, людьми, которые по-толстовски «не могут молчать».

Приведенные выше цифры взяты мной из информационного бюллетеня, который ежемесячно выпускает Информационное агентство СМОТ (сокращенно — ИАС), оформившееся после первой информационной встречи-диалога редакторов независимых изданий в конце октября 1987 года.

Помимо ИАС, в Советском Союзе существует еще несколько неофициальных информационных центров, имеющих своих информаторов буквально по всей стране, — таких, как «Гласность», «Экспресс-хроника» или хозрасчетный информцентр при НИИ культуры.

Наряду с подобными центральными или региональными независимыми информационными центрами появились и библиотеки Самиздата, в Москве их уже четыре. Одна из них создана при Московском государственном историко-архивном институте инициативной группой преподавателей и студентов. Они считают, что для будущих историков-библиографов в равной степени будут представлять научный интерес

материалы «Памяти», «Карабаха», «Гласности», подписки «Мемориала», документы Федерации Социалистических Общественных Клубов (ФСОК), других неформальных движений и изданий.

Так что же представляет собой самиздатовский журнал? Вот ленинградский «Меркурий», который с момента своего образования (осень 1987 года) считается — по данным ИАС — одним из наиболее читаемых в Самиздате. Итак, независимый общественно-политический журнал «Меркурий», орган неформального объединения «Эпицентр», в который входят такие известные в Ленинграде группы, как «Дельта», «Клуб-81», клуб «Перестройка». Редактирует журнал Елена Зелинская, профессиональный журналист по образованию. К лету 1989 года вышло 18 номеров «Меркурия» объемом не менее 70 машинописных страниц убогистого текста. Несколько номеров были целевыми. Так, один из них был посвящен экологическому форуму «Балтика-88», проведенному весной 1988 года экологической группой «Дельта»; в другом — материалы, связанные с нобелевским лауреатом Иосифом Бродским.

«Меркурий» в принципе идет с самыми передовыми официальными изданиями к одной цели, по тому же пути. Кто-то сравнивал «Огонек» с паровозом перестройки. Те, кто делает «Меркурий», по этому поводу шутят: «Мы, в свою очередь, прокладываем рельсы этому паровозу». Журнал открывает и разрабатывает темы и направления, которые затем появляются в официальных изданиях. Так было, скажем, с «Мемориалом», первые материалы которого были опубликованы в «Меркурии» еще в 1987 году, когда о «Неделе Совести», год спустя проведенной, еще никто и не мечтал...

В Ленинграде подобных «Меркурию» — на 45 выходящих в момент написания этого материала самиздатовских изданий — единицы, да и те в основном журналы литературного направления — такие, как «Обводный канал», «Предлог» или «Митин журнал». Вот как, к примеру, характеризует свой журнал Сергей Хренов, редактор «Предлога»:

— «Предлог» — по-своему уникальное издание, поскольку это первый в СССР самиздатовский журнал, полностью посвященный переводам. Он был основан пять лет назад, выходит 3—4 раза в год объемом в 100—130 страниц. Печатаются в основном авторы, мало известные в нашей стране. Мне хочется представить как можно больше направлений в современной художественной словесности Запада. Мы переводим и с языков союзных республик: литовского, латышского, эстонского, украинского и грузинского.

Обратимся к московскому Самиздату: здесь можно выделить журнал «Левый поворот», орган МНФ (Московского Народного Фронта), редактируемый профессиональным журналистом Александром Гришиным и социологом Борисом Кагарлицким. Журнал чем-то похож на «Меркурий», но москвичи больше внимания уделяют общественным движениям. В нем много текущей информации с разных мест страны, используются фотоиллюстрации, карикатуры, различные вкладыши-листовки. Вышло уже более 20 номеров.

Отдельно надо сказать о ситуации в Прибалтике: там фактически Самиздат перестает существовать, так как есть возможность бесцензурного издания типографским способом, с большим количеством экземпляров. Например, «Возрождение» — информационный бюллетень литовского движения за перестройку «Саюдис» — выходит тиражом уже в несколько сот (!) тысяч экземпляров...

Как известно, принято решение о запрещении издательской деятельности кооператоров. Вопрос о Самиздате еще более обострился. Пора перестать делать вид, что Самиздата нет и он не нужен: сама жизнь показывает, что появление тех или иных политических, религиозных, культурных самиздатовских изданий закономерно. Их существование обогащает советский информационный рынок, создает определенные гарантии для развития демократических отношений в стране. Сейчас, как никогда, ясно, что настало время всерьез подумать о будущих вариантах развития нашего информационного рынка и о правах официальных и независимых изданий, действующих внутри него.

Константин ЕЛГЕШИН

Ниже «20-я комната» публикует с небольшими сокращениями некоторые материалы из Самиздата. Благодарим редакцию журналов за предоставленные статьи!

«СТОЛПЫ ОБЩЕСТВА» О САМИЗДАТЕ

«Роль самиздата в вашей жизни». Такой вопрос поставил корреспондент «Меркурия» перед ленинградцами, чей талант и общественная деятельность заслужили благодарное признание соотечественников.

ЛИХАЧЕВ Дмитрий Сергеевич:

Самиздат имеет в общественной жизни большое значение, особенно в пору неправильных ужесточений: цензурных, редакторских, — самиздат существовал всегда. С тех пор как я умею читать, я помню самиздат. Взять, к примеру, до революции — вещи, направленные против Распутина, они не могли быть выпущены официально, ходили в списках.

20-е годы. Многие стихи того же Есенина распространялись неофициальными путями.

Но в самиздате всегда было разное. И прогрессивное, острое. И вещи реакционные, антисемитские, грубо анархические. Каждый волен выбирать, что нравится. Так что мое отношение к самиздату тоже неоднозначно. Что-то очень хорошо, а что-то ужасно.

Чем меньше будет давление на официальную печать, тем меньше будет самиздата. Надо, чтобы авторы, которые должны быть в каждой семье, всегда были на полках магазинов.

СТРУГАЦКИЙ Борис Натанович, писатель:

Самиздат — это естественная реакция общественного организма на нехватку доброкачественной духовной пищи. Если государство не может или не хочет обеспечивать духовные потребности своих граждан в должной мере, граждане переходят на самообеспечение. В этом смысле самиздат не хорош и не плох, не прогрессивен, не реакционен — он попросту неизбежен.

Самиздат 60-х и 70-х годов — это замечательное явление нашей общественной жизни, которое еще ждет исследователя. Роль этого единственного в то время источника действительно правдивой, нравственной, вообще альтернативной информации переоценить невозможно. Это целый пласт духовной жизни. Это запрещенный Булгаков, запрещенный Платонов, Гроссман, Солженицын, Кештлер, Орвелл... Это публицистика Лидии Чуковской, Эрнста Генри, поднятого ныне на щит академика Сахарова, и близкого, видимо, к новому витку признания Солженицына, и совсем не признанного и забытого Амальрика. И замечательные исторические исследования Жореса и Роя Медведевых. И весь Галич, и в значительной мере Высоцкий, и Юлий Ким. Целая культура!

Именно носители этой культуры сейчас в рядах наиболее активных борцов за перестройку, потому что духовная, культурная перестройка начиналась уже тогда, в начале 60-х, именно тогда и сформировался весь круг идей, понятий, лозунгов, которые ныне стали достоянием миллионов.

ШАГИН Дмитрий, художник:

Всем самым хорошим в жизни я обязан самиздату. Он меня прославил так, что теперь мне даже очередь к пьяному ларьку уступают. Поразительна сила самиздата. Писатель Шинкарев даже не обращается в редакции, а его книги («Максим и Федор», «Митьки») расходятся по всему миру.

Я прочел в самиздате много наших ленинградских поэтов. О выставках, которые официальная пресса или не освещала, или обзывала нас подонками и так далее. Это в 70-е годы давало поддержку, помогло выстоять. Сейчас вроде официальная пресса изменилась. Но неизвестно, что будет, если

завтра им прикажут нечто другое. К примеру, на последнем съезде Союза художников было провозглашено, что Малевич, Филонов и Кандинский — агенты буржуазной культуры.

Самиздат честен, потому что независим. Не перед кем отчитываться. Только перед своей совестью.

ПОПОВ Валерий Георгиевич, писатель:

К самиздату я отношусь очень плохо. Трудно его найти, зачастую очень трудно прочесть из-за качества печати. Хотелось бы, чтобы все это выходило нормальным путем.

Очень обидно, что самиздат необходим и в наши дни. Официальные органы так и не вмещают всей нужной информации, хотя вмещают много ненужного.

В основном в самиздате мы прочли все самое лучшее. Но сейчас для меня он значит меньше, поскольку интересы и вся жизнь значительно сузились, кажется, и так все знаешь, ничего нового в печати не найдешь. Дело не в способе издания, а в наличии у людей идей и духа.

КУРЕХИН Сергей, композитор:

Часто читал журнал «Часы» — он был интеллектуальной отдушиной. Благодарен ему за то, что он ориентировался на живую философскую и культурную мысль. Все, что печаталось в журнале и приложениях к нему, было актуальнее официальных публикаций, острее. Кроме того, официальные, особенно академические, шли с большим опозданием.

На сегодня самиздат должен стать попыткой создать независимую периодику. Есть смысл в существовании огромного количества маленьких журналов, как изданий регулярных. Со своей аудиторией, своей линией, возможностью какой-то борьбы между ними. Борьбы мнений, идей. Ведь свобода мысли — это показатель прогрессии демократизации общества.

КРИВУЛИН Виктор Борисович, поэт:

У меня отношение к самиздату двойственное. Конечно, роль он играл значительную. Формировал представление о литературе. Благодаря ему стало понятно, что возможно и живое слово — в противовес тому, что публиковалось в печати официальной и на чем воспитывалась основная масса читателей. Ведь у самиздата не было и нет никакой технической базы. Способы его распространения по понятным причинам были достаточно специфичны, так что доступен он был далеко не всем. И потому возникла особая, довольно узкая среда людей, более информированных. Все же самиздат делал свое дело — большое и очень важное.

А сейчас, как мне кажется, эта роль самиздата закончилась. Он должен или отмереть, или уйти в другую деятельность. Наступает время, когда должны возникнуть независимая журналистика и издательское дело. У самиздата в этом отношении накоплен большой опыт, именно он и мог бы стать основой. Но, конечно, нужна при этом и соответствующая техническая база, и другие благоприятные условия.

ГЕРМАН Алексей Юрьевич, кинорежиссер:

С политическим самиздатом я никогда знаком не был. Из литературного знал Солженицына, Гроссмана, Войновича, Пастернака «Доктор Живаго». У отца был «Реквием» Ахматовой.

Однажды мы снимали фильм в одном провинциальном городе. «Андрей Рублев» тогда был запрещен категорически даже для специалистов. А вот как-то раз в 7 часов утра в самом большом киносатре города собрались люди, интеллигенция. И посмотрели этот фильм. И копию тут же увезли. Это, наверное, не в прямом смысле самиздат, но явление того же порядка.

Я никогда не мог понять, почему после XX съезда партии этого не печатают, не показывают. Думал, это глупость литературных чиновников. Ведь напечатать «Ивана Денисовича», а «Раковый корпус» нет. Хотя по остроте их нельзя сравнить. Я стал понимать это позднее, в связи с гласностью. И за «Лапшина» испугался задним числом. Если бы я тогда понимал, что это НЕ недоразумение, я бы не снял ни одной картины.

КАТЕРЛИ Нина Семеновна, писательница:

Я благодарна самиздату. Много лет в нашей общественной и культурной жизни он был единственной отдушиной. В годы безгласности он заполнял гигантские «белые пятна», образуемые средствами массовой информации, он один говорил с читателем человеческим, наказанным языком. Он один давал возможность прочесть то, что десятилетиями лежало

в столах или было написано без всякой надежды на публикацию.

Сегодня значение самиздата, мне кажется, не уменьшилось, хотя стало другим. Теперь он стимулирует развитие гласности, подчеркивая дистанцию между разрешенной смелостью официальных изданий и настоящей свободной печати. В принципе существование самиздата — свидетельство острого неблагополучия в обществе. При теоретически благоприятном течении событий он в конце концов должен исчезнуть. Но такая перспектива мне кажется пока мало реальной.

В моей собственной жизни самиздат сыграл очень большую роль. Были годы, когда он являлся чуть ли не единственным чтением и главным интересом. Читали, бросив все дела, часто ночи напролет, иногда на работе. Я тогда работал в НИИ. Как-то, помню, целый день просидела в 1-м отделе, читая Солженицына.

Как литератору, мне самиздат тоже помог — лучшее, что мной написано, пришло к читателям через него.

А что до политического образования, то я родилась и выросла при Сталине, заморочена была достаточно. И не будь в моей жизни самиздата, еще неизвестно, сумели ли бы «разогнаться».

ТИЩЕНКО Борис Иванович, композитор:

К самиздату я отношусь с уважением и благодарностью. Это он дал мне возможность вовремя прочесть огромное количество настоящей литературы. «Чевенгур», «Раковый корпус»... всего не перечислишь. И, конечно, поэзия. Поэзия Бродского сыграла большую роль в моей жизни. К тому же нас связывали годы дружбы...

Особое место занимает самиздат музыкальный. Такие, к примеру, вещи, как «Хроника моей жизни», «Диалоги с Крафтом», «Музыкальная поэтика» Стравинского и многое, многое другое, в большинстве своем до сих пор целиком не изданное. Так что для меня роль самиздата колоссальная — и в жизни, и в творчестве. Значительная часть моей музыки написана на самиздатовские тексты. Правда, теперь уже многое издано. К примеру, Вторая симфония. Она была написана на стихи Цветаевой 25 лет назад. Называется «Марина». Была однажды исполнена. И лишь пять лет тому, когда стихи эти были опубликованы в двухтомнике, увидела свет и партитура.

«Реквием» на стихи Ахматовой писался в 65—66-х годах. У меня до сих пор хранится самиздатовский экземпляр текста с правками Анны Андреевны.

Сейчас работаю над Шестой симфонией, посвященной памяти Е. А. Мравинского. Она тоже вокальная, состоит из пяти частей. В основе первой — стихи Анатолия Наймана «Сентиментальный марш», второй — «Эхо» Ахматовой, третью я назвал «Я вам снюсь», на стихи Цветаевой, четвертая — «Веком гонимый» — это стихи Мандельштама «На смерть Андрея Белого» и пятая часть — «Единомысленник» Владимира Левинзона.

Так вот, тексты первой и пятой частей пока существуют тоже лишь в самиздатовском варианте. И думается, несмотря на перестройку в политике официальной печати, самиздат своего значения не потеряет. Сегодня многое издается. Но далеко не все и на всех все равно не хватает.

«Меркурий», г. Ленинград

**ОТДА ЕЛИТЪ
КЛАДБИЩЕ
ОТ ГОСУДАРСТВА**

Кладбище — огромный, таинственный мир, и любое прикосновение к нему (например, вопрос о причинах современного вандализма на кладбищах и мерах по борьбе с ним) лишний раз убеждает в сложности и целостности этого мира, выявляет множество взаимосвязанных уровней его бытия: религиозный, мистический, нравственный, культурный, общественный, материальный, финансовый, административный, уголовный... Не сомневаюсь, что может возникнуть немало полезных предложений касательно каждого из перечисленных уровней, но вряд ли они окажутся действенными, если обойдут стороной главнейший из них — религиозный.

Кладбищу необходимо вернуть традиционный религиозный

статус, который единственно отличает его от свалки (предмет забот санитарии), архива (интересующего кучку историков) или парка отдыха (притягательного для любопытствующих экскурсантов). В последние 70 лет духовный горизонт кладбища искусственно загромождался такого рода периферийными, непринципиальными моментами. Но разве удастся защитить умерших от вандализма живых, отринув религиозное ядро кладбища и сосредоточившись на скорлупках санитарной, исторической и эстетической полезности? Можно, вероятно, добиться таким образом незначительного современного подъема общественного интереса и приязни к кладбищу. Можно ужесточить уголовное законодательство, бросить на кладбище дополнительные наряды милиции, дворников и реставраторов... Но все эти меры, даже по видимости результативные, окажутся поверхностными и эфемерными и в конечном итоге тщетными, если не будет затронуто главное — религиозное ядро и смежные с ним мистический и нравственный слои, ибо они позволяют прикоснуться к человеку лишь извне, не высекая искр внутреннего горения и самоотверженности, и не перерастут в благоговение перед кладбищем как реальной религиозной святыней. Только поместив кладбище и его обитателей в сердца живущих, можно надеяться на радикальное изменение отношения к нему, на поворот от безразличия и вандализма к благоразумию и благочестию.

Необходимо прежде всего изменить духовную установку, а для этого отделить кладбище от государства и возратить в ведение Православной церкви (и иных религиозных общин) — остальное приложится само собой. Насколько реально эта программа в стране победившего атеизма, сказать трудно.

С одной стороны, вряд ли атеистическое государство захочет брать на себя роль религиозного пропагандиста; с другой — экономический и идеологический кризис общества и моральное разложение армии вынуждают государство на поворот в сторону религии (как ни трудно оно дается), на возвращение к таким фундаментальным религиозным ценностям, как смерть, грех, душа, бессмертие, искупление, воскресение, поминовение и пр. Наши расторопные ученые-гуманитарии и общественники наверняка сумеют сочинить какое-нибудь научное обоснование необходимости религии и Церкви для советского человека, а атеизм объявят, вероятно, скрытой формой религиозности, поджидавшей своего часа, чтобы стать формой открытой.

Но скорее всего радикальный взрыв со своим богоборческим прошлым атеистическое государство сочтет слишком резким и неграциозным, а то и невозможным и предпочтет тактику постепенного нарастания религиозных настроений. Можно посоветовать для этой цели учение Н. Федорова о воскрешении мертвых посредством науки, совмещающее в себе религиозную задачу, гуманистическую психологию и научные методы, тем более что научно-техническая интеллигенция наверняка расценит федоровство как более прогрессивное (и потому приемлемое) мировоззрение. Конечно, и в случае постепенного вращивания общества в религию борьба с вандализмом на кладбище получит достаточно мощный внутренний импульс и обоснование.

Какую бы разновидность религиозной политики ни избрало государство в ближайшие годы, общественным организациям и частным лицам следует настаивать на скорейшей передаче кладбища в ведение церкви, то есть на возвращении того, что принадлежит ей по смыслу и праву традиции. (Для закоренелых атеистов можно предусмотреть какие-нибудь спецзахоронения с административными ритуалами.) Церковь лучше нас ведает, что ей делать, дабы вернуть кладбищу приличествующий ему облик и благочинный строй, и здесь необходимо положиться на ее тысячелетний опыт. Без возвращения кладбищу религиозного статуса и отделения его от государства самые благие пожелания и начинания общественных и государственных организаций могут не столько улучшить положение дел, сколько его ухудшить (вследствие искажения духовной перспективы, административного рвения и материальных выгод, которых будут домогаться новые бюрократы и авантюристы с их лисьими повадками и медвежьими услугами).

И еще одно пожелание: как можно меньше беспокоить мертвых, а лучше вообще их не беспокоить, не осквернять древний прах (предмет чрезмерного любопытства историков и археологов), усматривая во всяком вмешательстве в чужую загробную жизнь оскорбление действием и нарушение закона о свободе личности.

«Вестник ЭК», г. Ленинград

АНОНС!!!

Объявляется подписка на рекламно-информационный вестник «ЦЕНТР», в котором вы сможете получить информацию о событиях культурной жизни советского андеграунда. Цена подписки (58 выпусков в год) — 19 руб. 15 коп.

Дополнительно к вестнику «ЦЕНТР» можно также подписаться на альманах «Индекс» (по материалам рукописных журналов). Это один из первых выходов периодической литературы самиздата к широкому читателю. В альманахе вошли подборки рукописных журналов «Часы», «Митин журнал», «Эпсидо-салон», «Морская черепаха» и др., а также материалы проведенной московским андеграундом конференции «Хаос и текст». Альманах «Индекс» представляет собой обширный круг стилевых течений современной литературы в произведениях С. Гандлевского, А. Бартова, Н. Искренко, К. Кедрова, А. Цветкова, Л. Рубинштейна, Д. Пригова и других. Цена альманаха — 3 рубля.

Сборник «Новые языки в искусстве». Основная тема сборника — теория, анализ и практика современного искусства. В сборник вошли стихи Г. Айги, М. Еремина, А. Драгомошнкова, А. Парщикова, Ю. Горюнова, Ю. Кисинной, теоретические работы А. Кобака, В. Кознева, Д. Пригова, М. Трофименкова, Г. Тульчинского, Б. Останина и других, а также зарубежных исследователей Д. Веслинга, Ф. Гуаттари.

Сборник выпущен по следам конференции, организованной лидерами ленинградского андеграунда.

Сборник «Видимость пас». В него вошли рассказы и повести А. Гаврилова, З. Гареева, О. Дарка, В. Крупника, М. Левшина, В. Нарбиковой, Н. Садур. Авторы, вошедших в сборник, кроме общности писательских судеб, объединяют необычная для советской литературы тематика и средства ее художественного решения. Тяготение к гротескности, использование всех слоев языка, в том числе табуированных официальной литературой, передко шокирующая жесткость сюжетов, натурализм и эротика, кажущаяся отстраненность автора с однозначностью нравственных оценок определяют поэтику сборника как целого. Книга дает срез неофициальной литературы 80-х годов. Цена 3 рубля. На все эти сборники тираж ограничен — поэтому если вы поспешите выставить заявку на любую из этих книг, то будете иметь гарантию получения книги с оплатой наложенным платежом сразу после издания. Адрес для переводов:

117342, Москва, ул. Введенского, д. 13, п/о № 342. М. Ромму до востребования.

ВЕСТНИК «НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» представляет читателю то, что на протяжении двух последних десятилетий именовалось андеграундом, неофициальной, неконформистской, неангажированной, параллельной, самиздатской литературой.

В первых номерах ВЕСТНИКА стихи: Л. Аронзон, В. Кривулина, А. Миронова, В. Некрасова, Дм. Пригова, Л. Рубинштейна, С. Стратановского, В. Уфлянда, А. Шельваха, Е. Шварц, О. Юрева; проза: Э. Богданова, Б. Дышленко, Вик. Ерофеева, Н. Климонтовича, П. Кожевникова, Б. Кудрякова, Е. Попова, В. Сорокина;

также стихи и проза русских писателей-эмигрантов: Ю. Алешковского, И. Бурихина, С. Довлатова, Э. Лимонова, Ю. Мамлеева, А. Хаостенко, А. Цветкова.

Среди разделов ВЕСТНИКА «Новой литературы»: Литературная критика, Публицистика, Воспоминания, Публикации, Рецензии.

В первом номере читайте: роман Ф. Эрскина «Рос и я»; «Стихи из Кировского района» В. Кривулина, поэмы «Махровое всея Руси» Дм. Пригова; «Записки попа» о. Василия; статьи «Либералы и радикалы» А. Черкассова; «Новая литература 70—80-х» И. Северина и др. материалы.

Вестник «Новая литература» подготовлен ассоциацией «Новая литература». Тираж 25 тыс. экземпляров. Цена 5 рублей. В книоторговую сеть книга поступит в ограниченном количестве. Заказы на книгу можно присылать по адресу: Ленинград, 198005, абонементамный ящик АЯ—237.

Нелинованный лист

Это, конечно, совпадение. Случай. Совпало время появления стихов трех школьников в отделе поэзии «Юности». Вита Ивченко живет в Киеве, ей восемь лет, Вика Ветрова и Виктория Райхер — москвички, занимаются в литературном объединении «Ключ», которым я руковожу, — одной из них десять, другой четырнадцать лет. И во всех трех случаях мы имеем дело с ранним проявлением одаренности, с «опережающим» духовным развитием: подобного рода поэтическое мышление, как бы взрослое, питается чувствами и представлениями еще детскими. Трогательна открытость и искренность, доброта и жизнерадостность — даже тогда, когда настроение у автора грустное. Может быть, именно это и отличает стихи всех трех Викторов от стихов Никит Турбиной, которые в свое время удивили читателей усложненностью образов и ассоциаций, столь мало соответствующей детскому возрасту.

Ранняя поэтическая одаренность — явление не только озадачивающее, но и обнадеживающее. Речь идет не о вундеркиндах, а, может быть, о том, что последующие поколения будут талантливее и умнее нас. Как не порадоваться этому! «Какие хорошие выросли дети!» — писал Леонид Мартынов в пятидесятых. Тогдашние «дети» — молодая поэтическая поросль «шестидесятников» во многом оправдала ожидания. Хочется повторить эту строчку с новой надеждой.

Николай НОВИКОВ

Вита ИВЧЕНКО

☆☆☆

Старуха-береза среди тишины.
Над ней много бед пролетело.
Поранило миной в пачале войны
ее белоснежное тело.
Тянулась руками она к сплыву.
А воду пила из воронки,
И падали листья, желтея в траве,
как с прошлой войны похоропки.
А в Пуще-Водице играет оркестр,
И кружатся в медленном тапце,
порой наступая на туфли извест
протезами,
парин-афранцы...

В театре

Кружилась девушек метель
под вздохом зала.
На сцене плакала Жизель
и... умирала.

Я в третьем ярусе сижу —
под самой крышей.
Я на Жизель в бинокль гляжу:
лежит и ... дышит.

Так, значит, мама не права:
грустит напрасно.
Я видела: Жизель жива,
И все прекрасно!

☆☆☆

За витринами осенний дождь косой.
В магазине очередь
стоит за колбасой.

Подожел молодецкий солдат,
попросил: «Продайте сервелат!»
Возмущилась очередь сначала,
Но, протез увидев, замолчала.
На груди у дяди ордепа,
иет поги, и рапепа спина.
И вздохнула бабушка с тоской:
«Господи, молодецкий какой...»



Грустная песенка

Ты не ходи, сестричка, замуж.
Не оставляй меня и маму.
Когда приходят жеппки,
Мне грустно пишутся стихи.
Они цветы тебе подарят,
затем посуду мыть заставят.
А ты посуду мыть не любишь,
и значит, снова с мамой будешь.

Ежата

Ежиха вывела ежат
под деревянной дачей.
Они тихонечко лежат,
пушистые, незрячие.
Мы от крыльца недалеко
поставим в блюдце молоко.
От молочка иголочки
играют, как на елочке.

г. Киев

Вика ВЕТРОВА

Прощание

Зачем я стерла с бабочки пыльцу?
Она неуловима, как мгновенье.
Но взгляда твоего прикосновенья
Еще скользят по моему лицу.

Твои слова, укрытые в дожде,
Лишь я одна на свете различаю
И навсегда с тобою разлучаюсь,
Чтобы навеки умереть в тебе.

☆☆☆

Прости! Не плачь!
Не плачь, прошу!
Я желтый плащ
Не зря пошу.

Представь, что солнце —
Это я,
И мы с тобой
Еще друзья!

☆☆☆

Оболочка дня.
Вспыхивает свет.
Только здесь меня
Почему-то нет.

Нет среди друзей,
Нет среди врагов,
В пелене дождей,
В суете шагов.

Не пиши меня
В пене облаков,
В толчее менял
Мыслей и стихов.

Не пиши среда
Спутанных ветвей.
Ты меня пайди
В доброте своей.

☆☆☆

Год состарился, как день.
Вот уже и Новый год!
И твои следы метель,
Не падейся, заметет.

Скрип полозьев, двери стук,
Запах ели и свечей.
Старый год, мой добрый друг,
Ты теперь уже пищей!

☆☆☆

Прости меня, что я певиятна.
Опять по крыше дождь стучит.
Сливаются косые пятна
В туманный занавес обид.

И все, что видится на сцене,
Невероятно, как в бреду,
И словно бы темные тени,
Обнявшись, мимо нас идут.

Мне кажутся чужими будто
Машины, окна и дома,
И серое, как слезы, утро,
И мы, и ты, и я сама.

г. Москва

☆☆☆

Счастливый умирает, не узнав,
Что жизнь вокруг черна до основания,
Что счастья нет, все —

злости завыванья,
Счастливый умирает, не узнав.
Счастливый умирает молодым,
Не успевая съест плодов запретных,
И не успев узнать: мирское — вредно,
Счастливый умирает молодым.
Счастливый умирает на копе.
Пусть стоят все: мол,
был расцвет таланта.

Он позже превратился в арестанта...
Счастливый умирает на копе.
А счастлив тот, кто умер, не решив,
Что бог его — не бог, а просто камень,
И сломан замок, что стоял веками,
И правда есть, что хуже всякой лжи.

☆☆☆

Возвращаться — плохая примета,
И плохая совсем — возвращать,
До раздора, до ссоры, до лета,
К бездорожью — до первого цвета,
Всем прощать, все прощать,
всех прощать.

Забываться — плохое призванье,
И плохое совсем — забывать,
И грехам не придумать названья,
И рыдания сильнее, чем страдания,—
Нам при жизни долги отдавать.
Нам всю жизнь надо верить

в приметы,
А без веры — огня не видать,
К бездорожью — до первого цвета,
До раздора, до ссоры, до лета,
Душу всем по крупицам раздать.
А душа — ей тоскливо и пусто,
И не хочется сон разрывать,
Это даже уже и не чувство,
Это мир, а точнее — искусство,—
Всем прощать, всем прощать,
все прощать.

☆☆☆

Время в пятнадцать лет
Скачет, как дикий конь.
Горестям места нет,
Сердце — сплошной огонь.
Горестям места нет,
Ну, а несчастья есть,
Жизни — пятнадцать лет,
Бурь и обид — не счастье.
Целое море слез...
И океаны бед.

Воет, как дикий пес
Сердце в пятнадцать лет.
Словно гроза в степи
Молины горят клинки
В радостях стоп топи —
Нету живой реки.
Думаешь, время — враг?
Кто тебе даст ответ...
Словно свора собак,
Рвутся пятнадцать лет.
Гром загремит — беги,
Бейся один среди гроз.
Будешь просить других —
Не сосчитаешь слез.
Слезы — одна вода,
И ничего в них нет!
Взять бы, уйти в никуда...
Жизни — пятнадцать лет.

г. Москва

Николай
БЕРДЯЕВ

ИСТОКИ И СМЫСЛ РУССКОГО КОММУНИЗМА

Страницы книги



Николай Александрович Бердяев
в 40-е годы. Париж.

Это не публикация *книги* Бердяева. Нашему журналу, которому всегда тесно на его девяносто шести полосах, подобное предприятие, увы, не под силу. И остается лишь мечтать — вместе с теми читателями, которых не оставят равнодушными **избранные страницы** бердяевского труда, — о полном издании «Истоков...» на родине философа.

Николай Александрович Бердяев (1874—1948) задумал эту книгу в 1933 году, а в 1937-м она была издана. Многие страницы книги, ориентированной на западного читателя (первое издание на языке оригинала осуществлено лишь в 1955 году), посвящены представлению русских общественных деятелей, литераторов, революционеров; сообщаются общеизвестные — с точки зрения читателя русского — исторические факты, касающиеся отечественной мысли, литературы, революционных течений; включен в книгу и критический очерк теории Маркса. Все это облегчало редакции возможность маневра: мы отдавали предпочтение иным страницам — тем, где раскрывается собственно философская концепция русской революции, а также христианская позиция Бердяева.

Редакция предпринимает эту публикацию не потому, что согласна или, наоборот, не согласна с воззрениями автора. Эти воззрения могут быть оспорены. Но едва ли справедливо положение, когда голос выдающегося мыслителя, одним из первых, в разгар сталинщины, предложившего по-своему законченное объяснение трагической русской судьбы, вовсе не услышан в сегодняшних публицистических спорах. Когда не оценены высота мысли и безупречность нравственной, христианской позиции философа, сама интонация его речи, где нет и намека на озлобленность и предвзятость, вполне извинительные для изгнанника.

В посмертно изданной книге «Самопознание. Опыт философской автобиографии» Бердяев, вспоминая работу над «Истоками...», скажет: «Я сделал духовное усилие стать выше борьбы сторон, очиститься от страстей, увидеть не только ложь, но и правду коммунизма. Наблюдая настроения русской эмиграции, я почувствовал, что я один из немногих людей, свободных от *ressentiment* (непримирение.— Ред.) в отношении к коммунизму и не определяющих своей мысли реакцией против него». По мысли Бердяева, только любовь обращает человека к будущему; бердяевские страницы обращены к будущему, и значит, к нашему настоящему.

Отобранное для публикации мы разделили на три условные части, не совпадающие с главами книги, коих семь. Этим частям предпосланы в качестве заголовков раскрытые фразы автора. Последовательность страниц, разумеется, сохранена.

I. Пейзаж русской души

Русский коммунизм трудно понять вследствие двойного его характера. С одной стороны он есть явление мировое и интернациональное, с другой стороны — явление русское и национальное. Особенно важно для западных людей понять национальные корни русского коммунизма, его детерминированность русской историей. Знание марксизма этому не поможет.

Русский народ по своей душевной структуре народ восточный. Россия — христианский Восток, который в течение двух столетий подвергался сильному влиянию Запада и в своем верхнем культурном слое ассимилировал все западные идеи. Историческая судьба русского народа была несчастной и страдальческой, и развивался он катастрофическим темпом, через прерывность и изменение типа цивилизации. В русской истории, вопреки мнению славянофилов, нельзя найти органического единства. Слишком огромными пространствами приходилось овладевать русскому народу, слишком велики были опасности с Востока, от татарских нашествий, от которых он охранял и Запад, велики были опасности и со стороны самого Запада. В истории мы видим пять разных России: Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую, Россию петровскую, императорскую и, наконец, новую советскую Россию. Неверно было бы сказать, что Россия страна молодой культуры, недавно еще полу-варварская. В известном смысле Россия страна старой культуры. В киевской России зарождалась культура более высокая, чем в то время на Западе: уже в XIV веке в России была классически-совершенная иконопись и замечательное зодчество. Московская Россия имела очень высокую пластическую культуру с органически целостным стилем, очень выработанные формы быта. Это была восточная культура, культура христианизированного татарского царства. Московская культура вырабатывалась в постоянном противлении латинскому Западу и иноземным обычаям. Но в Московском царстве очень слаба и невыражена была культура мысли. Московское царство было почти бессмысленным и бессловесным, но в нем было достигнуто значительное оформление стихии, был выраженный пластический стиль, которого лишена была Россия петровская. Россия пробудившейся мысли и слова, Россия мыслящая, создавшая великую литературу, искавшая социальной правды, была разорванной и бесстильной, не имела органического единства.

Противоречивость русской души определялась сложностью русской исторической судьбы, столкновением и противоборством в ней восточного и западного элемента. Душа русского народа была сформирована православной церковью, она получила чисто религиозную форму. И эта религиозная форма сохранялась и до нашего времени, до русских нигилистов и коммунистов. Но в душе русского народа остался сильный природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с безграничностью русской равнины. У русских «природа», стихийная сила, сильнее чем у западных людей, особенно людей самой оформленной латинской культуры. Элемент природно-языческий вошел и в русское христианство. В типе русского человека всегда сталкиваются два элемента — первобытное, природное язычество, стихийность бесконечной русской земли и православный, из Византии полученный, аскетизм, устремленность к потустороннему миру. Для русского народа одинаково характерен и природный дионизизм и христианский аскетизм. Бесконечно трудная задача стояла перед русским человеком — задача оформления и организации своей необъятной земли. Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов выразились в строении русской души. Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широта. На Западе тесно, все ограничено, все оформлено и распределено по категориям, все благоприятствует образованию и развитию цивилизации — и строение земли и строение души. Можно было бы сказать, что русский народ пал жертвой необъятности своей земли, своей природной стихийности. Ему нелегко давалось оформление, дар формы у русских людей невелик. Русские историки объясняют

деспотический характер русского государства этой необходимостью оформления огромной, необъятной русской равнины. Замечательнейший из русских историков Ключевский сказал: «Государство пухло, народ хирел». В известном смысле это продолжает быть верным и для советского коммунистического государства, где интересы народа приносятся в жертву мощи и организованности советского государства.

Религиозная формация русской души выработала некоторые устойчивые свойства: догматизм, аскетизм, способность нести страдания и жертвы во имя своей веры, какова бы она ни была, устремленность к трансцендентному, которое относится то к вечности, к иному миру, то к будущему, к этому миру. Религиозная энергия русской души обладает способностью переключаться и направляться к целям, которые не являются уже религиозными, напр., к социальным целям. В силу религиозно-догматического склада своей души русские всегда ортодоксы или еретики, раскольники, они апокалиптики или нигилисты. Русские ортодоксы и апокалиптики и тогда, когда они в XVII веке были раскольниками-старообрядцами, и тогда, когда в XIX веке они стали революционерами, нигилистами, коммунистами. Структура души остается та же, русские интеллигенты-революционеры унаследовали ее от раскольников XVII века. И всегда главным остается исповедание какой-либо ортодоксальной веры, всегда этим определяется принадлежность к русскому народу.

[...] Ошибочно думать, что религиозный раскол был вызван исключительно обрядовыми русскими народом, что в нем борьба шла исключительно по поводу двуперстного и трехперстного знамения креста и мелочей богослужебного обряда. В расколе была и более глубокая историческая тема. Вопрос шел о том, есть ли русское царство истинно православное царство, т. е. исполняет ли русский народ свое мессианское призвание. Конечно, большую роль тут играла тьма, невежество и суеверие, низкий культурный уровень духовенства и т. п. Но не этим только объясняется такое крупное по своим последствиям событие, как раскол. В народе проснулось подозрение, что православное царство, Третий Рим, повредилось, произошла измена истинной веры. Государственной властью и высшей церковной иерархией овладел антихрист. Народное православие разрывает с церковной иерархией и с государственной властью. Истинное православное царство уходит под землю. С этим связана легенда о Граде Китеже, скрытом под озером. Народ ищет Град Китеж. Возникает острое апокалиптическое сознание в левом крыле раскола, в так называемом бесполовстве. Раскол делается характерным для русской жизни явлением. Так и русская революционная интеллигенция XIX века будет раскольничьей и будет думать, что властью владеет злая сила. И в русском народе и в русской интеллигенции будет искание царства, основанного на правде. В видимом царстве царит неправда. В Московском царстве, сознавшем себя третьим Римом, было смещение царства Христова, царства правды, с идеей могущественного государства, управляющего неправдой. Раскол был обнаружением противоречия, был последствием смещения. [...]

Чтобы понять источники русского коммунизма и уяснить себе характер русской революции, нужно знать, что представляет собой то своеобразное явление, которое в России именуется «интеллигенция». Западные люди впади бы в ошибку, если бы они отождествили русскую интеллигенцию с тем, что на Западе называют *intellectuals*. *Intellectuals* — это люди интеллектуального труда и творчества, прежде всего ученые, писатели, художники, профессора, педагоги и пр. Совершенно другое образование представляет собой русская интеллигенция, к которой могли принадлежать люди, не занимающиеся интеллектуальным трудом и вообще не особенно интеллектуальные. И многие русские ученые и писатели совсем не могли быть причислены к интеллигенции в точном смысле слова. Интеллигенция скорее напоминала монашеский орден или религиозную секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим обязательным мирозерцанием, со своими особыми нравами и обычаями и даже со своеобразным физическим обликом, по которому всегда можно было узнать интеллигента и отличить его от других социальных групп. Интеллигенция была у нас идеологической, а не профессиональной и экономической группировкой, образовавшейся из разных социальных классов, сначала по преимуществу из более культурной части дворянства, позже из сыновей священников и диаконов, из мелких чиновников, из мещан и, после освобождения, из крестьян. Это и есть разночинная интеллигенция, объединенная

исключительно идеями и притом идеями социального характера. Во вторую половину XIX века слой, который именуется просто культурным, переходит в новый тип, получающий наименование интеллигенции. Этот тип имеет свои характерные черты, свойственные всем его настоящим представителям. В интеллигенции были типические русские черты, и совершенно ошибочно то мнение, которое видело в интеллигенции денационализацию и потерю всякой связи с русской почвой. Достоевский отлично понимал русский характер интеллигента-революционера и назвал его «великим скитальцем русской земли», хотя он и не любил революционных идей.

Для интеллигенции характерна беспочвенность, разрыв со всяким сословным бытом и традициями, но эта беспочвенность была характерно русской. Интеллигенция всегда была увлечена какими-либо идеями, преимущественно социальными, и отдавалась им беззаветно. Она обладала способностью жить исключительно идеями. По условиям русского политического строя интеллигенция оказалась оторванной от реального социального дела, и это очень способствовало развитию в ней социальной мечтательности. В России самодержавной и крепостнической вырабатывались самые радикальные социалистические и анархические идеи. Невозможность политической деятельности привела к тому, что политика была перенесена в мысль и в литературу. Литературные критики были властителями дум социальных и политических. Интеллигенция приняла раскольниковый характер, что так свойственно русским. Она жила в расколе с окружающей действительностью, которую считала злой, и в ней выработалась фанатическая раскольниковья мораль. Крайняя идейная нетерпимость русской интеллигенции была самозащитой; только таким путем она могла сохраниться во враждебном мире, только благодаря своему идейному фанатизму она могла выдержать преследования и удержать свои черты. Для русской интеллигенции, в которой преобладали социальные мотивы и революционные настроения, которая породила тип человека, единственной специальностью которого была революция, характерен был крайний догматизм, к которому искони склонны были русские. Русские обладают исключительной способностью к усвоению западных идей и учений и к их своеобразной переработке. Но усвоение западных идей и учений русской интеллигенцией было в большинстве случаев догматическим. То, что на Западе было научной теорией, подлежащей критике, гипотезой или, во всяком случае, истиной относительной, частичной, не претендующей на всеобщность, у русских интеллигентов превращалось в догматику, во что-то вроде религиозного откровения. Русские все склонны воспринимать тоталитарно, им чужд скептический критицизм западных людей. Это есть недостаток, приводящий к смещениям и подменам, но это также достоинство и указывает на религиозную целостность русской души. У русской радикальной интеллигенции выработалось идолопоклонническое отношение к самой науке. Когда русский интеллигент делался дарвинистом, то дарвинизм был для него не биологической теорией, подлежащей спору, а догматом, и ко всякому не принимавшему этого догмата, например, к стороннику ламаркизма, возникало морально подозрительное отношение. Самый крупный русский философ XIX века Вл. Соловьев сказал, что русские нигилисты исповедовали веру, основанную на странном силлогизме: человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга. Тоталитарно и догматически были восприняты и пережиты русской интеллигенцией сен-симонизм, фурьеризм, гегелианство, материализм, марксизм, марксизм в особенности. Русские вообще плохо понимают значение относительного, ступенчатость исторического процесса, дифференциацию разных сфер культуры. С этим связан русский максимализм. Русская душа стремится к целостности, она не мирится с разделением всего по категориям, она стремится к Абсолютному и все хочет подчинить Абсолютному, и это религиозная в ней черта. Но она легко совершает смещение, принимает относительное за абсолютное, частное за универсальное, и тогда она впадает в идолопоклонство. Именно русской душе свойственно переключение религиозной энергии на нерелигиозные предметы, на относительную и частную сферу науки или социальной жизни. Этим очень многое объясняется. [...]

[...]Творческая оригинальность религиозной и философской мысли обнаружилась у славянофилов. Они обосновывали миссию России, отличную от миссии народов Запада. Оригинальность славянофилов связана была с тем, что они пытались осмыслить своеобразие восточного, православного

типа христианства, легшего в основу русской истории. Хотя славянофилы искали органических основ и путей, но они были также раскольниками, жили в разрыве с окружающей действительностью. Они отрицали императорскую, петровскую Россию, они не чувствовали себя дома в действительности Николая I и власть относилась к ним подозрительно и враждебно, несмотря на их православие и монархизм. Не было ничего общего между системой официальной народности или официального национализма, выработанной в эпоху Николая I и ставшей идеологией власти, и славянофильским пониманием народности. Система официальной народности была основана на трех принципах — православие, самодержавие и народность, и система славянофильская признавала эти же три принципа. Но дух был противоположный. Совершенно ясно было, что для системы официальной народности примат принадлежал принципу самодержавия, православие же и народность были ему подчинены. Ясно также, что народность была сомнительна и претерпела влияние худших сторон западного государственного абсолютизма. Николай I был типом прусского офицера. Православие же было не духовное, внешне-государственное и превращенное в средство. Совсем иной смысл принципы эти имели у славянофилов. Прежде всего они признавали абсолютный примат религиозного начала и искали православия очищенного, не искаженного и не извращенного историческими влияниями. Также стремились они к выявлению подлинной народности, народной души. Они видели образ русского народа освобожденным от искажений, которые они приписывали западному рационализму и государственному абсолютизму. К государству у них было совсем иное отношение, чем в системе официальной народности. Славянофилы — антигосударственники, у них есть даже сильный анархический элемент, они считали государство злом и власть считали грехом. Они защищали монархию на том основании, что лучше, чтобы один человек был замаран властью, всегда греховной и грязной, чем весь народ*. Царь не имеет права на власть, как никто не имеет. Но он обязан нести тяготу власти, которую возложил на него народ. Русский народ славянофилы считали не государственным. Русский народ имеет призвание религиозное, духовное и хочет быть свободен от государственного для осуществления этого призвания. Эта теория противоречит, конечно, тому факту, что русский народ создал величайшее в мире государство, и означала разрыв с традициями не только Петра, но и великих князей московских. Но славянофилы выразили тут один из полюсов русского сознания, характерную черту интеллигенции XIX века и всей русской литературы. Славянофилы были основоположниками того народничества, которое столь характерно для русской мысли XIX века и потом приняло религиозные формы. Славянофилы верили в народ, в народную правду, и народ был для них прежде всего мужики, сохранившие православную веру и национальный уклад жизни. Славянофилы были горячими защитниками общины, которую считали органическим и оригинально русским укладом хозяйственной жизни крестьянства, как думали все народники. Они были решительными противниками понятий римского права о собственности. Не считали собственность священной и абсолютной, собственника же считали лишь управляющим. Они отрицали западную буржуазную, капиталистическую цивилизацию. И если они думали, что Запад гниет, то потому, что он вступил на путь этой буржуазной цивилизации, что в нем раскололась целостность жизни. Славянофилы уже предвосхитили то различие между культурой и цивилизацией, которое на Западе стало популярно со времен Шпенглера. Несмотря на консервативный элемент своего миросозерцания, славянофилы были горячими защитниками свободы личности, свободы совести, мысли, слова и своеобразными демократами, признавали принцип верховенства народа. Хомяков в своих стихах обличал исторические грехи России, не только петровской, но и допетровской России, и был даже более резок, чем западники.

Славянофилы и западники были враги-друзья. Герцен сказал: «Мы подобны двуликому Янусу, у нас одна любовь к России, но не одинаковая». Для одних Россия была, прежде всего, мать, для других — дитя. [...]

[...]Нигилизм есть характерно русское явление, в такой форме неизвестное Западной Европе. В узком смысле нигилизм называется эмансипационное умственное движение 60-х годов, и его главным идеологом признается Писарев.

* Особенно силен анархический элемент у К. Аксакова.

Тип русского нигилиста был изображен Тургеневым в образе Базарова. Но в действительности нигилизм есть явление гораздо более широкое, чем писаревщина, его можно найти в подпочве русских социальных движений, хотя нигилизм сам по себе не был социальным движением. Нигилистические основы есть у Ленина, хотя он и живет в другую эпоху. Мы все нигилисты, говорит Достоевский. Русский нигилизм отрицал Бога, дух, душу, нормы и высшие ценности. И тем не менее нигилизм нужно признать религиозным феноменом. Возник он на духовной почве православия, он мог возникнуть лишь в душе, получившей православную формацию. Это есть вывернутая наизнанку православная аскеза, безблагодатная аскеза. В основе русского нигилизма, взятого в чистоте и глубине, лежит православное мироотрицание, ощущение мира лежащим во зле, признание греховности всякого богатства и роскоши жизни, всякого творческого избытка в искусстве, в мысли. Подобный православной аскетике нигилизм был индивидуалистическим движением, но также был направлен против творческой полноты и богатства жизни человеческой индивидуальности. Нигилизм считает греховой роскошью не только искусство, метафизику, духовные ценности, но и религию. Все силы должны быть отданы на эмансипацию земного человека, эмансипацию трудового народа от непомерных страданий, на создание условий счастливой жизни, на уничтожение суеверий и предрассудков, условных норм и возвышенных идей, порабащающих человека и мешающих его счастью. Это — единое на потребу, все остальное от лукавого. [...]

Народничество есть столь же характерно русское явление, как и нигилизм, как и анархизм. У нас было народничество левое и правое, славянофильское и западническое, религиозное и атеистическое. Славянофилы и Герцен, Достоевский и Бакунин, Л. Толстой и революционеры 70-х годов — одинаково народники, хотя и по-разному. Народничество есть прежде всего вера в русский народ, под народом же нужно понимать трудящийся простой народ, главным образом крестьянство. Народ не есть нация. Русские народники всех оттенков верили, что в народе хранится тайна истинной жизни, скрытая от господствующих культурных классов. В основе народничества лежало чувство оторванности интеллигенции от народа. Интеллигенты-народники не чувствовали себя органической частью народа, народ находился вне их. Интеллигенция не функция народной жизни, она оторвана от народной жизни и чувствует свою вину перед народом. Чувство вины перед народом играло огромную роль в психологии народничества. Интеллигенция всегда в долгу перед народом, и она должна уплатить свой долг. Вся культура, полученная интеллигенцией, создана на счет народа, на счет народного труда, и это налагает тяжелую ответственность на приобщенных к этой культуре. Религиозное народничество (славянофилы, Достоевский, Толстой) верили, что в народе скрыта религиозная правда, народничество же безрелигиозное и часто антирелигиозное (Герцен, Бакунин, народники-социалисты 70-х годов) верило, что в нем скрыта социальная правда. Но все русские народники сознавали неправду своей жизни. Настоящий человек, человек, не подавленный чувством вины, грехом эксплуатации своих братьев, есть трудовой человек, человек из народа. Культура сама по себе не есть оправдание жизни, она куплена слишком дорогой ценой порабощения народа. Народничество нередко бывало враждебно культуре и, во всяком случае, восставало против культуropоклонства. Народничество славянофильского, религиозного типа видело главную вину культурных, высших классов в отрыве от религиозных верований народа и от народного быта. Гораздо большее значение имело народничество социалистического типа, которое видело вину культурных классов в том, что вся их жизнь и их культура основана на эксплуатации народного труда. Интеллектуальный, культурный слой в России слабо сознавал свое достоинство и свое культурное призвание. На вершинах своего творческого пути русский гений остро чувствовал свое одиночество, оторванность от почвы, свою вину и бросался вниз, хотел прилечь к земле и к народу. Таковы Толстой, Достоевский. Какая разница в этом отношении между Толстым и Ницше! Народническое мирозерцание носит теллурический характер, оно зависит от земли. Народ живет под властью земли, говорит замечательный народник-беллетрист Гл. Успенский. Народник-интеллигент, напротив, оторван от земли и хочет к ней вернуться. Народническая идеология возможна была лишь в крестьянской, сельскохозяйственной стране. Народническое мирозерцание есть мирозерцание

коллективистическое, а не индивидуалистическое. Народ есть коллектив, к которому интеллигенция хочет приобщиться, войти в него.

Русское народничество есть порождение раскола Петровской эпохи. Оно есть продукт сознания интеллигентными слоями неоправданности своей жизни, нелепости своей жизни, продукт неорганического характера всего строя русской жизни. Ни один народ Запады не пережил так сильно мотивов покаяния, как народ русский в своих привилегированных слоях. Создался своеобразный тип «кающегося дворянина». «Кающийся дворянин» сознавал свой социальный, а не личный грех, грех своего социального положения и в нем каялся. Социолог-народник 70-х годов Н. Михайловский делает различие между работой совести и работой чести. Работа совести происходит в привилегированных классах, в дворянстве, работа же чести, требование признания человеческого достоинства происходит в народе, в низших, угнетенных классах. Народники-дворяне двигались по преимуществу мотивами совести, народники-разночинцы — мотивами чести. Русскому народничеству всегда было свойственно отвращение к буржуазности и боязнь развития капитализма в России. Народники верили в особые пути развития России, в возможность миновать западный капитализм, в предназначение русского народа разрешить социальный вопрос лучше и скорее, чем на Западе. В этом сходятся революционеры-народники с славянофилами. Это идет от Герцена. Одной из главных опор народнического социализма был тот факт, что русскому народу всегда были чужды римские понятия о собственности. Абсолютный характер частной собственности всегда отрицался. Для русского сознания важно не отношение к принципу собственности, а отношение к живому человеку. И это, конечно, было более христианское сознание. [...]

II. Революция — это судьба и рок

Марксизм был крушением русской интеллигенции, был сознанием ее слабости. Это было не только изменением мирозерцания, но и изменением душевной структуры. Русский социализм делался менее эмоциональным и сентиментальным, более интеллектуально обоснованным и более жестким. Первые русские марксисты были более европейцами, более западными людьми, чем народники. Пробудилась воля к могуществу, к приобретению силы и появилась идеология силы. Мотив сострадания ослабевает, не определяет уже типа революционной борьбы. Отношение к народу-пролетариату определяется уже не столько состраданием к его угнетенному, несчастному положению, сколько верой в то, что он должен победить, что он грядущая сила и освободитель человечества. Но при всех душевных изменениях в интеллигенции основная подпочва осталась та же — искание царства социальной правды и справедливости, жертвенность, аскетическое отношение к культуре, целостное, тоталитарное отношение к жизни, определяемое главной целью — осуществлением социализма.

Изначально русский марксизм был сложным явлением, в нем были разные элементы. И это обнаружилось в дальнейшем. Если одна часть русских марксистов более всего дорожила целостным, тоталитарным характером своего революционного мирозерцания, охраняла свою ортодоксию и отличалась крайней нетерпимостью, если марксизм и социализм были для них религией, то в другой части произошла дифференциация разных культурных областей, была нарушена революционная целостность и произошло освобождение подавленной жизни духа и духовного творчества. Были признаны права религии, философии, искусства, независимо от социального утилитаризма моральной жизни, т. е. права духа, которые отрицались русским нигилизмом, революционным народничеством и анархизмом и революционным марксизмом. Так как в марксизме и в социализме перестали видеть религию, целостное мирозерцание, отвечающее на все вопросы жизни, то освободилось место для религиозных исканий, для духовного творчества. Как это ни странно с первого взгляда, но именно из недр марксизма, — скорее впрочем критического, чем ортодоксального, — вышло у нас идеалистическое, а потом религиозное течение. К нему принадлежали С. Булгаков, ныне священник и профессор догматического богословия, а также пишущий эти строки*.

* Первая моя книга, вышедшая в 1900 г., «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии», представляла попытку синтезировать марксизм с идеалистической философией Канта и Фихте.

Произошел кризис мирозерцания, обращенного исключительно к постороннему, к земной жизни, и раскрылся иной, потусторонний, духовный мир. Наступил конец исключительно господству материализма и позитивизма в русской интеллигенции. За возможность такого метафизического и религиозного поворота велась жестокая борьба. Идеалистическое течение было воспринято со страшной враждой, как в марксистском лагере, так и в старом народническом и радикальном лагере. Этот поворот рассматривался, как измена освободительной борьбе. В лагере марксистов это приняло первоначально форму борьбы ортодоксального, т. е. тоталитарного, направления и направления критического, допускавшего соединение марксизма с иной, не материалистической философией и критический пересмотр некоторых сторон марксизма. В дальнейшем движение оторвалось от связи с разными формами марксизма и превратилось в борьбу за самостоятельность духовных ценностей в познании, искусстве, моральной и религиозной жизни. Социализму пытались дать идеологическое, этическое обоснование. Это было преодолением традиций русского нигилизма, утопизма, материализма, позитивизма. В конце концов это привело к тому, что цельность, тоталитарность начали искать не в революции, а в религии. В начале XX века в России был настоящий культурный ренессанс, религиозный, философский, художественный. И тут произошел возврат к традициям великой русской литературы и русской религиозно-философской мысли. От Чернышевского и Плеханова обратились к Достоевскому, Л. Толстому, Вл. Соловьеву. Но эти культурные идеалистические течения начали терять связь с социальным революционным движением, они все более и более теряли широкий социальный базис. Образовалась культурная элита, не оказавшая влияния на широкие круги русского народа и общества. Это был новый раскол, которым так богата история русской интеллигенции. В этом была слабость идеалистического движения. И это имело роковые последствия для идеологии русской революции, для ее духовства. [...]

Русская революция универсалистична по своим принципам, как и всякая большая революция, она совершалась под символикой интернационала, но она же и глубоко национальна и национализируется все более и более по своим результатам. Трудность суждений о коммунизме определяется именно его двойственным характером, русским и международным. Только в России могла произойти коммунистическая революция. Русский коммунизм должен представляться людям Запада коммунизмом азиатским. И вряд ли такого рода коммунистическая революция возможна в странах Западной Европы, там, конечно, все будет по-иному. Самый интернационализм русской коммунистической революции — чисто русский, национальный. Я склонен думать, что даже активное участие евреев в русском коммунизме очень характерно для России и для русского народа. Русский мессианиззм родствен еврейскому мессианизму. Ленин был типически русский человек. В его характерном, выразительном лице было что-то русско-монгольское. В характере Ленина были типически русские черты, и не специально интеллигенции, а русского народа: простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к прикрасам и к риторике, практичность мысли, склонность к нигилистическому цинизму на моральной основе. По некоторым чертам своим он напоминает тот же русский тип, который нашел себе гениальное выражение в Л. Толстом, хотя он не обладал сложностью внутренней жизни Толстого. Ленин сделан из одного куска, он монолитен. Роль Ленина есть замечательная демонстрация роли личности в исторических событиях. Ленин потому мог стать вождем революции и реализовать свой давно выработанный план, что он не был типическим русским интеллигентом. В нем черты русского интеллигента-сектанта сочетались с чертами русских людей, собиравших и строивших русское государство. Он соединял в себе черты Чернышевского, Нечаева, Ткачева, Желябова с чертами великих князей московских, Петра Великого и русских государственных деятелей деспотического типа. В этом оригинальность его физиономии. Ленин был революционер-максималист и государственный человек. Он соединял в себе предельный максимализм революционной идеи тоталитарного революционного мирозерцания с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы, в практической политике. Только такие люди успевают и побеждают. Он соединял в себе простоту, прямоту и нигилистический аскетизм с хитростью, почти с коварством. В Ленине не было ничего от революционной богемы,

которой он терпеть не мог. В этом он противоположен таким людям, как Троцкий или Мартов, лидер левое крыла меньшевиков.

В своей личной жизни Ленин любил порядок и дисциплину, был хорошим семьянином, любил сидеть дома и работать, не любил бесконечных споров в кафе, к которым имела такую склонность русская радикальная интеллигенция. В нем не было ничего анархического, и он терпеть не мог анархизма, реакционный характер которого он всегда изобличал. Он терпеть не мог революционной романтики и революционного фразерства. Будучи председателем совета народных комиссаров, вождем советской России, он постоянно изобличал эти черты в коммунистической среде. Он громил коммунистическое чванство и коммунистическое аранье. Он восставал против «детской болезни левизны» в коммунистической партии. В 1918 году, когда России грозил хаос и анархия, в речах своих Ленин делает нечеловеческие усилия дисциплинировать русский народ и самих коммунистов. Он призывает к элементарным вещам, к труду, к дисциплине, к ответственности, к знанию и к учению, к положительному строительству, а не к одному разрушению, он громит революционное фразерство, обличает анархические наклонности, он совершает настоящие заклинания над бездной. И он остановил хаотический распад России, остановил деспотическим, тираническим путем. В этом есть черта сходства с Петром.

Ленин пронюхивал жестокую политику, но лично он не был жестоким человеком. Он не любил, когда ему жаловались на жестокости Чека, говорил, что это не его дело, что это в революции неизбежно. Но сам он, вероятно, не мог бы управлять Чека. В личной жизни у него было много благодушия. Он любил животных, любил шутить и смеяться, трогательно заботился о матери своей жены, которой часто делал подарки. Эта черта подавала повод Мала-парту характеризовать его, как мелкого буржуа, что не совсем верно. В молодости Ленин поклонялся Плеханову, относился к нему почти с благоговением и ждал первого сандания с Плехановым со страстным волнением. Разочарование в Плеханове, в котором он увидел мелкие черты самолюбия, честолюбия, горделиво-презрительного отношения к товарищам, было для Ленина разочарованием в людях вообще. Но первым толчком, который определил революционное отношение Ленина к миру и жизни, была казнь его брата, замешанного в террористическом деле. Отец Ленина был провинциальный чиновник, дослужившийся до генеральского чина и дворянства. Когда брат его был казнен по политическому делу, то окружающее общество отвернулось от семьи Ленина. Это также было для юного Ленина разочарованием в людях. У него выработалось циническо-равнодушное отношение к людям. Он не верил в человека, но хотел так организовать жизнь, чтобы людям было легче жить, чтобы не было угнетения человека человеком. В философии, в искусстве, в духовной культуре Ленин был очень отсталый и элементарный человек, у него были вкусы и симпатии людей 60-х и 70-х годов прошлого века. Он соединял социальную революционность с духовной реакционностью.

Ленин настаивал на оригинальном, национально-своеобразном характере русской революции. Он всегда говорил, что русская революция будет не такой, какой представляли себе доктринеры марксизма. Этим он всегда вносил корректив к марксизму. И он построил теорию и тактику русской революции и осуществил ее. Он обвинял меньшевиков в педантическом следовании марксизму и отвлеченном перенесении его принципов на русскую почву. Ленин не теоретик марксизма, как Плеханов, а теоретик революции. Все, что он писал, было лишь разработкой теории и практики революции. Он никогда не разрабатывал программы, он интересовался лишь одной темой, которая менее всего интересовала русских революционеров, темой о захвате власти, о стяжании для этого силы. Поэтому он и победил. Все мирозерцание Ленина было приспособлено к технике революционной борьбы. Он один, заранее, задолго до революции, думал о том, что будет, когда власть будет завоевана, как организовать власть. Ленин — империалист, а не анархист. Все мышление его было империалистическим, деспотическим. С этим связана прямолинейность, узость его мирозерцания, сосредоточенность на одном, бедность и аскетичность мысли, элементарность лозунгов, обращенных к воле. Тип культуры Ленина был невысокий, многое ему было недоступно и неизвестно. Всякая рафинированность мысли и духовной жизни его отталкивала. Он много читал, много учился, но у него не было обширных знаний, не было большой умственной культуры. Он приобретал знания для определенной цели, для борьбы и действия. В нем не было способности к созерцанию. Он хорошо знал марксизм, имел некоторые экономические знания. По философии он читал исключительно для борьбы, для сведения счета с ересями и уклонами в марксизме. Для обличения Маха и Авенариуса, которыми увлечены были марксисты-большевики Богданов и Луначарский, Ленин прочел целую философскую литературу. Но у него не было философской культуры, меньше, чем у Плеханова. Он всю жизнь боролся за целостное, тоталитарное мирозерцание, которое необходимо было для борьбы, которое

должно сосредоточивать революционную энергию. Из этой тоталитарной системы он не позволял вынуть ни одного кирпича, он требовал принятия всего целиком. И со своей точки зрения он был прав. Он был прав, что увлечение Авсариусом и Махом или Ницше нарушает целостность большевистского мирозерцания и ослабляет в борьбе. Он боролся за целостность и последовательность в борьбе, она невозможна без целостного, догматического вероисповедания, без ортодоксии. Он требовал сознательности и организованности в борьбе против всякой стихийности. Это основной у него мотив. И он допускал все средства для борьбы, для достижения целей революции, зло — все, что ей мешает. Революционность Ленина имела моральный источник, он не мог вынести несправедливости, угнетения, эксплуатации. Но став одержимым максималистической революционной идеей, он в конце концов потерял непосредственное различие между добром и злом, потерял непосредственное отношение к живым людям, допускал обман, ложь, насилие, жестокость. Ленин не был дурным человеком, в нем было и много хорошего. Он был бескорыстный человек, абсолютно преданный идее, он даже не был особенно честолюбивым и властолюбивым человеком, он мало думал о себе. Но исключительная одержимость одной идеей привела к страшному сужению сознания и к нравственному перерождению, к допущению совершенно безнравственных средств в борьбе. Ленин был человеком судьбы, роковой человек, в этом его сила.

Ленин был революционер до мозга костей именно потому, что всю жизнь исповедовал и защищал целостное, тоталитарное мирозерцание, не допускал никаких нарушений этой целостности. Отсюда же непонятная на первый взгляд страстность и яростность, с которой он борется против малейших отклонений от того, в чем он видел марксистскую ортодоксию. Он требует ортодоксальных, согласных с тоталитарностью мирозерцания, т. е. революционных взглядов на познание, на материю, на диалектику и т. п. от всякого, кто себя считает марксистом, кто хочет служить делу социальной революции. Если вы не диалектический материалист, если вы в чисто философских, гносеологических вопросах ирредуплицируете взгляды Маха, то вы изменяете тоталитарной, целостной революционности и должны быть исключены. Когда Луначарский пробовал заговорить о богостроительстве и богостроительстве, то, хотя это носило совершенно атеистический характер, Ленин с яростью набросился на Луначарского, который принадлежал к фракции большевиков. Луначарский вносил усложнение в целостное марксистское мирозерцание, он не был диалектическим материалистом, этого было достаточно для его отлучения. Пусть меньшевики имели тот же конечный идеал, что и Ленин, пусть они также преданы рабочему классу, но у них нет целостности, они не тоталитарны в своем отношении к революции. Они усложняли дело разговорами о том, что в России сначала нужна буржуазная революция, что социализм осуществим лишь после периода капиталистического развития, что нужно ждать развития сознания рабочего класса, что крестьянство класс реакционный и пр. Меншевики также не придавали особенного значения целостному мирозерцанию, обязательному исповеданию диалектического материализма, некоторые из них были обыкновенными позитивистами и даже, что уже совсем ужасно, неокантианцами, т. е. держались за «буржуазную» философию. Все это ослабляло революционную волю. Для Ленина марксизм есть прежде всего учение о диктатуре пролетариата. Меншевики же считали невозможной диктатуру пролетариата в сельскохозяйственной, крестьянской стране. Меншевики хотели быть демократами, хотели опираться на большинство. Ленин не демократ, он утверждает не принцип большинства, а принцип одобренного меньшинства. Поэтому ему часто бросали упрек в бланкизм. Он строил план революции и революционного захвата власти, совсем не опираясь на развитие сознания огромных масс рабочих и на объективный экономический процесс. Диктатура вытекала из всего мирозерцания Ленина, он даже строил свое мирозерцание в применении к диктатуре. Он утверждал диктатуру даже в философии, требуя диктатуры диалектического материализма над мыслью.

Целью Ленина, которую он преследовал с необычайной последовательностью, было создание сильной партии, представляющей хорошо организованное и железно-дисциплинированное меньшинство, опирающееся на целое революционно-марксистское мирозерцание. Партия должна иметь доктрину, в которой ничего нельзя изменить, и она должна готовить диктатуру над всей полнотой жизни. Самая организация партии, крайне централизованная, была уже диктатурой в малых размерах. Каждый член партии был подчинен этой диктатуре центра. Большевицкая партия, которую в течение многих лет создавал Ленин, должна была дать образец грядущей организации всей России. И Россия действительно была организована по образцу организации большевицкой партии. Вся Россия, весь русский народ оказался подчиненным не только диктатуре коммунистической партии, ее центральному органу, но и доктрине коммунистиче-

ского диктатора в своей мысли и своей совести. Ленин отрицал свободу внутри партии, и это отрицание свободы было перенесено на всю Россию. Это и есть диктатура мирозерцания, которую готовил Ленин. Ленин мог это сделать только потому, что он соединял в себе две традиции — традицию русской революционной интеллигенции в ее наиболее максималистических течениях и традицию русской исторической власти в ее наиболее деспотических проявлениях. Социал-демократы, меньшевики и социалисты-революционеры остались лишь в первой традиции, да и то смягченной. Но соединив в себе две традиции, которые находились в XIX веке в смертельной вражде и борьбе, Ленин мог начертать план организации коммунистического государства и осуществить его. Как это парадоксально ни звучит, но большевизм есть третье явление русской великодержавности, русского империализма, — первым явлением было Московское царство, вторым явлением петровская империя. Большевизм — за сильное, централизованное государство. Произошло соединение воли к социальной правде с волей к государственному могуществу, и вторая воля оказалась сильнее. Большевизм вошел в русскую жизнь, как в высшей степени милитаризованная сила. Но старое русское государство всегда было милитаризованным. Проблема власти была основной у Ленина и у всех следовавших за ним. Это отличало большевиков от всех других революционеров. И они создали полицейское государство, по способам управления очень похожее на старое русское государство. Но организовать власть, подчинить себе рабоче-крестьянские массы нельзя одной силой оружия, чистым насилием. Нужна целостная доктрина, целостное мирозерцание, нужны скрепляющие символы. В Московском царстве и в империи народ держался единством религиозных верований. Новая единая вера для народных масс должна быть выражена в элементарных символах. По-русски трансформированный марксизм оказался для этого вполне пригодным. Для понимания подготовки диктатуры пролетариата, которая есть диктатура коммунистической партии, чрезвычайный интерес представляет книжка Ленина «Что делать?», написанная еще в 1902 году, когда не было еще раскола на большевиков и меньшевиков, и представляющая блестящий образец революционной полемики. В ней Ленин боролся главным образом с так называемым «экономизмом» и стихийностью в понимании подготовки революции. Экономизм был отрицанием целостного революционного мирозерцания и революционного действия. Стихийности Ленин противопоставлял сознательность революционного меньшинства, которое призвано господствовать над общественным процессом. Он требует организации сверху, а не снизу, т. е. организации не демократического, а диктаторского типа. Ленин издевался над теми марксистами, которые всего ждут от стихийно-общественного развития. Он утверждал не диктатуру эмпирического пролетариата, который в России был очень слаб, а диктатуру идеи пролетариата, которой может быть проникнуто незначительное меньшинство. Ленин всегда был антиэволюционистом и в сущности был и антидемократом, что сказалось на молодой коммунистической философии. Будучи материалистом, Ленин совсем не был релятивистом и ненавидел релятивизм и скептицизм, как порождение буржуазного духа. Ленин — абсолютист, он верит в абсолютную истину. Материализму очень трудно построить теорию познания, допускающую абсолютную истину, но Ленина это не беспокоит. Его невероятная наивность в философии определяется его целостной революционной волей. Абсолютную истину утверждает не познание, не мышление, а напряженная революционная воля. И он хочет подобрать людей этой напряженной революционной воли. Тоталитарный марксизм, диалектический марксизм есть абсолютная истина. Эта абсолютная истина есть орудие революции и организации диктатуры. Но учение, обосновывающее тоталитарную доктрину, охватывающую всю полноту жизни — не только политику и экономику, но и мысль, и сознание, и все творчество культуры — может быть лишь предметом веры.

Вся история русской интеллигенции готовила коммунизм. В коммунизм вошли знакомые черты: жажда социальной справедливости и равенства, признание классов трудящихся высшим человеческим типом, отвращение к капитализму и буржуазии, стремление к целостному мирозерцанию и целостному отношению к жизни, сектантская нетерпимость, подозрительное и враждебное отношение к культурной элите, исключительная пессимистичность, отрицание духа и духовных ценностей, придание материализму почти теологического характера. Все эти черты всегда были свой-

стенны русской революционной и даже просто радикальной интеллигенции. Если остатки старой интеллигенции, не примкнувшей к большевизму, не узнали своих собственных черт в тех, против кого они восстали, то это историческая аберрация, потеря памяти от эмоциональной реакции. Старая революционная интеллигенция просто не думала о том, какой она будет, когда получит власть, она привыкла воспринимать себя безвластной и угнетенной, и властность и угнетательство показалось ей порождением совершенно другого, чуждого ей типа, в то время как то было и их порождением. В этом парадокс исхода русской интеллигенции, ее трансформирования после победоносной революции. Часть ее превратилась в коммунистов и приспособила свою психику к новым условиям, другая же часть ее не приняла социалистической революции, забыв свое прошлое. Уже война выработала новый душевный тип, тип, склонный переносить военные методы на устройство жизни, готовый практиковать методическое насилие, властолюбивый и поклоняющийся силе. Это — мировое явление, одинаково обнаружившееся в коммунизме и фашизме. В России появился новый антропологический тип, новое выражение лиц. У людей этого типа иная поступь, иные жесты, чем в типе старых интеллигентов. Подобно тому, как в 60-х годах, при появлении нигилистов, более мягкий тип идеалистов 40-х годов заменен был более жестким типом, в стихии победоносной революции, вышедшей из стихии войны, тот же процесс произошел в более грандиозных размерах. При этом старая интеллигенция, генетически связанная с «мыслящими реалистами» нигилистической эпохи, играет ту же роль, которую в 60-ые годы играли идеалисты 40-х годов, и представляет более мягкий тип. Вследствие ослабления памяти, под влиянием аффекта, она забывает, что произошла от Чернышевского, который презирал Герцена, как мягкого идеалиста 40-х годов по своему происхождению. Коммунисты с презрением называли старую революционную и радикальную интеллигенцию буржуазной, как нигилисты и социалисты 60-х годов называли интеллигенцию 40-х годов дворянской, барской. В новом коммунистическом типе мотивы силы и власти вытеснили старые мотивы правдолюбия и сострадания. В этом типе выработалась жесткость, переходящая в жестокость. Этот новый душевный тип оказался очень благоприятным плану Ленина, он стал материалом организации коммунистической партии, он стал властвовать над огромной страной. Новый душевный тип, призванный к господству в революции, поставляется из рабоче-крестьянской среды, он прошел через дисциплину военную и партийную. Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской культуры, их отцы и деды были безграмотны, лишены всякой культуры и жили исключительно верой. Этим людям свойственно было *tessentiment* по отношению к людям старой культуры, которое в момент торжества перешло в чувство мести. Этим многое психологически объясняется. Народ в прошлом чувствовал неправду социального строя, основанного на угнетении и эксплуатации трудящихся, но он кротко и смиренно нес свою страдальческую долю. Но наступил час, когда он не пожелал больше терпеть, и весь строй души народной перевернулся. Это типичный процесс. Кротость и смиренность может перейти в свирепость и разъяренность. Ленин не мог бы осуществить своего плана революции и захвата власти без переворота в душе народа. Переворот этот был так велик, что народ, живший иррациональными верованиями и покорный иррациональной судьбе, вдруг почти помешался на рационализации всей жизни, поверил в возможность рационализации без всякого иррационального остатка, поверил в машину вместо Бога. Русский народ из периода теллурического, когда он жил под мистической властью земли, перешел в период технический, когда он поверил во всемогущество машины и по старому инстинкту стал относиться к машине, как к тотему. Такие переключения возможны в душе народа.

Ленин был марксист и верил в исключительную миссию пролетариата. Он верил, что мир вступил в эпоху пролетарских революций. Но он был русский и делал революцию в России, стране совсем особой. Он обладал исключительной чуткостью к исторической ситуации. Он почувствовал, что его час настал, настал благодаря войне, перешедшей в разложение старого строя. Нужно было сделать первую в мире пролетарскую революцию в крестьянской стране. И он почувствовал себя свободным от всякого марксистского доктринизма, с которым ему надоедали марксисты-меньшевики. Он провозгласил рабоче-крестьянскую революцию и рабоче-крестьянскую республику. Он решил воспользоваться крестьянством для пролетарской революции, и он успел в этом деле, столь смущавшем марксистов-доктринеров. Ленин совершил прежде всего аграрную революцию,

воспользовавшись многим, что раньше утверждали социалисты-националисты. В ленинизм вошли в преобразованном виде элементы революционного народничества и бунтарства. Социалисты-революционеры, представители старой традиции, оказались ненужными и вытесненными. Ленин сделал все лучше, скорее и более радикально, он дал больше. Это сопровождалось провозглашением новой революционной морали, соответствующей новому психическому типу и новым условиям. Она оказалась уже иной, чем у старой революционной интеллигенции, менее гуманной, не стесняющейся никакой жестокостью. Ленин — антигуманист, как и антидемократ. В этом он человек новой эпохи, эпохи не только коммунистических, но и фашистских переворотов. Ленинизм есть вождизм нового типа, он выдвигает вождя масс, наделенного диктаторской властью. Этому будут подражать Муссолини и Гитлер. Сталин будет законченным типом вождя-диктатора. Ленинизм не есть, конечно, фашизм, но сталинизм уже очень идет к фашизму.

В 1917 году, т. е. через пятнадцать лет после книги «Что делать?», Ленин пишет книгу «Государство и революция», быть может, самое интересное из всего им написанного. В этой книге Ленин начертал план организации революции и организации революционной власти, план, рассчитанный на долгое время. Замечательно не то, что он этот план начертал, замечательно то, что он его осуществил, он ясно предвидел, каким путем все пойдет. В этой книге Ленин строит теорию роли государства в переходный период от капитализма к коммунизму, который может быть более или менее длителен. Этого у самого Маркса не было, который не предвидел конкретно, как будет осуществляться коммунизм, какие формы примет диктатура пролетариата. Мы видели, что для Ленина марксизм есть прежде всего теория и практика диктатуры пролетариата. Из Маркса можно было сделать анархические выводы, отрицающие государство совсем. Ленин решительно восстает против этих анархических выводов, явно неблагоприятных для организации революционной власти, для диктатуры пролетариата. В будущем государство действительно должно отмереть за ненужностью, но в переходный период роль государства должна еще более возрасти. Диктатура пролетариата, т. е. диктатура коммунистической партии, означает государственную власть более сильную и деспотическую, чем в буржуазных государствах. Согласно марксистской теории, государство всегда было организацией классового господства, диктатурой господствующих классов над классами угнетенными и эксплуатируемыми. Государство отомрет и окончательно заменится организованным обществом после исчезновения классов. Государство существует, пока существуют классы. Но полное исчезновение классов происходит не сразу после победы революционного пролетариата. Ленин совсем не думал, что после Октябрьской революции в России окончательно осуществится коммунистическое общество. Предстоит еще подготовительный процесс и жестокая борьба. Во время этого подготовительного периода, когда общество не стало еще совершенно бесклассовым, государство с сильной централизованной властью нужно для диктатуры пролетариата над буржуазными классами, для их подавления. Ленин говорит, что «буржуазное» государство нужно уничтожить путем революционного насилия, вновь же образовавшееся «пролетарское» государство постепенно отомрет, по мере осуществления бесклассового коммунистического общества. В прошлом было подавление пролетариата буржуазией, в переходный период пролетарского государства, управляемого диктатурой, должно происходить подавление буржуазии пролетариатом. В этом периоде чиновники будут исполнять приказы рабочих. Ленин опирается в своей книге, главным образом, на Энгельса и постоянно его цитирует. «Пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников», пишет Энгельс Бебелю в 1875 году. Тут Энгельс является явным предшественником Ленина. По Ленину, демократия совсем не нужна для пролетариата и для осуществления коммунизма. Она не есть путь к пролетарской революции. Буржуазная демократия не может эволюционировать к коммунизму, буржуазное демократическое государство должно быть уничтожено для осуществления коммунизма. И демократия не нужна и вредна после победы пролетарской революции, ибо противоположна диктатуре. Демократические свободы лишь мешают осуществлению царства коммунизма. Да и Ленин не верил в реальное существование демократических свобод, они лишь прикрывают интересы буржуазии и ее господство. В буржуазных демократиях также существуют диктатуры, диктатуры капитала, денег. И в этом, бесспорно, есть доля истины. При социализме отомрет всякая демократия. Первые фазисы в осуществлении коммунизма не могут быть

свобода и равенство. Ленин это прямо говорил. Диктатура пролетариата будет жестоким насилием и неравенством. Вопреки доктринерскому пониманию марксизма, Ленин утверждал явный примат политики над экономикой. Проблема сильной власти для него основная. Вопреки доктринерскому марксизму меньшевиков, Ленин видел в политической и экономической отсталости России преимущество для осуществления социальной революции. В стране самодержавной монархии, не привыкшей к правам и свободам гражданина, легче осуществить диктатуру пролетариата, чем в западных демократиях. Это, бесспорно, верно. Вековыми инстинктами покорности нужно воспользоваться для пролетарского государства. Это предвидел К. Леонтьев. В стране, индустриально отсталой, с мало развитым капитализмом легче будет организовать экономическую жизнь согласно коммунистическому плану. Тут Ленин находится в традициях русского народнического социализма, он утверждает, что революция произойдет в России оригинально, не по западному, то есть в сущности не по Марксу, не по доктринерскому пониманию Маркса. Но все должно произойти во имя Маркса.

Как и почему прекратится то насилие и принуждение, то отсутствие всякой свободы, которые характеризуют переходной к коммунизму период, период пролетарской диктатуры? Ответ Ленина очень простой, слишком простой. Сначала нужно пройти через муштровку, через принуждение, через железную диктатуру сверху. Принуждение будет не только по отношению к остаткам старой буржуазии, но и по отношению к рабоче-крестьянским массам, к самому пролетариату, который объявляется диктатором. Потом, говорит Ленин, люди привыкнут соблюдать элементарные условия общности, приспособятся к новым условиям, тогда уничтожится насилие над людьми, государство отомрет, диктатура кончится. Тут мы встречаемся с очень интересным явлением. Ленин не верил в человека, не признавал в нем никакого внутреннего начала, не верил в дух и свободу духа. Но он бесконечно верил в общественную муштровку человека, верил, что принудительная общественная организация может создать какого угодно нового человека, совершенного социального человека, не нуждающегося больше в насилии. Так и Маркс верил, что новый человек фабрикуется на фабриках. В этом был утопизм Ленина, но утопизм реализуемый и реализованный. Одного он не предвидел. Он не предвидел, что классовое угнетение может принять совершенно новые формы, не похожие на капиталистические. Диктатура пролетариата, усилив государственную власть, развивает колоссальную бюрократию, охватывающую, как паутина, всю страну и все себе подчиняющую. Эта новая советская бюрократия, более сильная, чем бюрократия царская, есть новый привилегированный класс, который может жестоко эксплуатировать народные массы. Это и происходит. Простой рабочий слышит и рядом получает 75 рублей в месяц, советский же чиновник, специалист — 1500 рублей в месяц. И это чудовищное неравенство существует в коммунистическом государстве. Советская Россия есть страна государственного капитализма, который может эксплуатировать не менее частного капитализма. Переходной период может затянуться до бесконечности. Те, которые в нем властвуют, войдут во вкус властвования и не захотят изменений, которые неизбежны для окончательного осуществления коммунизма. Воля к власти станет самодовольной и за нее будут бороться, как за цель, а не как за средство. Все это было вне кругозора Ленина. Тут он особенно утопичен, очень наивен. Советское государство стало таким же, как всякое деспотическое государство, оно действует теми же средствами, ложью и насилием. Это прежде всего государство военно-полицейское. Его международная политика, как две капли воды, напоминает дипломатию буржуазных государств. Коммунистическая революция была оригинально русской, но чуда рождения новой жизни не произошло, ветхий Адам остался и продолжает действовать, лишь трансформируя себя. Русская революция совершалась под символикой марксизма-ленинизма, а не народнического социализма, который имел за собой старые традиции. Но к моменту революции народнический социализм утерял в России свою целостность и революционную энергию, он выдохся, он был половинчат, он мог играть роль в февральской, интеллигентской, все еще буржуазной революции, он дорожил более принципами демократии, чем принципами социализма, и не может уже играть роли в революции октябрьской, то есть вполне созревшей, народной, социалистической. Марксизм-ленинизм впитал в себя все необходимые элементы народнического социализма, но отбросил его

большую человечность, его моральную щепетильность, как помеху для завоевания власти. Он оказался ближе к морали старой деспотической власти.

Суждение о русской революции предполагает суждение о революции вообще, как совсем особом и в конце концов духовном феномене в судьбах народов. Совершенно бесплодны рационалистические и моралистические суждения о революции, так же как и о войне, которая во многом походит на революцию. Революция иррациональна, она свидетельствует о господстве иррациональных сил в истории. Деятели революции сознательно могут исповедовать самые рационалистические теории и во имя их делать революцию, но революция всегда является симптомом иррационального иррациональных сил. И это нужно понимать в двойном смысле: это значит, что старый режим стал совершенно иррациональным и не оправдан более никаким смыслом и что сама революция осуществляется через расковыряние иррациональной народной стихии. Революционеры-организаторы всегда хотят рационализировать иррациональную стихию революции, но она же является ее орудием. Ленин был крайним рационалистом, он верил в возможность окончательной рационализации социальной жизни. Но он же был человеком судьбы, рока, то есть иррационального в истории. Революция есть судьба и рок.

[...] И вот для религиозной историософии, для историософии христианской раскрывается, что смысл революции есть внутренний апокалипсис истории. Апокалипсис не есть только откровение о конце мира, о страшном суде. Апокалипсис есть также откровение о всегдашней близости конца внутри самой истории, внутри исторического еще времени, о суде над историей внутри самой истории, обличение неудачи истории. В нашем греховном, злом мире оказывается невозможным непрерывное, поступательное развитие. В нем всегда накапливается много зла, много ядов, в нем всегда происходят и процессы разложения. Слишком часто бывает так, что в обществе не находится положительных, творческих, возрождающих сил. И тогда неизбежен суд над обществом, тогда на небесах постановляется неизбежность революции, тогда происходит разрыв времени, наступает прерывность, происходит вторжение сил, которые для истории представляются иррациональными и которые, если смотреть сверху, а не снизу, означают суд Смысла над бессмыслицей, действие Промысла во тьме. Реакционер Ж. де Местр, который не был чистым типом реакционера, признавал этот смысл революции.

Революция имеет онтологический смысл. Смысл этот пессимистический, а не оптимистический. Обнаружение этого смысла направлено против тех, которые думают, что общество может бесконечно существовать мирно и спокойно, когда в нем накопились страшные яды, когда в нем царят зло и неправда, внешне прикрытые благообразными формами, идеализированными образами прошлого. Трудно понять тех христиан, которые считают революцию недопустимой ввиду ее насилия и крови и вместе с тем считают вполне допустимой и нравственно оправданной войну. Война совершает еще больше насилий и проливает еще больше крови. Революция, совершающая насилие и проливающая кровь, есть грех, но и война есть грех, часто еще больший грех, чем революция. Вся история есть в значительной степени грех, кровопролитие и насилие. И трудно для христианской совести принять историю. Это основной парадокс христианского сознания. Христианство исторично, оно есть откровение Бога в истории, а не в природе, оно признает смысл истории. И вместе с тем христианство никогда не могло вместиться в историю, оно всегда искажалось историей, оно всегда судит неправду истории, оно не допускает оптимистического взгляда на историю. История потому и должна кончиться, должна быть судима Богом, что в истории не осуществляется правда Христова. Революция есть малый апокалипсис истории, как и суд внутри истории. Революция подобна смерти, она есть прохождение через смерть, которая есть неизбежное следствие греха. Как наступит конец всей истории, прохождение мира через смерть для воскресения к новой жизни, так и внутри истории и внутри индивидуальной жизни человека периодически наступает конец и смерть для возрождения к новой жизни. Этим определяется ужас революции, ее жуткость, ее смертоносный и кровавый образ. Революция есть грех и свидетельство о грехе, как и война есть грех и свидетельство о грехе. Но революция есть рок истории, неотвратимая судьба исторического существования. В революции происходит суд над злыми силами, творящими неправду, но судящие силы сами творят зло; в революции

и добро осуществляется силами зла, так как добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории.

Революции в христианской истории всегда были судом над историческим христианством, над христианами, над их изменой христианским заветам, над их искажением христианства. Именно для христиан революция имеет смысл и им более всего нужно его постигнуть, она есть вызов и напоминание христианам о неосуществленной ими правде. Принятие истории есть принятие и революции, принятие ее смысла, как катастрофической прерывности в судьбах греховного мира. Отвержение всякого смысла революции неизбежно должно повести за собой и отвержение истории. Но революция ужасна и жутка, она уродлива и насильственна, как уродливо и насильственно рождение ребенка, уродливы и насильственны муки рождающей матери, уродлив и подвержен насилию рождающийся ребенок. Таково проклятие греховного мира. И на русской революции, быть может, больше, чем на всякой другой, лежит ответ Апокалипсиса. Смешны и жалки суждения о ней с точки зрения нормативной, с точки зрения нормативной религии и морали, нормативного понимания права и хозяйства. Озлобленность деятелей революции не может не отталкивать, но судить о ней нельзя исключительно с точки зрения индивидуальной морали.

Бесспорно в русской революции есть родовая черта всякой революции. Но есть также единичная, однажды совершившаяся, оригинальная революция, она порождена своеобразным русским историческим процессом и единственностью русской интеллигенции. Нигде больше такой революции не будет. Коммунизм на Западе есть другого рода явление. В первые годы революции рассказывали легенду, сложившуюся в народной среде о большевизме и коммунизме. Для народного сознания большевизм был русской народной революцией, разливом буйной, народной стихии, коммунизм же пришел от инородцев, он западный, не русский и он наложил на революционную народную стихию гнет деспотической организации, выражаясь по-ученому, он рационализировал иррациональное. Это очень характерная легенда, свидетельствующая о женственной природе русского народа, всегда подвергающейся изнасилованию чуждым ей мужественным началом. Так народ воспринял и Петра. В русской революции, как, впрочем, и во всякой революции, произошло расковыливание и сковывание хаотических сил. Народная толпа, поднятая революцией, сначала сбрасывает с себя все оковы, и приход к господству народных масс грозит хаотическим распадом. Народные массы были дисциплинированы и организованы в стихии русской революции через коммунистическую идею, через коммунистическую символику. В этом бесспорная заслуга коммунизма перед русским государством. России грозила полная анархия, анархический распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым народ согласился подчиниться. [...]

[...] Русская коммунистическая революция в значительной степени была определена войной. Ленин, как и Маркс и Энгельс, придавал огромное значение войне, как самому благоприятному моменту для производства опыта коммунистической революции. В этом отношении у коммунистов есть поражающая двойственность, которая может произвести впечатление лицемерия и цинизма и которая ими самим утверждается, как диалектическое отношение к действительности. Кто же больше коммунистов негодовал на империалистическую войну и кто больше их протестовал? Именно коммунисты, которые, впрочем, тогда так не назывались и представляли левое крыло социал-демократов интернационалистов, хотели сорвать войну или по крайней мере делали вид, что хотят сорвать. И вместе с тем в России именно коммунисты более всего выиграли от войны, война привела их к победе. Коммунисты или социалисты-интернационалисты, протестовавшие против войны, отлично предвидели, что мировая война может быть для них только благоприятна. Я не думаю, чтобы можно было их обвинить в неискренности и лживости. Это диалектическая неискренность и лживость. Марксизм вообще думает, что добро осуществляется через зло, свет — через тьму. Таково ведь и отношение к капитализму, который есть величайшее зло и несправедливость и вместе с тем есть необходимый путь к торжеству социализма. На капиталистических фабриках приготавливается грядущее могущественное человечество. Коммунисты, в сущности, совсем не хотели, чтобы война не состоялась, они только хотели внедрить в сознание масс, что война капиталистических государств есть то страшное зло, которое

делает возможным и необходимым восстание против этого зла. Коммунизм хотел и хочет войны, но для того, чтобы войну национальностей превратить в войну классов. Весь стиль русского и мирового коммунизма вышел из войны. Если бы не было войны, то в России революция все-таки в конце концов была бы, но, вероятно, позже и была бы иной. Неудачная война создала наиболее благоприятные условия для победы большевиков. Русские по характеру своему склонны к максимализму, и максималистический характер русской революции был очень правдоподобен. Противоположения и расколы достигли в России максимального напряжения. Но только атмосфера войны создала у нас тип победоносного большевизма, выдвинула новый тип большевика-победителя и завоевателя. Именно война с ее навыками и методами переродила тип русской интеллигенции. Методы войны перенесены были внутрь страны. Появился новый тип милитаризованного молодого человека. В отличие от старого типа интеллигента он гладко выбритый, подтянутый, с твердой и стремительной походкой, он имеет вид завоевателя, он не стесняется в средствах и всегда готов к насилию, он одержим волей к власти и могуществу, он пробивается в первые ряды жизни, он хочет быть не только разрушителем, но и строителем и организатором. Только с таким молодым человеком из крестьян, рабочих и полунинтеллигенции можно было сделать коммунистическую революцию. Ее нельзя было сделать с мечтателем, сострадательным и всегда готовым пострадать, типом старой интеллигенции. Но очень важно помнить, что русская коммунистическая революция родилась в несчастье и от несчастья, несчастья разлагающейся войны, она не от творческого избытка сил родилась. Впрочем, революция всегда предполагает несчастье, всегда предполагает сгущение тьмы прошлого. [...]

Большевизм воспользовался всем для своего торжества. Он воспользовался бессилием либерально-демократической власти, негодностью ее символики для скрепления взбунтовавшейся массы. Он воспользовался объективной невозможностью дальше вести войну, пафос которой был безнадежно утерян, нежеланием солдат продолжать войну, и он провозгласил мир. Он воспользовался неустойчивостью и недовольством крестьян и передал всю землю крестьянам, разрушив остатки феодализма и господства дворян. Он воспользовался русскими традициями деспотического управления сверху и, вместо непривычной демократии, для которой не было навыков, провозгласил диктатуру, более схожую со старым царизмом. Он воспользовался свойствами русской души, во всем противоположной секуляризованному буржуазному обществу, ее религиозностью, ее догматизмом и максимализмом, ее исканием социальной правды и царства Божьего на земле, ее способностью к жертвам и к терпеливому несению страданий, но также к проявлениям грубости и жестокости, воспользовался русским мессианизмом, всегда остающимся, хотя бы в бессознательной форме, русской верой в особые пути России. Он воспользовался историческим расколом между народом и культурным слоем, народным недоверием к интеллигенции и с легкостью разгромил интеллигенцию, ему не подчинившуюся. Он впитал в себя и русское интеллигентское сектантство, и русское народничество, преобразив их согласно требованиям новой эпохи. Он соответствовал отсутствию в русском народе римских понятий о собственности и буржуазных добродетелей, соответствовал русскому коллективизму, имевшему религиозные корни. Он воспользовался крушением патриархального быта в народе и разложением старых религиозных верований. Он также начал насильственно насаждать сверху новую цивилизацию, как это в свое время делал Петр. Он отрицал свободы человека, которые и раньше неизвестны были народу, которые были привилегией лишь верхних культурных слоев общества и за которые народ совсем и не собирался бороться. Он провозгласил обязательность целостного, тоталитарного мирозерцания, господствующего вероучения, что соответствовало навыкам и потребностям русского народа в вере и символах, управляющих жизнью. Русская душа не склонна к скептицизму, и ей менее всего соответствует скептический либерализм. Народная душа легче всего могла перейти от целостной веры к другой целостной вере, к другой ортодоксии, охватывающей всю жизнь.

Россия перешла от старого средневековья, минув пути новой истории, с их секуляризацией, дифференциацией разных областей культуры, с их либерализмом и индивидуализмом, с торжеством буржуазии и капиталистического хозяйства. Пало старое священное русское царство и образова-

лось новос, тоже священное царство, обратная теократия. Произошло удивительное превращение. Марксизм, столь не русского происхождения и не русского характера, приобретает русский стиль, стиль восточный, почти приближающийся к славянофильству. Даже старая славянофильская мечта о перенесении столицы из Петербурга в Москву, в Кремль, осуществляется красным коммунизмом. И русский коммунизм вновь провозглашает старую идею славянофилов и Достоевского — «ex Oriente Lux». Из Москвы, из Кремля исходит свет, который должен просветить буржуазную тьму Запада. Вместе с тем коммунизм создаст деспотическое и бюрократическое государство, призванное господствовать над всей жизнью народа, не только над телом, но и над душой народа, в согласии с традициями Иоанна Грозного и царской власти. Русский преображенный марксизм провозглашает господство политики над экономикой, силу власти изменять как угодно хозяйственную жизнь страны. В своих грандиозных, всегда планетарных планах коммунизм воспользовался русской склонностью к прожектерству и фантазерству, которые раньше не могли себя реализовать, теперь же получили возможность практического применения. Ленин хотел победить русскую лень, выработанную барством и крепостным правом, победить Обломова и Рудина, лишних людей. И это положительное дело, по-видимому, ему удалось. Произошла метаморфоза: американизация русских людей, выработка нового типа практика, у которого мечтательность и фантазерство перешли в дело, в строительство, техника, бюрократия нового типа. Но и тут сказались особенности русской души, народные верования получили новое направление. Русские крестьяне сейчас поклоняются машине, как тотему. Техника не есть обыденное дело, прозаическое и столь привычное западным людям, она превращается в мистику и связывается с планами почти космического переворота. Русский коммунизм, с моей точки зрения, есть явление вполне объяснимое, но объяснение не есть оправдание. Неслыханная тирания, которую представляет собой советский строй, подлжет нравственному суду, сколько бы вы ее ни объясняли. Постыдно и позорно, что наиболее совершенно организованное учреждение, созданное первым опытом революции коммунизма, есть ГПУ (раньше Чека), т. е. орган государственной полиции, несравненно более тиранический, чем институт жандармов старого режима, налаживающий свою лапу даже на церковные дела. Но тираничность и жестокость советской власти не имеет обязательной связи с социально-экономической системой коммунизма. Можно мыслить коммунизм в экономической жизни соединимый с человечностью и свободой. Это предполагает иной дух и иную идеологию.

[...] Советское коммунистическое царство имеет большое сходство по своей духовной конструкции с московским православным царством. В нем то же удушение. XIX век в России не был целостным, был раздвоенным, он был веком свободных исканий и революции. Революция создала тоталитарное коммунистическое царство, и в этом царстве угас революционный дух, исчезли свободные искания. В царстве этом делается опыт подчинения всего народа государственному катехизису. Русский этатизм имел всегда обратной стороной русский анархизм. Коммунистическая революция воспользовалась в свое время анархическими инстинктами, но она пришла к крайнему этатизму, подавляющему всякое проявление русских анархических инстинктов.

Русский народ не осуществил своей мессианской идеи о Москве, как Третьем Риме. Религиозный раскол XVII века обнаружил, что московское царство не есть Третий Рим. Менее всего, конечно, петербургская империя была осуществлением идеи Третьего Рима. В ней произошло окончательное раздвоение. Мессианская идея русского народа приняла или апокалиптическую форму или форму революционную. И вот произошло изумительное в судьбе русского народа событие. Вместо Третьего Рима в России удалось осуществить Третий Интернационал, и на Третий Интернационал перешли многие черты Третьего Рима. Третий Интернационал есть тоже священное царство, и оно тоже основано на ортодоксальной вере. На Западе очень плохо понимают, что Третий Интернационал есть не Интернационал, а русская национальная идея. Это есть трансформация русского мессианизма. Западные коммунисты, примыкающие к Третьему Интернационалу, играют уничижительную роль. Они не понимают, что, присоединяясь к Третьему Интернационалу, они присоединяются к русскому народу и осуществляют его мессианское призвание. Я слышал, как на французском ком-

мунистическом собрании один французский коммунист говорил: «Маркс сказал, что у рабочих нет отечества, это было верно, но сейчас уже не верно, они имеют отечество — это Россия, это Москва, и рабочие должны защищать свое отечество». Это совершенно верно и должно было бы быть всеми создано. Произошло то, чего Маркс и западные марксисты не могли предвидеть, произошло как бы отождествление двух мессианизмов, мессианизма русского народа и мессианизма пролетариата. Русский рабоче-крестьянский народ есть пролетариат, и весь мировой пролетариат, от французов до китайцев, делается русским народом, единственным в мире народом. И это мессианское сознание, рабочее и пролетарское, сопровождается почти славянофильским отношением к Западу. Запад почти отождествляется с буржуазией и капитализмом. Национализация русского коммунизма, о которой все свидетельствуют, имеет своим источником тот факт, что коммунизм осуществляется лишь в одной стране, в России, и коммунистическое царство окружено буржуазными, капиталистическими государствами. Коммунистическая революция в одной стране неизбежно ведет к национализму и националистической международной политике. Мы, например, видим, что советское правительство гораздо более сейчас интересуется связями с французским правительством, чем связями с французскими коммунистами. Только Троцкий остается интернационалистом, продолжает утверждать, что коммунизм в одной стране не осуществим, и требует мировой революции. Поэтому он и был извергнут, оказался ненужным, не соответствующим конструктивному национальному периоду коммунистической революции. В советской России сейчас говорят о социалистическом отечестве и его хотят защищать, во имя него готовы жертвовать жизнью. Но социалистическое отечество есть все та же Россия, и в России, может быть, впервые возникает народный патриотизм. Этот патриотизм есть факт положительный, но национализм может принять и отрицательные формы. Опасность со стороны Японии и Германии укрепляет русский патриотизм. Поражение советской России было бы и поражением коммунизма, поражением мировой идеи, которую возвещает русский народ.

Пятилетний план, столь поражающий многих людей Запада, есть очень элементарная и прозаическая вещь. Россия — страна, индустриально отсталая. Необходимо во что бы то ни стало ее индустриализовать. На Западе это происходило под знаком капитализма, и так должно быть по Марксу. Но в России индустриализация должна проходить под знаком коммунизма. При коммунистическом режиме это можно сделать лишь создав энтузиазм индустриализации, превратив ее из прозы в поэзию, из трезвой реальности в мистику, создав миф о пятилетке. Но все это происходит не только при помощи энтузиазма, поэзии, мистики и мифотворчества, но и путем террора и ГПУ. Народ поставлен в крепостную зависимость по отношению к государству. Коммунистический строй переходного периода есть строй крепостной. [...] Для индустриализации России под коммунистическим режимом нужна новая мотивация труда, новая психическая структура, нужно, чтобы появился новый коллективный человек. Для создания этой новой психической структуры и нового человека русский коммунизм сделал огромное усилие. Психологически он сделал больше завоеваний, чем экономически. Появилось новое поколение молодежи, которое оказалось способным с энтузиазмом отдаться осуществлению пятилетнего плана, которое понимает задачу экономического развития не как личный интерес, а как социальное служение.

В России это легче было сделать, чем в странах Запада, где буржуазная психология и капиталистическая цивилизация пустили глубокие корни. Даже русский купец старого режима, который наживался нечестными путями и делался миллионером, склонен был считать это грехом, замалчивал этот грех и мечтал в светлые минуты о другой жизни, например о странничестве или монашестве. Поэтому даже этот купец был плохим материалом для образования буржуазии западноевропейского типа. Возможно даже, что буржуазность в России появится именно после коммунистической революции. Русский народ никогда не был буржуазным, он не имел буржуазных предрассудков и не поклонялся буржуазным добродетелям и нормам. Но опасность буржуазизации очень сильна в советской России. На энтузиазм коммунистической молодежи к социалистическому строительству пошла религиозная энергия русского народа. Если эта религиозная энергия иссякнет, то иссякнет и энтузиазм

и появится шкурничество, вполне возможное и при коммунизме.

Но пятилетний план не осуществляет все-таки царства социализма, он осуществляет государственный капитализм. Высшей ценностью признаются не интересы рабочих, не ценность человека и человеческого труда, а сила государства, его экономическая мощь. Коммунизм в период сталинизма не без основания может представляться продолжением дела Петра Великого. Советская власть есть не только власть коммунистической партии, претендующей осуществить социальную правду, она есть также государство и имеет объективную природу всякого государства, она заинтересована в защите государства и в его экономическом развитии, без которого власть может пасть. Всякой власти присущ инстинкт самосохранения, которое может стать главной целью. Сталин — государственный восточного, азиатского типа. Сталинизм, т. е. коммунизм периода строительства, перерождается незаметно в своеобразный русский фашизм. Ему присущи все особенности фашизма: тоталитарное государство, государственный капитализм, национализм, вождизм и, как базис,— милитаризованная молодежь. Ленин не был еще диктатором в современном смысле слова. Сталин уже вождь-диктатор в современном, фашистском смысле. По объективному своему смыслу происходящий процесс есть процесс интеграции, собирание русского народа под знаменем коммунизма.

Идеологически я отношусь отрицательно к советской власти. Эта власть, запятанная себя жестокостью и бесчеловечием, вся в крови, она держит народ в страшных тисках. Но в данную минуту это единственная власть, выполняющая хоть как-нибудь защиту России от грозящих ей опасностей. Внезапное падение советской власти без существования организованной силы, которая способна была бы прийти к власти не для контрреволюции, а для творческого развития, исходящего из социальных результатов революции, представляла бы даже опасность для России и грозила бы анархией. Это нужно сказать об автократии советской, как можно было бы сказать об автократии монархической. В России вырастает не только коммунистический, но и советский патриотизм, который есть просто русский патриотизм. Но патриотизм великого народа должен быть верой в великую и мировую миссию этого народа, иначе это будет национализм провинциальный, замкнутый и лишенный мировых перспектив. Миссия русского народа создается, как осуществление социальной правды в человеческом обществе, не только в России, но и во всем мире. И это согласно с русскими традициями. Но ужасно, что опыт осуществления социальной правды ассоциируется с насилием, преступлениями, жестокостью и ложью, ужасной ложью. Одна безобразная инсценировка советских процессов, в которых обыкновенно всегда в одной и той же форме каются, может виушить отвращение ко всей системе.

III. Неясный образ нового

[...] Марксизм-ленинизм или диалектический материализм эпохи пролетарских революций соответствуют новому пониманию свободы. И действительно, коммунистическое понимание свободы очень отличается от обычных пониманий. Поэтому русские коммунисты искренно возмущаются, когда им говорят, что в советской России нет свободы. Рассказывают такой случай. Один советский молодой человек приехал на несколько месяцев во Францию, чтобы вернуться потом обратно в советскую Россию. К концу его пребывания его спросили, какое у него осталось впечатление от Франции. Он ответил: «В этой стране нет свободы». Его собеседник с удивлением ему возражает: «Что вы говорите, Франция — страна свободы, каждый свободен думать, что хочет, и делать, что хочет, это у вас нет никакой свободы». Тогда молодой человек изложил свое понимание свободы: во Франции нет свободы, и советский молодой человек в ней задыхался потому, что в ней невозможно изменить жизнь, строить новую жизнь; так называемая свобода в ней такова, что все остается неизменным, каждый день похож на предшествующий, можно свергать каждую неделю министерства, но ничего от этого не меняется. Поэтому человеку, приехавшему из России, во Франции скучно. В советской же, коммунистической России есть настоящая свобода, потому что каждый день можно изменить жизнь России и даже всего мира, можно все перестраивать, один день не походит на другой. Каждый молодой человек чувствует себя строителем нового мира.

Мир стал пластичен, и из него можно лепить новые формы. Именно это более всего соблазняет молодежь. Каждый себя чувствует участником общего дела, имеющего мировое значение. Жизнь поглощена не борьбой за свое собственное существование, а борьбой за переустройство мира. Тут свобода понимается не как свобода выбора, не как свобода повернуть направо или налево, а как активное изменение жизни, как акт, совершаемый не индивидуальным, а социальным человеком, после того, как выбор сделан. Свобода выбора раздвигает и ослабляет энергию. Настоящая созидательная свобода наступает после того, как выбор сделан и человек движется в определенном направлении. Только такая свобода, свобода коллективного строительства жизни в генеральной линии коммунистической партии, и признается в советской России. Именно эта свобода оказывается актуальной и революционной. Французская свобода консервативна, она мешает социальному переустройству общества, она свелась к тому, что каждый хочет, чтобы его оставили в покое. Свободу нужно, конечно, понимать и как творческую энергию, как акт, изменяющий мир. Но если исключительно так понимать свободу и не видеть того, что внутренне предшествует такому акту, такой реализации творческой энергии, то неизбежно — отрицание свободы совести, свободы мысли. И мы видим, что в русском коммунистическом царстве совершенно отрицается свобода совести и мысли. Понятие свободы относится исключительно к коллективному, а не личному сознанию. Личность не имеет свободы по отношению к социальному коллективу, она не имеет личной совести и личного сознания. Для личности свобода заключается в исключительной ее приспособленности к коллективу. Но личность, приспособившаяся и сливающаяся с коллективом, получает огромную свободу в отношении ко всему остальному миру. Свобода совести — и прежде всего религиозной совести — предполагает, что в личности есть духовное начало, не зависящее от общества. Этого коммунизм, конечно, не признает. [...]

В коммунизме есть здоровое, верное и вполне согласное с христианством понимание жизни каждого человека, как служения сверхличной цели, как служения не себе, а великому целому. Но эта верная идея искажается отрицанием самостоятельной ценности и достоинства каждой человеческой личности, ее духовной свободы. В коммунизме есть также верная идея, что человек призван в соединении с другими людьми регулировать и организовывать социальную и космическую жизнь. Но в русском коммунизме эта идея, нашедшая себе самое радикальное выражение у христианского мыслителя Н. Федорова *, приняла почти маниакальные формы и превращает человека в орудие и средство революции. Все эти извращения определяются не столько социально-экономической системой коммунизма, сколько его ложным духом. Свобода духа отрицается не экономикой, которая бессильна в отношении к духу, а духом же, духом, враждебным свободе. Воинствующий духоборческий материализм коммунизма есть явление духа, а не материи, есть ложная направленность духа. Коммунистическая экономика сама по себе может быть нейтральна. Это коммунистическая религия, а не экономика, враждебна христианству, духу, свободе. Правда и ложь твк перемешаны в коммунизме именно потому, что коммунизм есть не только социальный феномен, но и феномен духовный. В идее бесклассового, трудового общества, в котором каждый работает для других и для всех, для сверхличной цели, не заключается отрицания Бога, духа, свободы и даже наоборот, эта идея более согласна с христианством, чем идея, на которой основано буржуазное капиталистическое общество. Но соединение этой идеи с ложным мирозерцанием, отрицающим дух и свободу, ведет к роковым результатам. Именно религиозный характер коммунизма, именно религия коммунизма и делает его антирелигиозным и антихристианским. Коммунистическое общество и государство претендуют быть тоталитарными. Но это и есть основная ложь. Тоталитарным может быть лишь царство Божье, царство кесаря всегда частично. Для коммунизма царство кесаря становится царством Божиим, совершенно так же, как в германском национал-социализме, но лишь более последовательно и радикально. И это-то и вызывает неизбежность духовной борьбы. Роковой ошибкой является придавать этой духовной борьбе характер борьбы социальной, защищающей старое капиталистическое, буржуазное общество или старый режим. Это и делает бессильной борьбу против лжи коммунизма. Весь

* См. Н. Федоров. Философия общего дела.

мир идет к ликвидации старых капиталистических обществ, к преодолению духа их вдохновлявшего. Движение к социализму — к социализму понимаемому в широком, не доктринерском смысле — есть мировое явление. Этот мировой перелом к новому обществу, образ которого еще не ясен, совершается через переходные стадии. Такой переходной стадией является то, что называют связанным, регулируемым, государственным капитализмом. Это тяжелый процесс, сопровождающийся абсолютизацией государства. В советской России этой стадии, которая не есть еще социализм, очень благоприятствуют старые традиции абсолютного государства. В том, что происходит в советской России, есть много элементарного, элементарного цивилизования рабоче-крестьянских масс, выходящих из состояния безграмотности. В этом нет ничего специфически коммунистического. Но процесс цивилизования совершается через замену для масс символики религиозно-христианской символической марксистско-коммунистической. Ненормальным, болезненным является то, что приобщение масс к цивилизации происходит при совершенном разгроме старой русской интеллигенции. Революция, о которой интеллигенция всегда мечтала, оказалась для нее концом. Это определилось древним расколом русской истории, вековым расколом интеллигенции и народа, а также бессовестной демагогией, через которую победили русские коммунисты. [...]

[...]Все теоретические, идейные, философские споры и все практические, политические, экономические споры в советской России стоят под знаком ортодоксии и ереси. Все «правые» или «левые» уклоны в философии или в политике рассматриваются, как уклоны еретические. Происходит постоянное обличение еретиков и преследование обличенных в ереси. Но различие между ортодоксией и ересью есть различие религиозное, теологическое, а не философское и не политическое. Когда политика поставлена под знак ортодоксии, то государство рассматривается как церковь, и неизбежно преследование за верования и мнения. Так было в средневековой христианской теократии, так и в советской, коммунистической теократии, так и в гитлеровском третьем царстве, так и во всяком государстве, претендующем на тоталитарность. Иоанн Грозный, самый замечательный теоретик самодержавия, создал концепцию православного царства, при которой царь должен заботиться о спасении душ своих подданных. Функции церкви переходят и на государство. Коммунистическая власть тоже заботится о спасении душ своих подданных, она хочет воспитать их в единоспасающей истине, она знает истину, истину диалектического материализма. Коммунистическая власть, ничем не ограниченная, движется ненавистью к христианству, в котором видит источник рабства, эксплуатации, тьмы. Коммунисты чрезвычайно невежественны и непросвещенны в вопросах религиозных, но определяют они идейными мотивами, движутся своей собственной религиозной верой. Коммунистическая власть нередко проявляет большую гибкость в политике, она бывает очень оппортунистична в международной политике, идет на уступки в политике экономической, она готова дать некоторую свободу в искусстве и литературе. Коммунизм меняется, эволюционирует, он национализируется, делается более культурным, коммунистический быт обуржуазивается, и это обуржуазивание есть большая опасность не для коммунизма только, но и для русской идеи в мире. Но есть область, в которой коммунизм неизменен, беспощаден, фанатичен и ни на какие уступки не идет, — это область «миросозерцания», философии, а следовательно, и религии. Вся советская философская литература и литература по антирелигиозной пропаганде — самая беспросветная, самая изуверская и окаменевшая. Догматизм этой литературы превосходит все, что было в христианской теологии. Иногда кажется, что Советская власть скорее пойдет на восстановление капитализма в экономической жизни, чем на свободу религиозной совести, свободу философской мысли, свободу творить духовную культуру. Эта ненависть к религии и к христианству имеет глубокие корни в прошлом христианства.

Ненависть русских коммунистов к христианству заключает в себе противоречие, которого не в состоянии заметить те, чье сознание подавлено коммунистической доктриной. Лучший тип коммуниста, то есть человека, целиком захваченного служением идее, способного на огромные жертвы и на бескорыстный энтузиазм, возможен только вследствие христианского воспитания человеческих душ, вследствие переработки натурального человека христианским духом. Резуль-

таты этого христианского влияния на человеческие души, часто незримого и надземного, остаются и тогда, когда в своем сознании люди отказались от христианства и даже стали его врагами. Если допустить, что антирелигиозная пропаганда окончательно истребит следы христианства в душах русских людей, если она уничтожит всякое религиозное чувство, то осуществление коммунизма сделается невозможным, ибо никто не пожелает нести жертвы, никто не будет уже понимать жизни, как служение сверхличной цели, и окончательно победит тип шкурника, думающего только о своих интересах. Этот последний тип и сейчас уже играет немалую роль, и от него идет процесс обуржуазивания. Коммунизм по своей идее хотел бы осуществить не только справедливость, но и братство в человеческих отношениях, «коммунион» между людьми. Но наивно и смешно думать, что братство между людьми может быть осуществлено путем внешней принудительной социальной муштровки, путем привычки, как говорил Ленин. Для этого нужно действие глубинных духовных сил. Материалистический и атеистический коммунизм или обречен на неудачу и на гибель, или на создание общества, подобного механизму, в котором нельзя уже будет различить человеческого образа. И тем не менее коммунисты, многим христианству обязанные и основывающие всю свою деятельность на переключении религиозной энергии, т. е. обращении ее на предмет не религиозный, ненавидят христианство и религию вообще. Для этого должны быть глубокие и серьезные причины, которые не могут быть исключительно связаны с исповеданием отвлеченной теории, враждебной религии. [...] Нужно всегда помнить, что церковь имеет два разных смысла. Смещение этих двух смыслов в нынешней церкви или отрицание одного из них имеет роковые последствия. Церковь есть мистическое тело Христова, духовная реальность, продолжающая в истории жизнь Христа, и источником ее является откровение, действие Бога на человека и мир. Но церковь есть также социальный феномен, социальный институт, она связана с социальной средой и испытывает на себе ее влияние, находится во взаимодействии с государством, имеет свое право и хозяйство, и источник ее социальный. Церковь, как социальный институт, и как часть истории, греховна, способна к падению и к искажению вечной истины христианства, выдавая временное и человеческое за вечное и божественное. Церковь в истории есть очень сложный бого-человеческий, а не только божественный процесс, и человеческая ее сторона погрешима. Но вечная истина Христовой Церкви сокровенно действует и через церковь, как социальный институт, всегда относительный и погрешимый. Марксисты-ленинцы видят только церковь, как социальный феномен и институт, и ничего за ним не видят. Для них все выброшено наружу, для них нет духовной жизни, она есть лишь эпифеномен, бытие плоское, двухмерное — нет измерения глубины. Но коммунизм нужно понять, как вызов христианскому миру, в нем обнаруживается высший суд и понимание о неисполненном долге. Сами коммунисты этого не понимают и понять не могут. Коммунисты обличают дурные, насильнические дела христиан, но сами они продолжают делать те же дурные, насильнические дела. Их ответственность за дела насилия может быть меньшей, потому что они не знают истины христианства, но они ответственны за то, что не хотят знать этой истины. [...]

[...]В действительности я являюсь сторонником бесклассового общества, то есть в этом отношении я наиболее близок к коммунизму. Но при этом же я являюсь сторонником аристократического начала, как качественного начала в человеческом обществе, именно личного, а не классового или сословного качественного начала, то есть сторонником духовного аристократизма. Классовые неравенства должны быть преодолены в человеческом обществе, но личные неравенства от этого только сильнее выявятся. Человек должен отличаться от человека по своим личным качествам, а не по своему социальному положению, классовому или сословному. Качественное, то есть личное, аристократическое начало не только не может исчезнуть из человеческого общества, но оно как раз наиболее выявится в обществе бесклассовом, когда классов уже не будет, ибо классы закрывают и маскируют личные качественные различия между людьми, делая их не реальными, а символическими. Высшее положение в обществе человек занимал не в силу личных качеств и своего духовного аристократизма, а в силу символики, которую сообщала ему принадлежность к классу или сословию. Я являюсь сторонником христианского персонализма, а со-

всем не индивидуализма, который враждебен принципу личности. В обществе буржуазно-капиталистическом личность обезличивается и нивелируется, рассматривается, как атом. Индивидуализм противоположен христианской идее общения людей, реализация же личности предполагает общение людей. Когда я говорю, что мир идет к «новому средневековью», то это совсем не означает возврата к старому средневековью и уже менее всего к феодализму. Это есть лишь обозначение типа общества, в котором будет стремление к целостности и единству, в противоположность индивидуализму новой истории, и будет возрастание значения религиозного начала, хотя бы в форме воинствующей антирелигиозности[...]

[...] Как было у Маркса? Маркс был замечательным социологом, но очень слабым антропологом. Марксизм ставит проблему общества, но не ставит проблему человека, для него человек есть функция общества, техническая функция экономики. Общество есть первофеномен, человек же есть эпифеномен. Такое унижение человека находится в разительном противоречии с обличительным учением Маркса об овеществлении (Verdinglichung) человеческой жизни, о дегуманизации. У него остается коренная двусмысленность: есть ли превращение человека в функцию экономического процесса грех и зло прошлого, капиталистической эксплуатации или это есть онтология человека. Решающим, во всяком случае, является тот факт, что первая попытка осуществления коммунизма на почве марксизма, которую мы видим в России, также рассматривает человека, как функцию экономики, и также дегуманизирует человеческую жизнь, как и капиталистический строй. Поэтому того переворота во всемирной истории, на который надеялись Маркс и Энгельс, не произошло, между тем как коммунизм претендует не только на создание нового общества, но и на создание нового человека. О новом человеке, о новой душевной структуре много говорят в советской России, об этом любят говорить и иностранцы, посещающие советскую Россию. Но новый человек может явиться лишь в том случае, если человека считают высшей ценностью. Если человека рассматривают исключительно как кирпич для строительства общества, если он лишь средство для экономического процесса, то приходится говорить не столько о явлении нового человека, сколько об исчезновении человека, то есть об углублении процесса дегуманизации. Человек оказывается лишенным измерения глубины, он превращается в двухмерное, плоскостное существо. Новый человек будет лишь в том случае, если человек имеет измерение глубины, если он есть духовное существо, иначе вообще человека нет, а есть лишь общественная функция. Человек в своем измерении глубины причастен не только времени, но и вечности. Если человек целиком выброшен в процесс времени, если в нем нет ничего от вечности и для вечности, то образ человека, образ личности не может быть удержан. Коммунизм в своей материалистически-атеистической форме целиком подчиняет человека потоку времени, человек лишь преходящий момент дробимого времени и каждый момент является лишь средством для последующего момента. Поэтому человек оказывается лишенным внутреннего существования, жизнь человеческая дегуманизируется. Марксизм обивает процесс гуманизма. У Маркса, особенно у молодого Маркса, когда в нем сильны еще были следы немецкого идеализма, были возможности нового гуманизма. Он начал с восстания против дегуманизации. Но затем он сам оказался увлеченным процессом дегуманизации, и в отношении к человеку коммунизм унаследовал грехи капитализма. В русском марксизме-ленинизме этот процесс дегуманизации пошел еще дальше, и он обусловлен всей обстановкой возникновения русского коммунизма. В русский коммунизм вошли не традиции русского гуманизма, имевшего христианские истоки, а русского антигуманизма, связанного с русским государственным абсолютизмом, всегда рассматривавшим человека, как средство. Марксизм считает зло путем к добру. Новое общество, новый человек рождается от нарастания зла и тьмы, душа нового человека образуется из отрицательных аффектов, из ненависти, мести, насилия. Это — демонический элемент в марксизме, который считают диалектикой. Зло диалектически переходит в добро, тьма — в свет. Ленин объявляет нравственным все, что способствует пролетарской революции, другого определения добра он не знает. Отсюда вытекает, что цель оправдывает средства, всякие средства. Нравственный момент в человеческой жизни теряет всякое самостоятельное значение. И это есть

несомненная дегуманизация. Цель, для которой оправдываются всякие средства, есть не человек, не новый человек, не полнота человечности, а лишь новая организация общества. Человек есть средство для этой новой организации общества, а не новая организация общества — средство для человека.

Психический тип коммуниста определяется прежде всего тем, что для него мир резко разделяется на два противоположных лагеря — Ормузда и Аримана, царство света и царство тьмы без всяких оттенков. Это почти манихейский дуализм, который при этом обыкновенно пользуется мистической доктриной. Царство пролетариата есть светлое царство Ормузда, царство же буржуазии — темное царство Аримана. Представителям светлого царства все дозволено для истребления темного царства. Фанатизм, нетерпимость, жестокость и насильничество коммуниста ярко выраженного типа определяется тем, что он чувствует себя поставленным перед царством сатаны и не может переносить этого царства. Но при этом он находится в отрицательной зависимости от царства сатаны, от зла, от капитализма и буржуазии. Он не может жить без врага, без отрицательных чувств к этому врагу, он терпит пафос, когда врага нет. И если врага нет, то врага нужно выдумать. Процессы «вредителей» связаны с этой потребностью создать классового врага. Если бы классовый враг исчез окончательно и коммунизм легко было бы осуществить, то коммунистический пафос тоже исчез бы. Революционный пафос в значительной степени связан с отрицательным отношением к прошлому. Иногда ставится вопрос, в какой мере коммунизм действительно принадлежит будущему и обращен к будущему. Бесспорно, он более обращен к будущему, чем фашизм, который уж совсем есть переходное явление, с коммунизмом связана мировая проблема. Но в коммунизме слишком зависимость от прошлого, влюбленная ненависть к прошлому, он слишком прикован к злу капитализма и буржуазии. Коммунисты не могут победить ненависти, и в этом их главная слабость. Ненависть всегда обращена к прошлому и всегда зависит от прошлого. Человек, охваченный аффектом ненависти, не может быть обращен к будущему, к новой жизни. Только любовь обращает человека к будущему, освобождает от тяжелой скованности прошлым и является источником творчества новой, лучшей жизни. В коммунистах есть страшное преобладание ненависти над любовью. Нельзя целиком на них возложить вину за это, они тут жертва злого прошлого. Дух коммунизма, религия коммунизма, философия коммунизма — и антихристианские и антикоммунистические. Но в социально-экономической системе коммунизма есть большая доля правды, которая вполне может быть согласована с христианством, во всяком случае более, чем капиталистическая система, которая есть самая антихристианская. Коммунизм прав в критике капитализма. И не защитникам капитализма обличать неправду коммунизма, они лишь делают более рельефной правду коммунизма. Неправду коммунистического духа, неправду духовного рабства могут обличать лишь те христиане, которые не могут быть заподозрены в защите интересов буржуазно-капиталистического мира. Именно капиталистическая система прежде всего ридавляет личность и дегуманизирует человеческую жизнь, превращает человека в вещь и товар, и не подобает защитникам этой системы обличать коммунистов в отрицании личности и в дегуманизации человеческой жизни. Именно индустриально-капиталистическая эпоха подчинила человека власти экономики и денег и не подобает ее адептам учить коммунистов евангельской истине, что «не о хлебе едином жив будет человек». Вопрос о хлебе для меня есть вопрос материальный, но вопрос о хлебе для моих ближних, для всех людей, есть духовный, религиозный вопрос. «Не о хлебе едином жив будет человек», но также и о хлебе, и хлеб должен быть для всех. Общество должно быть организовано так, чтобы хлеб был для всех и тогда именно духовный вопрос предстанет перед человеком во всей своей глубине. Недопустимо основывать борьбу за духовные интересы и духовное возрождение на том, что хлеб для значительной части человечества не будет обеспечен. Это цинизм, справедливо вызывающий атеистическую реакцию и отрицание духа. Христиане должны проникнуться религиозным уважением к элементарным, насущным нуждам людей, огромной массы людей, а не презирать эти нужды с точки зрения духовной возвышенности. Коммунизм есть великое поучение для христиан, часто напоминание им о Христе и Евангелии, о пророческом элементе в христианстве.

В отношении к хозяйственной жизни можно установить

два противоположных принципа. Один принцип гласит: в хозяйственной жизни преследуй свой личный интерес, и это будет способствовать хозяйственному развитию целого, это будет выгодно для общества, нации, государства. Такова буржуазная идеология хозяйства. Другой принцип гласит: в хозяйственной жизни служи другим, обществу, целому и тогда получишь все, что тебе нужно для жизни. Второй принцип утверждает коммунизм, и в этом его правота. Совершенно ясно, что второй принцип отношения к хозяйственной жизни более соответствует христианству, чем первый. Первый принцип столь же антихристианский, как антихристианским является римское понятие о собственности. Буржуазная политическая экономия, выдумавшая экономического человека и вечные экономические законы, считает второй принцип утопическим. Но экономический человек преходящий. И вполне возможна новая мотивация труда, более соответствующая достоинству человека. Одно ясно: проблема эта не может быть лишь проблемой новой организации общества, она неизбежно есть проблема новой душевной структуры человека, проблема нового человека. Но новый человек не может быть приготовлен механическим путем, он не может быть автоматическим результатом известной организации общества. Новая душевная структура предполагает духовное перевоспитание человека. На проблему перевоспитания коммунизм принужден обратить большое внимание, но у него нет для этого духовных сил. Нельзя создать нового человека и новое общество, объявив хозяйственную жизнь обязательным делом чиновников государства. Это есть не социализация хозяйства, а бюрократизация хозяйства. Коммунизм в той форме, в какой он выплился в России, есть крайний этатизм. Это есть явление чудовища Левиафана, который на все накладывает свои лапы. Советское государство, как я уже говорил, есть единственное в мире последовательное, до конца доведенное тоталитарное государство. Это есть трансформация идеи Иоанна Грозного, новая форма старой гипертрофии государства в русской истории. Но понимание хозяйственной жизни, как социального служения, совсем не означает признания государства единственным хозяйственным субъектом. Бесспорно, часть промышленности, наиболее крупной, должна перейти к государству, но наряду с этим хозяйственным субъектом должна быть признана кооперация людей, трудовой синдикат и отдельный человек, поставленный организацией общества в условия, исключающие возможность эксплуатации своих ближних. Государство при этом будет иметь контрольные и посреднические функции, призванные не допускать угнетения человека человеком. В мою задачу не входит подробно останавливаться на этих вопросах. Важно только отметить, что этатизм не является единственной формой новой организации общества. Более соответствует свободе человеческого духа не монистическая, а плюралистическая социальная система. Монистическая социальная система всегда ведет к тирании и угнетению человеческой личности. Монизм марксистской системы и есть ее главный дефект. Монизм тоталитарного государства, во всяком случае, несовместим с христианством, он превращает государство в церковь. И предстоит героическая борьба христиан против абсолютных притязаний царства кесаря и в коммунизме, и в фашизме. В этой борьбе христианство может очиститься и освободиться от печати царства кесаря, которая лежит на церкви со времен Константина. Христианство представляется мне соединимым лишь с системой, которую я назвал бы системой персоналистического социализма, соединяющего принцип личности, как верховной ценности, с принципом братской общности людей. При этом необходимо делать различие, которого не делает коммунизм, различие между осуществлением справедливости в общественной жизни, предполагающим момент принуждения, и осуществлением братства людей, их подлинного общения или коммуникации, предполагающим свободу человека и действие благодати. [...]

Поэзия



Михаил
ЛАПТЕВ

Дебют в
«Юности»

Блейк, ты был прав: мы растекаемся к чертям,
рожаем мы среди темных фабрик Сатаны.
Хочу в корректный, лыстый Амстердам,
ио денег иет и на штаны.

Блейк, твой монах солгал: отец мой не погиб,
его ж отряд действительно разбит.
В растрескавшейся глотке — только хрин.
Я лезу из-под плит.

Я королевой назову ферзя
и с фейерверком я срифмую верх,
соляркой за версту разя,
как звездный стерх.

Под темным низким небом, где дымы
дебильные изгадили твой рай,—
Блейк, ты был прав,— как растечемся мы
под гомон стый!

☆☆☆

Тяжелая слепая птица
назад в язычество летит,
и мир асфальтовый ей снится,
и Гегель, набранный в петит.

Молчанье жирное зевает.
Она летит, в себе храня
густую память каравая
и корни черные огня.

Она летит над лесом топким
воспоминания и сна,
летит из черепной коробки
осиротелого пшена.

Она летит из подсознания
в глухой березовый восход,
из изморосью расставив
от крыльев глиняных несет.

☆☆☆

Там, где ломится гиперборей
в окна мутные сизых полей,
там,— я знаю,— все люди — Андрей,
и король их — Андреев Андрей.

У него золотые соседи,
он ко внукам, к невесте, в детсад
разъезжает на белом медведе,
прет ио тундре себе наугад.

И стоит у него в кабинете
Гумилева портрет, иесь в ныли,
и медведь его, сев на паркете,
лизет сладкую ось Земли.

г. Москва

Виктор БОКОВ

СОБЕСЕДНИК РОЩ

Анна Ахматова назвала Пастернака собеседником рощ. Отлично сказано. «Природы праздный соглядайте!», — определил себя Фет. Пастернак не был праздным, в природе он был деятельным. Я видел его в саду с лопатой, с засученными рукавами. Он копал гряды. Потом писал о языческом плодородии. Он вписывался в Переделкино, как знаменитая древняя церковь, как Самаринский пруд, как сосны по дороге на станцию.

Природа Переделкина вся в его стихах. Он был распахнут пространству, в его поэтической печи гудела мощная тяга — «дрожат гаражи автобазы». Это его строка, это сам он рвался, как нетерпеливый конь, в просторы. Он был размашист в почерке, в шаге, в поступке.

В канаве билось сто сердец!

Это и дождь, и сам Пастернак, слепок с его натуры, его одержимый импрессионизм.

Это круто налившийся свист — определял он поэзию. Это опять-таки про самого себя, ибо было в наливе его поэзии что-то фламандское, плотское, языческое. Его поэтические сопоставления предельно смелы и демократичны:

Как кочегар, на бак
Поднявшись, отдыхает,
Так но иочам табак
В грядках благоухает.

Думаю, что это пришло от длительного близкого обращения к Шекспиру. Он читал его в подлиннике. В одну из встреч на даче в Переделкине Пастернак заметил:

— Неправильно переводили: женщина — ничтожество твое имя. У Шекспира этого нет, вот смотрите (он взял томик по-английски, нашел нужное место). Здесь глагол — фразлти — ломать. Женщина — вероломство, вот что сказал Шекспир. Ничтожество и вероломство не одно и то же!

Все встречи с ним, а их было немало за годы нашей дружбы, я приравниваю к престольным праздникам, которые я застал в своей родной подмосковной деревне. Увидев меня в окно своей дачи, каждый раз бежал он навстречу, горячо обнимал и сразу включал свой виолончельный голос: — Говорят, что надо обниматься мирами, а сами обнимаются руками.

Идем в глубину усадьбы, мимо прижавшихся к забору берез.

Поток его мыслей, высказываемых вслух, непрерывен, неукротимо несется он к искомой истине:

— Это неверно, что поэты учатся друг у друга, они набираются друг у друга смелости. Какая сила Павла Васильева! Как вы находите?

— Согласен!

55-й год. Написалось у меня стихотворение «Гром идет, перекатываясь». Показалось, что я подражаю Борису Леонидовичу. Поехал в Переделкино, признался в своем сомнении, прочитал.

— Нет! Нет! Это вы, это ваш голос!

Пошли разговоры о жизни, о литературе.

— Кто у вас в будке — то сейчас? — спросил меня метр.

— В какой будке? — не понял я.

— В Союзе писателей!

Будка оказалась роковой, когда «будочники» исключили Пастернака из Союза писателей и похоронили как члена Литфонда.

Позор этот несмыслен.

Хорошо помню день похорон. Переделкино переполнено теми, кто пришел отдать последний долг любимому поэту. Подали автобус, чтобы поставить в него гроб. Провожажущие протестовали:

— Не дадим! Понесем сами!

Несли близкие по крови, несли близкие по духу. Горло белело в открытом гробу его прекрасный профиль. В числе тех, кто нес гроб на переделкинское кладбище, был и я, его трепетный обожатель, тогда уже по большому счету признанный им. Это можно прочесть в автографах Пастернака на подаренных мне книгах. Именно в день похорон сложились у меня стихи:

Сад зацвел без хозяина,
Все белеет от вишен.
Не его приказания
Будут яблоны слышать.

Соловьи на прощанье
Бьют колени и дробы.
Но на даче молчанье,
Хозяин во гробе.

Тело тесом одето
В душистые смолы.
На лице у поэта
Ни тепи крамолы.

И орел он, и ангел
С белеющим ликом.
Что теперь ему ранги
И эпитет — великий!

В день погожий, весенний
Глину роет лопата.
Маяковский, Есенин,
Принимайте собрата!

Над могилой в день похорон прозвучала одна речь. Но какая это была речь! Слова, сказанные Валентином Фердинандовичем Асмусом, другом Пастернака, выдающимся философом, были пророческими. Он произносил их в полном молчании обступивших могилу людей. Сказать такое слово в те времена было подвигом. Многие не решились подойти к могиле, смотрели издали, боясь «последствий».

А тут из уст выдающегося современника звучало:

— Хороним самого искреннего человека нашего времени. Хороним того, кто открыто и честно спорил с временем и никогда не был двуличен!

День раннего лета медленно меркнул, но люди не расходились. Длительное молчание над свежим холмиком земли, принявшей прах поэта, воспринималось, как реквием, как клятва помнить его и защищать памятью от любых посягательств на великое имя.

Весь вечер после похорон волнами шли на меня воспоминания о большом поэте, которого Маяковский считал гением.

Зимой 1942 года шли мы с Борисом Леонидовичем по городу Чистополу, над Камою. Закатывалось по-пушкински ясное морозное солнышко.

— Посмотрите, какие крыши! — воскликнул Борис Леонидович. — Это же медовые пряники! Отламывай и ешь!

Тут в нем говорил отец, выдающийся художник, Леонид Пастернак, которого любил Лев Николаевич Толстой.

Помню, написал я в самых трудных условиях быта новгородный рассказ. В нем было больше печатного листа. Решили собраться у К. А. Федина на Бутлеровой улице. Рассказ был сказочным, фольклорным по духу. Охотник стреляет в зайца, заяц говорит ему человеческим голосом: — Промазал!

После чтения первым высказался Пастернак:

— Хорошую вы свечу зажгли к Новому году. Это чем-то роднится с рождественскими рассказами Диккенса.

— Мне нравится такая гоголевская чертовщина вашего рассказа, — оценил К. А. Федин.

Ужинали втроем. Дора Сергеевна, жена Федина, поставила на стол кушанье, предлагалось угадать, что это за блюдо.

— Кролик! — догадался я. Хозяйка сияла от того, что кролик, сделанный под дичь, был принят с восторгом.

В марте 1942 года я был призван в Чистополе в армию. Ну, как было уехать, не простившись с обожаемым маэстро. Захожу на квартиру, где жил Пастернак.

— Его нет,— сказали хозяева,— он ушел на колонку за водой.

Вдруг дверь открылась и на пороге встал Пастернак. В руках он держал две новых оцинкованных бадьи, с дымящейся от холода водой.

— Это ваша судьба! — воскликнул Борис Леонидович. — Я как знал, что вы придете проститься, всклень налил.

Он благословил меня в путь, который оказался трудным и трагическим. Меня ждал острог, бериевские застенки, клевета.

Вспомнилось, как мы провожали в эвакуацию Марину Цветаеву.

7 июля 1941 года Пастернак сказал мне при встрече в Переделкине:

— Завтра уезжает в эвакуацию Марина Цветаева, вы не хотите поехать со мной и проводить ее?

— Конечно, хочу!

Утром 8 июля 1941 года из Переделкина ехали поездом. До Речного вокзала добирались трамваем. Мы увидели ее на площади, у спуска к пристани. Стояла она в окружении саквояжей и сумок. Мы подошли. Пастернак представил меня.

Я успел заметить — на Марине кожаное пальто темно-желтого цвета, синий берет, брови «домиком». Когда человека охватывает чувство тоски и страдания, брови его всегда встают именно так — «домиком».

Люди лихорадочно грузили свои вещи, лезли на паром, толкались, мешали друг другу. Как затравленная птица в клетке, Марина поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, и глаза ее страдали.

— Боря! — не вытерпела она, — ничего же у вас не изменилось! Это же 1914 год! Первая мировая.

— Марина! — прервал ее Борис Леонидович, — ты что-нибудь взяла в дорогу покушать?

Она удивилась:

— А разве на пароходе не будет буфета?

— С ума сошла! Какой буфет! — почти вспылал Пастернак.

Я знал, что поблизости есть гастроном. Пошли туда вместе с Борисом Леонидовичем. Сколько могли унести на руках, столько и купили бутербродов с колбасой и сыром.

Видя, что вещи Марины ничем не помечены, я решил их переметить. Взял у мороженщика кусок льда, и, намочив место, химическим карандашом крупно написал:

ЕЛАБУГА. ЛИТФОНД. ЦВЕТАЕВА.

На следующем мешке я же написал вариант:

ЦВЕТАЕВА. ЛИТФОНД. ЕЛАБУГА.

Марина сочувственно заулыбалась:

— Вы поэт?

— Собираюсь быть поэтом.

И тут впервые на близком расстоянии я увидел глаза Марины. Невероятное страдание отражалось в них.

— Знаете, Марина Ивановна, — заговорил я с ней, — я и явс гадал.

— Как же вы гадали?

— По книге эмблем и символов Петра Великого.

— Вы знаете эту книгу? — с удивлением спросила она.

— Очень хорошо знаю! Я по ней и писателей загадываю.

— И что мне вышло? — в упор спросила Марина.

Как было ответить, если по гадательной древней книге вышел рисунок гроба и надпись «не ко времени и не ко двору».

— Все поняла! — сказала Марина. — Я другого не жду!

Во время разговора, касающегося судьбы Марины, подошел неизвестный мне молодой человек и обратился к Марине Ивановне:

— Мама! Я не поеду в эвакуацию. Бесчестно бросать Москву в такое тяжелое для нее время.

Сказал и удалился. Это был сын Марины, Мур.

Станным тогда показался мне его поступок. Отпускать родную мать в неведомые края и не сказать ни единого слова утешения, не обнять ее!

Надо было грузиться. Подходило время отплытия. Я поймал на улице «левый» пикапчик, подогнал его и стал кидать вещи Марины в кузов. От напряжения при подъеме вещей у меня на костюме оторвалась пуговица. Марина во что бы то ни стало хотела пришить ее. Я еле отговорил ее от этой невозможной затеи. Пикап тронулся, мы пошли за ним, чтобы погрузить Марину на паром. А через полчаса

он уже отчаливал от московской пристани. Марина стояла на палубе и трепетно махала рукой на прощание. Вряд ли уезжавшие знали, что их ждет в эвакуации.

Не знал тогда и Пастернак, что сам отправится в Чистополь, но Марины уже не будет в живых!

Я рассказываю об этих тяжелых провах Цветаевой, может быть, несколько подробно. Но никто уже не может, кроме меня, рассказать об этом: нет в живых ни Пастернака, ни Цветаевой. А он любил ее, и эта любовь была взаимной. Марина Цветаева определила поэзию Пастернака, как световой ливень. Лучше не скажешь!

Говорить с Пастернаком о поэзии и поэтах я очень любил. Его определения были всегда неожиданны, смелы, правдивы и, что очень важно, образны. Чем можно постигать поэзию, как не образом?

Заговорили однажды о поэте Ш., весьма уважаемом в сталинские времена лирике, широко популярном среди читающей публики.

Пастернак протянул ко мне ладонь и, озорничая взглядом, объяснил:

— Ш. — это официальное сердечко, бьется на виду у всех!

Он смотрел на свою ладонь, и сам верил, что в ладони лежит «сердечко» поэта Ш.

— Разрешили одного лирика на всю эпоху! Не мало ли?! — решительно протестовал он.

Помню, приехал электричкой в Переделкино. Вышел. Смотрю, в толпе перрона — Пастернак. Пошли вместе. Не дорогой, где сосны, а мимо церкви, по тропинке. Дошли до Сетуни. Перешли речку. Летнее солнце шло на закат, но еще не спал зной. Очень хотелось пить. Пастернак подошел к бетонному колодцу, в котором накапливалась родниковая вода и текла через железную трубу наружу, и пригоршней стал жадно пить. Невероятно красив он был в эту минуту. Напились, умылись, пошли по полю, что напротив его дачи.

— Хочется написать стихи, — признался он, — где бы выпукло смотрелось чумазое, рябоватое лицо России!

В глубине его поэтического материнства уже стучала детскими ножонками книга «Когда разгуляется».

В этой книге Пастернак пришел к классической ясности. Когда-то он обещал это — нельзя «не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту». Он впал в эту великую «ересь». Он, который стоял у гроба Л. Н. Толстого, он, который в удивительной своей повести «Детство Люверс» так своеобразно отреагировал на реализм Толстого, талантливо продолжил его традицию.

Прекрасное стихотворение «Дрозды» заканчивается словами: «я тоже с них пример беру».

Не только с дроздов брал пример художник слова Пастернак. Он владел мировой культурой, в подлинниках читал Гете и Шекспира.

Он брал пример с Гете, когда в течение десяти лет переводил «Фауста». Он брал пример с Шекспира, когда перевоплощал его на русский язык, он брал пример у Николая Бараташвили, гениально переводя «Синий цвет». Он брал пример и набирался смелости (это его слова) у высоких вершин человеческого духа, потому что сам был гений!

Переделкино.

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

Древнегреческий отец древнегреческому сыну

Если ты растешь несмелым,
Нерешительным и хилым,
Не сравню тебя с героем —
С древнегреческим Ахиллом!

Ни Тезея, ни Персея,
Ни Геракла, ни Аякса
Я тебе не уподоблю,
Если ты — слюнтяй и плакса!

Если ты не можешь с ходу
Животом сломать оглоблю,
Быстроному олеию
Я тебя не уподоблю!

Элегия

В губернском ли рою,
в больнице ли уездной
Я не прошу тебя со мною
быть любезной,
Любезная моя; не надо расточать
Мие взоры иезжие,

взяв круглую печать,
Иль иожкой под столом
украдкой прикасаться
Пред тем, как на моей повестке
расписаться.

Но если можешь ты хотя бы отвечать
Кивком на «здравствуйте»

и злобно не рычать
В ответ на скромные мои мольбы

и неим —
Не из сочувствия хотя бы,

а из леим,—
Тогда, клянусь тебе, желанная моя
Буфетчица, кассир,

принемщица белья,
Я сохраню навек в своем

воспоминанье
Услугу милую и доброе вииманье.

Рубаи

Сидела ва скамейке дама с нлеером,
Вздыхала и обмахивалась веером,
От ушка к ушку нежному ея
Шел рок-металл грохочущим
коивейером.

Верлибр

вот было бы оно хорошо
если бы не было вообще
ни мужского ни женского рода
а было бы одно среднее
«человече»

по вечерам бы оно
заходило будило
ложилось бы под одеяло
дрыхло бы себе спокойно
и ничто бы его не будило
а поутру бы оно
пило какао
уходило бы на производство

трудилось бы
себе на здоровье
отдыхало бы
и испытывало бы
чувство
о какое это прекрасное чувство
с двумя вз
чувствовать себя «человечем»

Считалка

Я пошел к гомеопату
Покупать себе лопату,
Говорит гомеопат:
«Сколько нужно вам лопат?»
Говорю ему: «Трв штуки,
Я отправлю их в Кеитукки,
Мие за это из Кеитукк
Вышлют авиаутюг,
Он по комнате летает,
Паутину выметает
Из углов и с потолка,
Нет у нас таких пока.
Но пока у нас, ребята,
Водятся гомеопаты,
Есть еще реальный шанс
На торговый на альянс».

Полуворона

Сыр выпал.
И. А. Крылов.

Было поутру
Пасмурно и сыро.
Поднеся ко рту
Полкусочка сыра,
Ясно стало мие,
Ясно вдруг до стоия,
Что в своей стране
Я — полуворона.

Именно не грач,
Не снница в небе;
Выпал мие, хоть плачь,
Выпал этот жребий.
Низок, не высок
(Вижу это ясно),
Собственный иосок
Я хвалю напрасно.

Что ли, мие взмахнуть
Полстроккой могучей?
Что ли, мие вспугнуть
Низеикие тучи?
Пролетел Пегас,
А за ним и утки...
Вот он, вышал час!
Выпадут н сутки.

До скончанья дней
Все одно н то же.
Каркну я, ей-ей,
И на смертном ложе.
Стих, без дураков,
С телом раставая,
Вот ведь я каков!
Вот ведь какова я!

В НОМЕРЕ:

Проза

Леонид БОРОДИН. Три рассказа. Предисловие В. Липатова (2)

Иван ТВАРДОВСКИЙ. Страницы пережитого. Документальная повесть. Окончание (34)

Анатолий ПРИСТАВКИН. Кукушага, или Жалобная песнь для успокоения сердца. Повесть. Начало (46)

Наша публикация

Николай БЕРДЯЕВ. Истоки и смысл русского коммунизма. Страницы книги (80)

Поэзия

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Рапсодия распада. Поэма. (30)

Глеб ГОРЬОВСКИЙ (43), Михаил КУДИНОВ (44), Владимир САВЕЛЬЕВ (44), Денис НОВИКОВ (45), Лариса ТАРАКАНОВА (58), Вита ИВЧЕНКО (78), Виктория ВЕТРОВА (79), Виктория РАЙХЕР (79), Михаил ЛАПТЕВ (93)

Публицистика

Ирина ХУРГИНА. Мансэ! (67)
20-я комиата. Зиседание двадцать девятое (72)

Культура и искусство

Александр Тышлер. О себе. Предисловие Ф. Сыркиной (62)

Критика

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ. Куда ж иам плыть? (59)
Виктор БОКОВ. Собеседник рош (94)

Зеленый портфель

Григорий КРУЖКОВ. Ироинические стихи (96)

Рукопись объемом менее авторского листа не возвращаются.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Оформление обложки Д. Кедрина
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цишевский
Технический редактор О. Трепенек.

Сдано в набор 21.08.89. Подп. к печ. 03.10.89. А 01626.
Формат 84х60%. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 1133.
Цена 70 коп.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, ул. Горького, д. 32/1. Телефон для справок — 251-31-22.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда» 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда» «Юность», 1989 г.

Если вы хоть раз бывали в пустыне, помните, наверное, первое впечатление: нескончаемые, до самого горизонта, волны сыпучих белых барханов, кусты яндака — верблюжьей колючки, серые юркие тушканчики и другие обитатели песков, стремительно появляющиеся у ваших ног и в мгновение ока исчезающие, как мираж, оставляя в песке тоненькие струйки следов. Изредка встречаются кошары чабанов. Вот и весь пейзаж, серый, унылый, однообразный. И только весной, как будто спохватившись и извиняясь за свою скупость, природа щедро раздает краски. И тогда здесь широко, насколько хватает глаз, разливается алое море маков и тюльпанов, зеленые луга первой травы.

Теперь вы поймете, почему у кумли — жителей песков — любимый цвет — красный. Из огненно-красного кетени шьют свадебные платья туркменские девушки и прикалывают к нему гульяка — серебряное украшение с окрашенными брызгами желто-красного сердолика. На красном фоне ткнут свой орнамент коврищицы.

Много цвета весенней пустыни в живописи туркменского художника Аллаберды Амангельдыева.

Картины Амангельдыева просты. Но как богаты его работы силой чувств, тончайшими оттенками настроений. Горячие напряженные тона, которым он отдает предпочтение, очень точно передают ритм жизни пустыни и ее жителей.

У алма-атинской поэтессы Надежды Черновой есть такие стихи:

...И тогда мне сказали:

Спроси туркмен,
они знают силу песка!
Для кого-то он прах,
для кого-то тлен,

А для них — земля на века.

Спросите у туркменского художника Аллаберды Амангельдыева: как она, пустыня? Он знает ответ.

Мая НОБАТОВА



На стендах «ЮНОСТИ»

Аллаберды АМАНГЕЛЬДЫЕВ г. Мары



Напутствие.



День свадьбы.

**ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
КООПЕРАТОРОВ
И ПРОСТО ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!**

**С нового года наш журнал,
имеющий многомиллионную читательскую аудиторию,**

**будет публиковать
КОММЕРЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ.**

Телефон Агентства: 285-76-54

НЕРАСТОРОПНОСТЬ И КОММЕРЦИЯ — НЕСОВМЕСТИМЫ!

Юность 1989 № 11, 1—96
Индекс 71120
70 коп.

